

ISSN 0132-0637

ОКтябрь

ОКтябрь 1992

11 1992

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ



Наша цель — защита экономических интересов физических и юридических лиц, связанных с состоянием здоровья и имущества граждан, результатами предпринимательской деятельности.

А/О РОСГОССТРАХ, созданное в феврале 1992 года, является правопреемником Госстраха РСФСР, осуществлявшего страховые операции на территории республики с 1921 года.

РОСГОССТРАХ — СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ.

Организации а/о РОСГОССТРАХ предлагают гражданам, предприятиям, всем представителям нового поколения деловых людей широкий спектр услуг по личному, имущественному, коммерческому страхованию. Эти услуги отличаются сравнительно низкими тарифными ставками при самых распространенных рисках.

Оборот страховых операций за 1991 год составил 18,8 млрд. рублей.

Организации а/о РОСГОССТРАХ обслуживают более 120 млн. договоров страхования с населением, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и другими предпринимательскими структурами.

Основные направления работы организаций а/о РОСГОССТРАХ:

— страхование основных и оборотных средств предприятий (независимо от форм собственности),

— страхование коммерческих рисков (банковских кредитов, ответственности заемщиков),

— страхование грузов,

— страхование имущества крестьянских и фермерских хозяйств,

— страхование рабочих и служащих за счет средств предприятий и организаций (различные варианты страхования жизни: от несчастных случаев; страхование на случай потери работы (рабочего места); страхование имущественных рисков и др.),

— индивидуальное личное и имущественное страхование граждан (возвратное страхование; комплексное страхование жизни; страхование от несчастных случаев; страхование в пользу детей; страхование домашнего имущества; страхование коллекций, антиквариата, драгоценностей и пр.: страхование квартиры, дома, дачи и т. д.),

— страхование средств транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другие виды услуг.

А О РОСГОССТРАХ осуществляет финансирование превентивных (предупредительных) мероприятий.

Организации а/о РОСГОССТРАХ участвуют в инвестировании предприятий и банков, решающих вопросы производства товаров народного потребления, улучшения и расширения жилищного строительства, освоения новых прогрессивных технологий.

Гарантией устойчивости страховых операций, проводимых организациями а/о РОСГОССТРАХ, являются запасные и резервные фонды, составляющие порядка 25 млрд. руб., профессиональные кадры, богатый практический опыт работы в страховом деле.

Страховые фирмы а/о РОСГОССТРАХ расположены во всех городах и административных центрах Российской Федерации.

Телефоны для справок в Москве: 200-29-95, 200-47-77.



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1992

НОЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр ВАСИНСКИЙ. Большое безумие. Повесть	3
Константин ВАНШЕНКИН. Поздние уроки. Стихи	67
Ирина ОДОЕВЦЕВА. Оставь надежду навсегда. Роман. Продолжение . . .	70
Николай ИВЕНШЕВ. Худое горло. Рассказ	124
Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ. Стихи последних лет	126
Алла ЯРОШИНСКАЯ. У разоренных гнезд. Рассказ	130

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ.
Иисус Неизвестный. Роман-эссе. Предисловие и публикация Игоря ВАСИЛЬЕВА 134

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Духовное наследие России

«...Социализм можно понимать разное». «Большое письмо» Д. И. Шаховского А. А. Корнилову. Предисловие и публикация Н. П. СОКОЛОВА. * Дмитрий ШУШАРИН. «Горжество и обличение» одной идеи 156

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Разгром ОБЭРИУ: материалы следственного дела. Вступительная статья, публикация и комментарий И. МАЛЫСКОГО 166

Письмо в редакцию 192

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы сможете приобрести любой интересующий Вас номер журнала «Октябрь» (начиная с № 7 за 1992 г.) в магазине «Дом книги» на Новом Арбате (Москва, Новый Арбат, д. 8) в секции «Ассоциация независимых литературных изданий России» — АНЛИР.

Там же можно купить и сделать заказ на другие журналы АНЛИРа: «Волга», «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература», «Интерпол-Москва», «Искусство кино», «Новый мир», «Северные просторы», «Юность» и книжные приложения к ним.

Итак, в магазине «Дом книги» на Новом Арбате всегда для Вас журналы и книги серии «АНЛИР».

Телефоны для справок: 290-45-07, 131-79-74.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора), **И. А. БРЯНСКАЯ**, (зав. отд. публицистики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 08.10.92. Подписано к печати 27.10.92. Формат 70×108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80 Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 134 300 экз. Заказ № 2061. Цена 19 р. 90 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, поэзии — 214-69-37, критики — 214-71-34, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Александр ВАСИНСКИЙ

Большое безумие

трагикомическая история, приключившаяся с московским палеоантропологом Павлом Раскладушкиным в августовский полдень 199... года на Аминьевском шоссе и завершившаяся в Центре трансплантации органов имени проф. Э. Т. А. ГОФМАНА.

Часть I

Еще моленье
Прошу принять —
В то воскресенье
Дай разрешенье
Мне опоздать.

М. Лермонтов.
«Юнкерская молитва»

Можно ли видеть (чем?) то, как ты тягуче стекаешь — весь — с кончиков собственных пальцев на гладкий, на гладкий асфальт?.. О как дадно, едино мы мчались по трассе на сумасшедшей скорости навстречу друг другу каждый по своей полосе, каждый по своей полосе. Мы мчимся вслепую, уверенные друг в друге, меж нами написанный договор, никто не свернет на встречную полосу, никто не выкинет номер, мы заодно, заодно.

...Минувшей ночью его что-то разбудило, он подошел к окну, не включая света. Двадцать второй этаж плыл в ночи над городом, как разведывательный дирижабль при погашенных огнях... Внизу стелился ровный мрак, прошитый немногими симметричными световыми линиями и точками в микрорайонах и на магистралях. Он пригляделся к окрестным домам. У всех светились поперечные ряды стандартных лестничных пролетов, но окна квартир не светились ни в одном. Ни одно окно не нарушало симметрию единообразных прямоугольников темноты, ровно поделенных продольными пунктирами лестничных окон и лифтовых шахт. Ни одной беззаконной кометы в кругу расчисленных светил... Ни мучимого бессонницей злодея, ни сумасшедшего, ни одного графомана, строчащего повесть сердца в пламенном бреду изнуряющего воодушевления, ни одного заснувшего над учебником школяра. Ни одного поэта. Ни одного умирающего или влюбленного. Ни одного разбитого сердца! Мы ровные, разграфленные, взаимозаменяемые... Но что это?! Почему он мчится по нашей трассе как-то не так, не по-нашему, а вихляя, нервничая? Его заносит... Почему он слепит нас своими фарами? Кто он? Почему на территории? Кто пустил? Его манера езды зароняет сомнение, он лишил нас осанки, мы вдавливаемся в руль, защелкиваем ремень безопасности... Он мигает, он срезает углы на повороте, этот чужак. Он что-то задумал. Прочь! Он не наш, это не ездок по правилам, это хаотический ублюдок из хугосочных детей дядюшки Броуна, гнусный племянник подвоха, кузен двусмысленности, неуправляемый и подверженный диким выходам отщепенец. Это ведь ты, да? Твой завистливый и червивый мозг давно вынашивает измену. Эй, ты, что ты здесь делаешь? Сверни на обочину, скройся на лесной дороге. Кто так выходит из виража, смотрите, у него явно это на уме! Эй! И это же легко: руль влево, еще чуть-чуть по встречной полосе, на самый свет, в кратер поlyingающего ужаса и злорадства... Нет, нет, ты подчинишься, ублюдок, я увернусь, и ты просьешь своим черепом бетонные стояки за моей спиной, слышишь, мерзкий отпрыск ненавистного Броуна. Не мешай нам! Мы мчимся по трассе с сумасшедшей скоростью, навстречу друг другу каждый по своей полосе, каждый по... и с кончиков собственных пальцев на гладкий гладкий асфальт

Последнее время Паше Раскладушкину безумно везло, и он, конечно, испугался. Вдруг в его лабораторию прислали для датировки фрагмент черепа гоминида с великолепно сохранившейся верхней челюстью. К тому же неожиданно отменили поездку в колхоз. Потом в доме заработал лифт, который пол-года простоял. И все эти дары свалились в течение каких-то двух недель, много так сразу, кучно. И хотя заработавший лифт коснулся его не прямо, потому что Паша жил на первом этаже, но все равно он ведь рад был за других и, значит, опять подпадал под знак везения. Прислушиваясь к возобновившемуся гулу электромотора, Паша испытывал то высокое, бескорыстное удовлетворение, какое всегда нисходит на безалаберных гуманитариев при мысли, что где-то наконец воцарился пошатнувшийся был порядок и снова демонстрирует себя непостижимая их уму техническая безотказность...

От немислимых удач Раскладушкин по русскому обыкновению очень затосковал, ощутил неуют, тревогу, будто в самих удачах, как и в ощущении удовольствия, было что-то нехорошее, незаконное, в обход каких-то обязательств и установлений, и хотелось Паше от греха, что называется, для равновесия быстрее окунуться в привычную отечественную тяготищу... Захотелось какой-нибудь пакостью себя успокоительно омрачить. Он суеверно ждал, но пакости не приходили. А тут еще Лютер... Да, по-настоящему понял Паша, что его достали, когда он нашел на Кузнецком мосту иностранную купюру. «Не к добру, ох-ох, не к добру-у-у...» — чужим, каким-то старушечьим голосом проверещало в нем нехорошее предчувствие.

Да, это было: шел без дела Паша по Кузнецкому, играл про себя в «сегОдня мы вОлОгОдские», вдруг его рассеянный взгляд упал на небольшую лужицу под водосточной трубой, а на дне той лужицы лежала синеватая красивая бумажка, оказавшаяся ассигнацией достоинством в двадцать марок: сквозь мутноватый слой воды смотрел с купюры на русское небо насуспенный Мартин Лютер в монашеской рясе — из-за Лютера-то с его характерным лбом, хорошо выраженными лобными пазухами и надбровными дугами Паша, собственно говоря, нагнулся и поднял. (Ему давно нравился морфологический тип головы Лютера по гравюре Луки Кранаха 1521 года.) Ну как мог на эту находку отреагировать такой человек, как Раскладушкин? Не один десяток лет жил Паша на свете и никогда нигде не находил не то что рубля — гривенника, а тут вдруг ассигнация, да еще иностранная. Другой бы увидел в указанном факте зримый знак роста межгосударственных и туристических контактов или что-нибудь в этом роде, а Паша себя продолжал терзать испугом от беспричинного везения. Свою ассигнацию он в тревоге донес до работы, до Зои Антоновны Никишкиной, старшей, но все еще бойкой сотрудницы из отдела верхнего палеолита, житейски опекавшей Раскладушкина. Когда он закончил свой рассказ об уличной находке и вытащил из кармана ассигнацию, Зоя Антоновна сначала отпрянула, затем ахнула, потом, озираясь, закрыла ладонью рот, так что поверх ладони Раскладушкин с каким-то неловким чувством увидел под пепельно-седой челкой глупо-застывшие, полные сострадательного ужаса глаза.

— Лютер, говоришь?! — прошептала она, не отрывая ладони от рта. — Ой, Паша, дело швах, чует мое сердце. — Она посмотрела ему в глаза. — Ой, Паша, не к добру это, ох, не к добру, — затянула она высоко, протяжно, — не к добру-у-у он, Лютер-то пресловутый.

— Вот уже и пресловутый! Вот уже и ярлыки! — Раскладушкин обиделся за Лютера. — Да при чем тут Лютер?!

Никишкина отъяла от рта ладони, прикусила губу, глубоко вздохнула, скосив глаза сначала влево, потом вправо.

— А к тому, Паша... — она понизила голос. — Когда у нас переаттестация-то?

— Ну, завтра.

— Ну вот, то-то, — с ожидаемым облегчением сказала она. — Вот когда на тебе Лютер-Шпицрутен отыграется... Понял теперь? Вот когда боком-то вылезет ассигнация... Меня предчувствие редко обманывает, — с мрачной гордостью добавила она. — Я, Паша, палеоантрополог с сорокалетним стажем, я-то этих неолантропов, как облупленных, зна-а-аю, уж я-то их ох как изучи-и-ла!..

Раскладушкин с неловким чувством посмотрел на нее и вдруг понял, что нехорошее предчувствие последних дней верещало в нем кликушечьим голосом Никишкиной. Он ощутил легкое разочарование: голосом и личностью в общем-то простодушной Никишкиной не мог пророчествовать некий высший анонимный таинственный источник, действию которого, честно говоря, он приписывал события последнего времени. Он ждал, если быть честным, какого-нибудь яркого, знаменательного краха, колоссальной катастрофы, а фигура Никишкиной снижала все, это было не то, голос Зои Антоновны мог знаменовать лишь что-нибудь мелкое, бытовое, бабье-суеверное, из разряда учрежденческих сплетен, а это не могло страшить возвышенно, интригуяще.

На том Паша бы и успокоился, но тревога снова поселилась в его сердце, потому что предсказание Никишкиной о провале на переаттестации зловеще не оправдалось. Паша, представьте, отлично прошел переаттестацию, и это несмотря на (кто? кто помогал ему, какой демон нес день и ночью вахту сомнительного покровительства?)... несмотря на то, что комиссию по переаттестации, как угадала Никишкина, и в этом году возглавлял небезызвестный методист из управления Шпицрутен, тот самый О. А. Шпицрутен, про которого говорили, что он не то из обрусевших немцев, не то из обрусевших шведов и на самом деле не Олег Августович, а Отто, и поскольку, мол, был из немцев, то русских не любил и «потомственно» презирал за бестолковость и отсутствие царя в голове; для роли экзаменатора, конечно, трудно было найти человека более подходящего. Не ведая жалости, этот обрусевший ариец выедал целые популяции бездельников в научно-экологических нишах различных НИИ. До того, как Раскладушкин, помявшись в дверях, зашел в кабинет переаттестации, троих уже понизили в должности, семерым срезали зарплату.

— Фамилия. Должность. Стаж, — произнес Шпицрутен, в упор, как на допросе, глядя на Раскладушкина. Шпицрутен при виде испытуемого — смущение, заносчивость, интеллигентский трепет, заискивающее-надменный взгляд — ощутил хищническое или, лучше сказать, палаческое вождеделение. Слюна предвкушения оросила его небо. Он приготовился выбрать точку на лице или шее жертвы. У него была манера, задав каверзный вопрос, откинуться на спинку стула и впериться пристальным инспекторским взглядом в специально выбранную точку на подбородке жертвы, или возле верхней губы, или лучше под носом, — смотреть неотрывно, долго, с прищуром, с тяжелой, гадливой внимательностью в эту точку, невидимую самим объектом, отчего объект страшно стусевывался, украдкой трогал это место, думая, что там какой-то стыдный беспорядок... Расчет Отто был, конечно, убийствен: люди, и без того травмированные всей атмосферой переаттестации, от стылого взгляда экзакуратора впадали чуть ли не в ступор, воля их была парализована, мозг заклинивало, — Никишкина, к слову, не смогла ответить даже на первый вопрос: «Фамилия. Должность. Стаж»...

Нечего говорить, что такой человек, как Раскладушкин, для таких людей, как Шпицрутен, — сущий клад, порочная услада, все равно что вольная, беспечная лесная муха для дачного паука.

— Фамилия. Должность. Стаж, — повторил палач.

— Раскладушкин. Младший научный сотрудник. Шестнадцать лет, — неожиданно четко ответил Раскладушкин на первый вопрос.

Шпицрутен наддал взгляду нордической брезгливости, приблизил свое лицо и снова впился в место чуть выше виска испытуемого. Но Раскладушкин был дальновзорок и потому неподвластен злым чарам методиста, он легко ответил и на второй вопрос. Минут десять слегка занервничавший Отто топил (пытался топить) Раскладушкина в тонкостях полового диморфизма у питекантропов, а также петлял вокруг трудного вопроса о поисках промежуточного типа между синантропом и неандертальцем в виллафранкском ярусе. Паша и тут был на высоте. Один раз он даже сам озадачил чванливого немца, на Пашу нашел даже, можно сказать, какой-то порыв (с ним такое бывало), и он в некотором исступлении развернул перед экзаменатором картину мучительного зарождения разума в антропоидном слое плейстоцена, когда после эпох брожения примитивного психизма была подготовлена почва для появления цветка сознания, и однажды, мол, как выразился Раскладушкин, в бесформенную массу оцепеневших косных, по-

лусонных мозгов ударила, как молния, озаряющая искра самовидной рефлексии. Шпицрутен огромным усилием воли остановил на своем лице нервный тик, тут Паша ощутил, как экзекутор совершил выброс ужасного запаха, значение которого было Паше ведомо с недавних пор (запах мокрого асфальта и еще чего-то приторного, вроде сушеной ромашки), но Паша пересилил себя, на несколько секунд задержал дыхание, а потом продолжил, объясняя в общем довольно темное место, почему церебральность пала именно на филетические линии гоминидов, и заставил вспыхнуть немца, употребив редкий эффектный термин Тейяр де Шардена — «аристогенез». Одним словом, Павел Раскладушкин выдержал переаттестацию (это ли не триумф?) и таким образом защитил свое звание младшего научного сотрудника с окладом 231 рубль в месяц. Это невероятное везение могло быть предвещьем поистине замечательной грандиозной катастрофы.

Стоит ли удивляться некоторым странностям в нем? Ему, например, не раз представлялось, что он — это не он, а некий персонаж, которого сочинил какой-то полупьяный писатель и выпустил на волю со страниц повести, а что полупьяный — точно, уж очень часто у него концы с концами в обрисовке характера не сходились, общая линия сюжета не прослеживалась, начатое бросалось на полдороге... «Этот сочинитель, — сказал однажды себе Раскладушкин, — не один раз небось прикладывался к стаканчику, садясь за меня, ну то есть за произведение своей фантазии». Тщеславие бывает не только у авторов, оно бывает и у персонажей. Один раз от него услышали:

— Ну и пусть меня сочинили подшофе. Пусть! Да, я неудачник. Да, ничего замечательного не сделал. Да, не вышел. Ну и что? Но ведь можно замечательно НЕ выйти! — закончил он, говорят, на вскрике с ущербным тщеславием второстепенного, но не потерявшего достоинства персонажа.

Приступаю к рассказу о трагическом утре Раскладушкина, оправдавшем все злоешие предчувствия, предзнаменования и все приметы.

То было воскресенье. Август. Дождь невероятных, необъяснимых везений последнего времени продолжал изливаться на него свои пугающие дары, и, выходя с опаской из дому в то роковое воскресенье, он даже предпринял некоторые меры предосторожности. Так, специально понес будильник в часовую мастерскую, наверное зная, что в воскресенье мастерская не работает, — чтобы перед закрытой дверью испытать «горечь неудачи», «досаду разочарования» и тем прервать цепь везений, сбить ажиотаж, как бы смешать карты у того анонимного мистического источника, который избрал его предметом своего странного покровительства. Итак, он пошел в часовую мастерскую, и — представьте! — она была открыта. Он побежал домой, схватил ворох вещей и бросился в соседний переулок в химчистку. Где-где, а уж там-то все должно было стать на свои места. И что же вы думаете? В химчистке у него взяли все вещи до единой, включая старый оранжевый макинтош с металлическими пуговицами, тот, который он лет десять назад брал в антропологические экспедиции на среднюю Волгу в окрестностях города Мышкина. Павел не сомневался, что уж этот-то макинтош точно не возьмут по причине неудаимости пятен и ветхости ткани. Взяли. Лишь приемщица дала ему за чем-то бритву, которую он долго вертел в руке, пока ему за спиной не объяснили, что это для пуговиц: «Пуговицы, пуговицы надо срезать»...

«Что это?.. Что с мной?» — сдавленно шептал Паша. Он задыхался под бременем непривычного, неприличного, махрового, какого-то антисоветского везения.

Павел брел домой. Что оставалось думать? Человек не только находит в выходной день часовую мастерскую открытой, не только сдает в химчистку все до единой вещи, включая старый оранжевый макинтош, а в довершение всего в полупустом универсаме в молочном отделе он сдает две бутылки из-под кефира и одну майонезную баночку, и никакой очереди, и тара была, и приемщица не болела.

Павел отказывался верить этим невероятным удачам, в особенности в отсутствие очереди. «Где я? — полубредил он, стоя посреди полупустого

зала, трогая лоб своими струящимися пальцами. — Где я, дома ли я?.. Нет. Ибо что образ Родины? Бескрайняя заснеженная лесотундра, в разных концах неба сразу два светила — солнце и луна, в воздухе заунывная, нечленораздельная песня, и до самого горизонта она, вечная нескончаемая очередь непонятно куда, неизвестно зачем...»

Ему было тридцать с чем-то лет, и ему было не по себе. Дело в том, что удачи в хозяйственных делах всегда казались Раскладушкину таким верхом везения, таким невероятным достижением, что, когда это случалось, он шел по улице окрыленный и какой-то обескураженный. В воодушевлении приподнятых чувств он мог посылать себе (мысленно, конечно) воздушные поцелуи, навистывать что-нибудь бравурное из Оффенбаха или Легара, ходить, идиотски размахивая пустыми руками («видите, пусто, все сделал, все приняли, Боже, можно ли в это поверить!»).

Любил Паша в такие часы от полноты чувств поговорить с вороной, если таковая случалась по пути. При приближении к ней та обычно со своей ветки производила недовольный, скрипучий карк. На что Паша тут же откликался приветливым, бодрым замечанием:

— Ну так я разве спорю? И я тоже так думаю! И я говорю, что у нас много недостатков.

На дереве обычно воцарялось озадаченное молчание. Паша шел дальше, спиной чувствуя, что за ним следят, и тут ворона обычно выжидающе подавала голос вдогонку, без вызова, пробно, примиренчески, вроде «ты не уходи, поговорим...»

Паша нарочно не реагировал, шел, руками так размашисто (и несинхронно с движениями ног) вихляя. Тогда умная птица снова срывалась на надрывный крик.

— Пусть так, — притормозив, подхватывал Паша, — пусть так, но вы же не будете отрицать, что в этом вопросе наметился некоторый прогресс. Откройте любую нашу газету, и вы увидите, как смело стали вскрывать...

На этой стадии общения птица обычно потрясенно молчала. Потом вдруг, словно опомнившись, прерывала Пашин панегирик в адрес нашей прессы гортанным, заполосным карком, на что Паша реагировал так: он резко останавливался и деланно-возмущенно восклицал:

— А вот клеветать — не позволим!!

...Роковой воскресный день набирал силу, тревога нарастала. Паша давно замечал за собой, что, взяв справку в жеке, или сдав подозрительную вещь в химчистку, или удачно сделав какое-то иное хозяйское начинание, он испытывал в некотором роде авторское чувство. То, что в отделе приема стеклопосуды в это утро не было очереди, и была гара, и не болела приемщица, — все это для палеоантрополога Раскладушкина содержало в себе больше невероятного, невообразимого и загадочного, чем все тайны переноса мутационных признаков у псевдонеандерталоидов или даже символика тотемов у человека из Штейнгейма.

Сколько удач в одно утро! Необыкновенное утро! Замечательное утро! Представьте, в это воскресное утро Паша — ко всему — познакомился с девушкой, и познакомился на улице, чего с ним никогда не случалось.

Аня была та юная женщина, которая в химчистке — помните? — сказала Раскладушкину, зачем там дают бритву («пуговицы, пуговицы срывать...»), они непроизвольно вышли вместе, и путь их, как выяснилось, совместно пролегал к универсаму...

— Да что вы, — засмеялся Паша, — я этот макинтош десять лет не ношу, это я одну примету проверил. Я в этом макинтоше в фольклорную экспедицию ездил. Мы записывали свадебные обряды. — Паша оживился. — И вы знаете, какое убеждение я вынес? Свахам их ремесло нравится не только ради, так сказать, конечной цели. Они, Аня, особое удовольствие получают, когда удачно сводят жениха и невесту. Особое удовольствие. Для них самих. Я наблюдал...

— Вы думаете?.. — Аня даже смутилась. Как прелестно пахли ее волосы, запястья, шея!

— Да! Определенно! — воскликнул Паша. — Тут, Аня, сладкое для свих занятие. Непосредственная сладость. Чай они тут не вприглядку, а вприкуску пьют, Аня. Именно не вприглядку, а вприкуску!

«О-ой, вопреку-у-ску-у», — опять будто услышал Паша внутри себя неприятную высокую руладу. Это верещал в нем голос Зои Антоновны Нишкиной. Раскладушкин даже в испуге приостановился и опять услышал: «Эх, Паш, смотри, не профукай свое счастье».

Паша загнулся, нечаянно толкнул Аню в плечо, извинился. Он сказал: «Пардон», и это произвело странное впечатление на Аню. Она вдруг замерла в пылом восхищении, но тут же опустила глаза, потупилась, тихо, страстно сказала:

— Павел, вы знаете французский?

— Я? Что вы, чуть-чуть... со словарем... тексты по специальности... а что?

— Я прошу: скажите еще что-нибудь на этом языке. Поговорите со мной по-французски, — прошептала она.

— Что?

— Все равно что... Я обожаю этот язык, я теряю голову. От самого звука этой речи, понимаете?

— Ну что же сказать? Я, право, не знаю... *La politique, ce n'est pas pour les femmes?* *

— Ну что же вы замолчали? — взмолилась Аня. — Продолжайте же.

— *Histoire d'un voyage.* **

— Еще! — Аня больно сжала его руку. — Боже, вояж, говорите, говорите!

— *Résumé* ***... Что с вами, Аня? Вы плачете?

— Все. Я все про себя поняла! — всплеснула она в ужасе руками. — Все, я теперь себя знаю, я погибла, я не устою. Боже! Если меня попросить на этом языке, я буду не в силах ни в чем отказать, сохранять самообладание. Боже мой, какой позор! Скажите же, скажите скорей что-нибудь по-немецки! — приказала она.

Паша в недоумении вспоминал.

— *Ich bin Dumkopf* ****, — прошептал он.

— Еще! Еще! — нетерпеливо, почти властно потребовала Аня. Глаза ее были закрыты, рука вытянута вперед как бы в ожидании экстренной помощи.

— Еще?.. — Паша растерялся. — *Ich bin... Нет. Ich Afrika gibt es viele Menschenaffen.* *****

— Все, — твердо, благодарно сказала Аня, смело, бестрепетно взяв Пашу за локоть. — Все. Как под цементом. — Паша увидел в ее глазах легкий триумф воли. — Все, Паша, спасибо. Все прошло. Все встало на свои места.

С ее лица действительно как бы сошла дымка экстаза, она стала обычной, трезвой гражданкой СССР.

Они улынулись друг другу, Аня вдруг заторопилась. Они назначили свидание на семь вечера у кинотеатра «Бородино», где шел фильм с участием Фернандела. Паша, признаться, волнуется: он был неопытен в любовных делах, можно сказать, девственник, если не считать двух смешных полуслучаев в студенческие еще годы. Это не мешало Паше быть очень смелым в теоретических допущениях. Он иногда мнил себе разделение особей нашего вида не по принципу диморфизма, как задумала эволюция, а шел гораздо дальше. Однажды он даже развил фантазию, насколько сложнее и интереснее выглядела бы жизнь человеческой популяции, если бы люди были, к примеру, трехликие и шестиполые.

— Ты представляешь? — заводился Паша. — Сколько драм, хитро-сплетений, какая многовариантность коллизий, сюжетов, связей! Какая изощренная порочность! — Паша перевел дух. — Какие сложные отношения с окружающими, с самим собой! А любовь?! — воскликнул Паша, снова набрав воздуха. — Не примитивные треугольники, а целые любовные октаэдры! — Он торжественно пожевал губами. — А какая — о! — какая была бы литература!!

* Политика не для женщин (франц.).

** История одного путешествия (франц.).

*** Резюме (франц.).

**** Я дурак (нем.).

***** В Африке много человекообразных обезьян (нем.).

Простившись до вечера с Аней, Паша опять томился. Слишком все хорошо было, так чересчур хорошо, что снова душу его захватила смута, тревога. О, если б он знал, что ждет его в этот воскресный полдень! Если б он только знал!.. Он шел в сторону Никитских ворот по приятно-прохладной теневой стороне улицы и, заметив это, тут же быстро перешел на солнечную, в самое пекло, с облегчением ощутив неприятность, чем, стало быть, улестил алчного бога симметрии, принес ему жертву неудобством, легким страданием. И еще, он знал, надо — чтобы сбить эйфорию — скорее подумать о чем-то плохом, огорчительном... Он слегка замедлил шаги, с ленцой запустив свою мысль под своды памяти. Паша вдруг скривился и похолодел. Он вспомнил про академика Штыканова. Про его тайну, которую он доверил Паше. Сперва Паша даже подумал, что его сосед по номеру не совсем в себе (а познакомились они в доме отдыха Академии наук в Звенигороде, накануне Штыканов спалил свою дачу — это было три недели назад). То, что академик говорил Паше на берегу Москвы-реки, все время озираясь, было до того невероятно, что Паша не знал, что и думать. Лев Константинович Штыканов, огромный большоголовый взъерошенный человек, почему-то проникся к Паше доверием, сразу, с первого разговора, даже предлагал ему перевестись в его химико-биологический институт. В тот вечер у Москвы-реки академик рассказал ему про страшный исследовательский результат, который он случайно получил, работая над совсем другой темой. Когда он понял, на какую бесовскую штуку его навел случай, он перенес опыты домой, занимаясь вне стен института. Это было что-то чудовищное — Штыканов случайно обнаружил источник громадой взрывчатой силы на дне генов людей определенной конституции и показал формулу (даже сейчас Паша, стоя у Никитских ворот, не решался вспомнить об этом четче, опеределеннее, а старался прибегать к туманным недоговоренностям). Открытие претило гуманистическим и экологическим принципам ученого, и, когда они встретились уже в Москве на квартире академика, Паша узнал, что записи и чертежи Штыкановым сожжены, полученные ингредиенты биодетонатора уничтожены. Лев Константинович сообщил об этом Паше, сидя в кресле возле камина.

— Вот здесь все и сжег, — сказал академик. — Мне ничего не оставалось. Меня уже пасли. Я чувствовал...

Вспоминая об этом, Паша даже остановился, осмотрелся. Поблизости людей не было, он, оказывается, был уже на Суворовском бульваре. «Это хорошо, что никого рядом», — подумал Паша. Еще на квартире академик взял с него честное слово никому ни под каким видом не говорить о его открытии, тем более хранить в глубочайшей тайне формулу биодетонатора, которую Паша не рад был узнать, все время выкидывал ее из головы, боясь держать в готовом сознательном виде. У него была теория: если человек что-то секретное держит в голове, скрытно думает о чем-то, — именно эта секретность и обнаруживает себя сверхстаранием не быть обнаруженной; флюиды, излучаемые мозгом, можно запеленговать, зафиксировать и расшифровать, во всяком случае, можно вычислить какой-то общий характер и направление мыслей. Поэтому Паша еще там, у камина, сделал глубокий вдох и словно бы забросил эту формулу на дно мозга, в самые недостижимые омуты беспамятства, вот почему он был спокоен: не только от окружающих тайна была ограждена, но, можно сказать, сам Паша ее как бы не знал. Хотя и знал.

«Как это академик сказал? — Паша опять двинулся вперед по Суворовскому бульвару, представляя себе сидящего в кресле огромного взъерошенного Льва Константиновича. — Ах, да, он сказал, что, если его открытием воспользуются, человечество будет отброшено к вашим палеоантропоидам!» Он так и сказал — «к вашим». И тут Кеша заорал: «К вашим палеоантропоидам!» Он очень четко выговорил сложное слово. Кеша — это был старый попугай академика, единственный член его семьи.

Сейчас Паша тоже постарался все забыть про Штыканова и его историю, забыть, а ключ выбросить в глубокий колодец, навсегда, он так и сделал и вышел к Калининскому проспекту.

Он настроился пройти с беспечным видом, с головой налегке, но, странная вещь, Штыканов и его проклятая формула будто сами выкарабкались наружу, какой-то демон нашептывал Паше, чтоб он не мешал всплыть всему этому на поверхность. Ему даже показалось, что кто-то уме-

лый, настырный извне вытягивает из его затылка — как? чем? — то, что он запрятал на самое дно мозга, как кашеёвое яйцо. Он физически ощутил: сзади (и чуть сбоку) кто-то, вьедливо пошаривая под сводами, смотрит в его голову, этот взгляд давил, Паша даже вспомнил про теорию физика Лебедева о давлении света. Но еще раньше мой начитанный герой вспомнил любимое место из «Идиота», он уже минут пять цитировал в своей душе (всамделишно его испытывая в себе про себя) чувство смутной, зловещей тревоги, какая в свое время давила на князя, когда он заметил в толпе у себя за плечами два выслеживавших его рогожинских глаза... Паша не сомневался, что если он сейчас также замедлит шаг и повернет голову назад и чуть вправо, то увидит что-нибудь подобное, ужасное, и он нарочно не додумал эту мысль, а враз, как бы наотмашь остановился и развернулся. Люди, шедшие в потоке за ним, замешкались и поневоле обратили внимание на остановившегося человека, но это были все пустые, не те глаза, а те, про которые он подумал, были правее, у кромки тротуара, за дымчатыми стеклами очков. Паша как-то и не успел понять, на ком были очки, словно глаза эти из-за чьих-то голов смотрели на него сами по себе: взгляд был оцепенело-впившийся, но он был и какой-то двоящийся, ускользающий от того, чтобы кто-то мог с ним встретиться. Голову у Паши слегка поламывало, тогда он отвернулся, запихнул, как шапку в рукав, своего Штыканова с его формулой куда-то в темноту, вглубь, пустил все сознательные соображения враздрызг, смазал их, перетер, перетасовал, разворошил, обесмыслил и с этой тарабарщиной и опилками в голове (но соображая, что нужно скорей скрыться, оторваться от тех глаз) рванул на звук шипящих троллейбусных дверей. Вдавился животом и лицом в чью-то зеленую спину, дверь его слегка прищемила, потом с судорожным дерганьем все же закрылась, и у Паши отлегло от сердца: он ехал. Чувство облегчения помогло ему перенести давку, но зеленая спина — это был военный — уж слишком беспардонно сверлила ему висок медной пуговицей на хлястике плаща (Паша стоял на нижней ступеньке), высвободиться же не было сил, и он терпел.

Неожиданно все вышли у кинотеатра «Октябрь». И Паша увидел себя стоящим в опустевшем салоне, обидчика военного (это был лейтенант) — сидящим. Стоя над ним, Паша грустно усмехнулся. Так-то, спереди и с боков, к лейтенанту не подступись — кокарды, пушки эти скрещенные на погонах, под козырьком подбородок квадратный выпирает. А сверху? Со спины? Паша смотрел на беззащитное вздутие посерединке верха фуражки, на ту самую шишечку, где макушка головы выпирает из материи. Маленький остренький холмик такой... Ай, думал Паша, глядя сверху на этот холмик, вот где слабина человеческая проступила, вот тебе и не подступись... Уязвимое место какое, шишечка-то эта... весь в броне, а шишечка беззащитная... У всякого человека, если вдуматься, такая вот шишечка есть, ахиллесова, так сказать, пяточка. И у меня она тоже есть. И у вас. У всех гуманоидов. Все плоды гуманитарного воспитания и просвещения мобилизованы на то, чтобы не воспользоваться этим знанием, попутчик. Ты ведь не раз ездил в жару в переполненном транспорте и не мог не думать о том, что ты к ним стоишь спиной... Не так ли? А у них ведь в руках кейсы. И у иных — по сезону — лопаты, тяпки... Ведь в жару да и вообще с какого-нибудь расстройства какой-нибудь возьмет и... а ты спиной к нему, спиной. Проще простого — взять и треснуть тебя кейсом по башке. Очень даже это понятно. Иной раз ни с того ни с сего подступит такое неудержимое желание, что и выйдешь не на своей остановке... Особенно если маячит перед глазами отвратительная такая плешь, бугристая, в испарине, остренькая, конусообразная, усыпанная старческой гречкой...

Паша поймал себя на том, что улыбается в пустоту. Этой пародийной тирадой он словно бы заслонялся от тех глаз, ему неприятно было думать о них. Кто же все-таки тот тип, что ему было нужно? Откуда он? Или не стоит и задаваться этими вопросами? Непонятно, ну и пусть, ведь можно жить рядом с непонятным, игнорировать его, не обязательно же... Месяца два назад Пашин приятель — репортер Эдик — взял его в Дом журналиста на «8^{1/2}» Феллини, и у них вышел в вестибюле любопытный разговор. Правда, после просмотра Эдик спешил спуститься в пивбар, поэтому Паша свои тирады комкал. А началось с признания Эдика:

— К своему стыду, Паш, — сказал он, — я половину у него не понял.

— Немало. Значит, восемь понял.

— Перестань. Я, правда, почти ничего не понял у этого твоего Феллини, — повторил Эдик.

— Ну и что? И не надо, — сказал Паша.

— Ты чего? Я тебе по-человечески...

— И я. Чудак. Не понял, и не надо, не надо понимать! — воскликнул Паша. Он даже быстро облизнулся, боясь, что его могут прервать, опередить, а ему так хотелось договорить, тем более что многие в очереди в гардероб, где они стояли, уже прислушивались. — Пойми — и не надо понимать, не надо этого стесняться.

Паша выдержал паузу.

— Темно ты говоришь, друг Павел... — хмыкнул Эдик.

Паша выбрал в очереди интеллигентное лицо (не без труда) и громче сказал:

— Да, ты прав, у Феллини много в картине непонятого, но не потому, что ты не понял или что этот Феллини такой заумный или сверхсложный, а потому, что режиссер послушно отразил идею существования непонятого в самой жизни. — Паша выдержал маленькую паузу, он не слышал, что ему говорил Эдик, он уже был как токующий глухарь. — Пойми!! Феллини и сам не понимает — неужели ты этого не почувствовал? Это и есть идея картины! Ты прекрасно ее уловил: мир есть тайна, и кино лучше всех передает эту тайну!

Паша увлекся, он, плохо сообразуясь с обстановкой, принялся развивать свою мысль, но вскоре обнаружил, что находится один вблизи черной бороды гардеробщика. Эдик слинял, очередь давно рассосалась. Но Паша не огорчился. В этом мире ничто не пропадает, ничто не произносится впустую. Это было, считайте, его объяснением в любви обожаемой им десятой Музе — Музе кинематографии. Именно тогда, в тот вечер, пришло Паше в голову присвоить Музе кино порядковый номер 8^{1/2}.

Близится час невероятной трагедии, происшедшей с моим героем Павлом Раскладушкиным, и я сам, повествователь страшной этой истории, спрашиваю себя: неужели ничего б не было, если б Паша не встретил случайно своего одноклассника и не заговорил с ним? Неужели мы зависим от таких случайностей или все-таки все в нашей жизни предопределено? Собственно, если б разговора не было или если б он закончился минутой раньше или позже, Паша успел бы перейти на другую сторону улицы и таким образом миновать роковую черту. Боже мой, почему нас повсюду подстерегают хищники случайностей! Или нет, что я говорю, на что руку поднимаю, разве случайности не бывают единственными приютами свободы в стране жесткого детерминизма?! А вдруг все гораздо серьезней и проще и к тому, что случилось, каким-нибудь образом имеют касательство те да внешние глаза, следившие за нашим несчастным героем? Кто, кто это знает?..

Итак, Паша вышел из троллейбуса где-то у гостиницы «Украина», лейтенант с шишечкой уехал дальше, про того типа с двоящимся взглядом Паша сумел забыть, одурманенный тяжелыми городскими запахами, — лишь изредка непереносимый воздух прореживали благовонные струйки возле детей, красивых женщин, сухих старушек и собак. Ах да, я забыл вам сказать, что у Паши было совершенно необыкновенное чувствительное обоняние, его нос был причиной самых отталкивающих его мучений и утонченных приятностей. Часы у гостиницы показывали без четверти одиннадцать. Что делать? Куда идти? Ему было все равно, куда идти, он был свободен до вечера, до семи часов у кинотеатра «Бородино», где назначил свидание с Аней. Но дело было даже не в свободе. Дело было в бесцельности. Для таких людей, как Паша, прелесть бесцельности заключается в себе особый род русского томления, за которым ничего не стоит, кроме желания неопределенного безадресного бескорыстного плутания без цели — куда заведет, куда занесет... Паша шел куда глаза глядят, вдыхая все запахи города, чаще страдая от этого, но иногда наслаждаясь. Он шел никуда, нипочему, низачем, ни для чего, ни чтобы рассеяться, ни чтобы что-то обдумать, ни размяться, ни понаблюдать, ни убить время... В са-

мом деле—если б он совершал послеобеденную прогулку или нагуливал аппетит, это было бы немецкое «Die Motion». Если б он беспечно бродил, шатался, слонялся и т. п., это была б итальянская «passigiata» (прогулка). Поиск любовного объекта именовался бы французским выражением «droguer les filles». Раскладушкин же шел по городу на русский манер, то есть просто так. И если бы его спросили, что ты здесь делаешь, он бы ответил: ничего. И если б его спросили и дальше: «Но для чего-то ты делаешь это ничего?», то это был бы совершенно не русский вопрос.

Поток мельтешащих вблизи машин немного загипнотизировал Пашу, у него поплыло перед глазами, что-то качнулось, на душе опять опасно сделалось хорошо. Какое счастье, что вот я здесь, что я живу, а человек с реки Соло лежит сейчас на острове Ява в напластованиях юрского периода... «Вот захочу,—говорил себе Паша,—пойду в другую сторону, захожу—и скажу что-нибудь вслух, и все получится, потому что я живой! Как хорошо, какая прелесть—жить! Милые вы мои, хорошие попутчики, спутники, современники, мы все—вобратимы одномоментности нашего существования! (Глаза Паши увлажнились.) Вы меня слышите? Я люблю вас. Вы милые, а я такой гадкий! Нет, и я тоже хороший, все милые и хорошие, и как хорошо, когда все хорошие!..»

Какая-то горячая волна вздымалась, и опадала, качала, и несла его на себе.

«Все милые, все, и лейтенант тот тоже милый...—бормотал про себя Паша.—Вон машины встречные едут, шинами шуршат, вот КРАЗ со стрелой маячит, и ничего, все мимо, все по своей полосе... А ведь проще простого... раз! в лоб! всмятку! Не-ет, мимо проехал, соблюдает... Милые вы мои, хоро...»—Тут, на вершине умиленности, когда, можно сказать, он нес в душе транспарант всеобщего братства, его кто-то довольно сильно ударил по спине. Паша вдрогнул. Повернул голову. Это был его одноклассник Дима Варлей, узнанный сразу и совершенно на себя непохожий.

— Старик! Паша! Ты ли это?!—услышал Паша знакомый натужный напористый голос.—Ну, говори! Где? Что? Когда?

Паша силился отыскать прежнее лицо одноклассника среди трещин и оползней жира.

— Сколько мы не виделись? Червонец? Четвертак?—Варлей приблизил свое лицо, намереваясь, видимо, обнять, но Пашу обдало такое («Пасть гниены, жравшей падаль»,—мелькнуло у него), что он отстранился. Соученик какими-то щипками облапывал ему плечи, локти. Паша схватился за рот (его едва не стошнило) и побежал прочь куда-то в сторону на асфальт, и последнее, что он помнил,—скрежет и визг тормозов, удар и боднувшее его громадное стекло над черным капотом.

Часть II

«Я однажды заснул и увидел сон, будто я превратился в бабочку, и бабочка тоже заснула и увидела сон, будто она превратилась в меня...

...Так кто же я?»

Дж у а н ц зы,
древний китайский философ

По-видимому, это был сон, характерный для душных жарких ночей или же для дней болезни, когда ты весь в тесноте, когда неможешь... Перехожу сразу к сюжету, ты не против, Аполлинарий? Итак, это был, по всей вероятности, весьма талантливый и горделивый народец, само название у него было «исты» (по-видимому, от слова «истина»), и занимал он в холмистой местности территорию, по прихоти природы повторяющую контуры латинской буквы W, упавшей навзничь. Территория у них была крохотная, и был всего один город, он же столица, остальное—страна. Эти исты во множестве отраслей знания—в астрономии, металлургии, биологии, агрономии, военном деле, философии, истории, микробиологии и т. д.—имели корифеев, основоположников, предтеч, первооткрывателей, светочей; великих полководцев у них тоже было огромное ко-

личество, и вообще каждый третий ист ходил в гениях, что-то там открывал, провозглашал, покорял, и по смерти его соотечественники ставили ему памятник. Единственный металлургический завод государства только и делал, что вылавлял металл из ниш постаменты и памятники. Уж не говоря о единственной на их территории каменоломне. Свой карьер оскудел, исты давно вынуждены были импортировать гранит, мрамор из других стран. Целые шлоны, потому что уникалов, как сказано, было навалом, и они все прибавлялись. Все городские площади, скверы, улицы, дворы были буквально забиты гигантскими памятниками — конными и так, всякими барельефами, бюстами, статуями, мемориальными стелами, скульптурными группами... Живые горожане в этих местах (возле университета, министерств, военной академии) вынуждены были перемещаться с помощью альпинистского снаряжения, лазая по изваяниям своих национальных героев — как по горам. С каждым новым поколением столица становилась для жителей все более непролазной. На памятники и постаменты гениям пришлось даже разбирать жилые и административные здания... О каменные дебри кумиров разбивалась повседневная жизнь населения. Великие люди заполнили собою все, их все трудно было обойти, а тем более объехать. Скоро живым истам негде стало жить, они принялись устраивать в больших статуях пещеры, из-за тесноты и антисанитарии начались эпидемии. Нация стояла на пороге вырождения.

И тогда один ист стал инициатором широкого национального движения по пересмотру коренных понятий истов, была объявлена эпоха Просвещения, Переоценки Ценностей, и в результате оказалось, что половина почитавшихся в государстве гениев и корифеев, особенно в области политики и гуманитарных знаний, на самом деле не являются гениями и корифеями, что они вообще не исты, а псевды. Мудрость некоторых основоположников специальным Указом была признана недействительной. Более семидесяти процентов полководцев и дипломатов были посмертно лишены званий и наград, т. к. выяснилось, что в интересах нации с разбитыми ими народами надо было дружить, а с половиной грузей и союзников — не знаться...

На другой же день эпохи Просвещения столица быстро расчистилась от скопленных памятников, стало больше пространства, чистого воздуха, посвежели и как-то миг будто распахнулись площади, металл изваяний пошел на переплавку, а гранит, мрамор — на возобновление гражданского строительства. Прекратились эпидемии, стало рождаться здоровое нормальное потомство. Но, главное, исты в первый раз вздохнули свободно...

Все внутри было — глаза закрыты — спекшееся, все спрессовалось, слиплось, и только будто где-то сбоку и выше светилась — как в темном зале театра сигнальная красная лампочка над запасным выходом — острая точка того, что в нем осознавало себя, острая, воспаленная... посреди сплошного и заполнившего все черного экрана. Эта точка вдруг стала расползаться пятном, захватывая краями все большее пространство, превратилась в большую лужу, которая дышала, которой было больно, «и эта лужа был я», мелькнуло у Паши, «я, я», потом эту лужу втянуло в какой-то огромный пакет из тонкого полиэтилена, и, когда он взял себя за бок и хотел ущипнуть, плоть не умялась, она перекаталась, отхлынула под пленкой в сторону... И тут все опять собралось, втянулось в точку, и он сразу все вспомнил: визг тормозов за затылком, потом сбоку (да, конечно, он же, наверно, поворачивал голову), миг ужаса при виде черного разраставшегося капота, страшная, всего его заполнившая боль, выдавившая его из себя, как пасту из тюбика наружу, со спины. Потом беспамятство? Нет, что-то мелькнуло, близ громадного стекла, какой-то неестественный смазанный вид кустов, видимых сверху, летящая навстречу вывеска с четко залеченными в сознании красными буквами М Я С О... Было в этом слове что-то кровавое, безжалостное: М Я — красное, жалкое бляенье обреченной на заклятие жертвы. С О — белое, холодный мрамор жертвенного стола со стоком для крови, холодный инструментарий убийства. Эта вывеска, куст, ах, да, звериный вопль Варлея, что-то еще отслоилось, отделилось, вспомнилось порознь, как если б первые тяжелые капли дождя шмякались в глубокую дорожную пыль — тяжело, отдельно, не смешиваясь с пылью, не образуя грязь. Но вскоре в голове все опять заволокло, спеклось...

Читатель мой верный (многие, я знаю, отпали в пути), приготовься, стисни зубы, скрепись сердцем — я поведу тяжелый рассказ.

Когда Паша пришел в себя и немного погодя все понял, он заплакал. По сути, нельзя даже сказать: «пришел в себя», потому что Паша был не один. И о том, что он собой представлял, правильнее было бы сказать «они» — то есть он был лицом во множественном числе, ибо Паша являл со-

бой странную причудливую особь, принявшую облик небольшой человеческой популяции. Да, подавляющее большинство людей просыпаются теми, кем они ложились. Паша же стал неким уникамом тройственного существования. В его положении сказать о себе «я» было бы чудовищным самоуменьшением или — что одно и то же — манией величия, потому что его было трое.

Первое, что увидел Паша, «придя в себя», это тяготивший его на скате плеча странный кожаный, белесого оттенка шар с какими-то двумя петельками по бокам, — при пристальном рассмотрении это оказалось лысой человеческой головой с выпирающими ушами. Совершенно голый, как кроватный набалдашник, кумпол лысой головы был вкруговую оторочен бахромой длинных седоватых волос и свисал с Пашиного плеча, как громадный эполет. Едва он оправился от потрясения, как ощутил под мышкой левой руки какое-то шевеление, затем оттуда послышалось отхаркивание, сдавленная ругань, и вслед за этим до Паши донесся какой-то неуместно-бодрый голос:

— Эй, Додик! Я Вадик. Слышь? А тебя как?

Умолчу про святотатство, надругательство над человеческой природой, даже про нарушение прав личности и конституционных гарантий. Скажу лишь одно: сделав из Паши в некотором смысле биологический конгломерат, они отняли у него все самое для него дорогое, в том числе роскошь человеческого одиночества. Да, они пересадили на его тело две головы, сославшись на то, что у них якобы не было времени и выбора.

Об обстоятельствах этого чрезвычайного происшествия в истории болезни было написано, что пациент, по свидетельству случайного очевидца, явился причиной автодорожной аварии, в результате которой совершенно лишились туловищ ехавшие в черной «Волге» ответственный работник объединения «Совимпортфильм» и его персональный шофер. Авария произошла в малолюдном месте Аминьевского шоссе, напротив магазина «Мясо», который был закрыт по случаю воскресного дня. По счастливой случайности их вскоре подобрал ехавший по другому вызову реанимационный автомобиль трансплантационного Центра имени проф. Гофмана, он застал Раскладушкина без сознания, а жертв его преступной неосмотрительности в состоянии клинической смерти. Понимая, что промедление грозит необратимыми последствиями...

— ...Мы приняли это непростое решение.

Так говорил хирург Центра трансплантации Гололобов маме Паши Раскладушкина на третий день после пересадки, когда он был еще без сознания и к нему в бокс не пускали. Мама ломала пальцы, не в силах произнести ни слова. Хирург Гололобов понимал необычность ситуации.

— Конечно, — говорил он, поправляя шапочку, которая была у него низко надвинута на лоб. — Конечно, мы, по идее, должны были спросить у пациента разрешения на трансплантацию или взять подписку у его родственников. Но, — он вздохнул и осторожно почесал длинным ногтем мизинца какую-то точку на голове, — но в тот момент это было невозможно: во-первых, ваш сын лежал без сознания и, стало быть, спрашивать было не у кого, а о его родственниках тогда мы не имели понятия. Во-вторых, мы не располагали ни минутой времени, потому что...

— Но как было можно производить эту... эту коллективизацию! — вырвалось у Пашиной мамы. Гололобов не среагировал на неприятную реплику. Он, похоже, вообще был устроен так, что через него что-то постороннее проходило, как нейтринно, то есть ни с чем не взаимодействуя, ни на чем не оставляя следа.

— ...потому что сложилась критическая ситуация, — спокойно ответил хирург. — В этой ситуации мы посчитали, что имеем на пересадку моральное право, поскольку он был виноват в грубом нарушении правил уличного движения и, собственно, из-за него «Волга» врезалась в бетонные надолбы, пытаясь увернуться и спасти жизнь вашему сыну. — Гололобов замолк, давая понять, что скажет что-то важное. — Ни в чем не повинные люди пострадали из-за вашего сына. Извините меня за столь натуралистическую подробность, но единственное, что у них уцелело после столкновения с бетонными надолбами, — это головы. И в том, что объек-

том пересадки стал виновник их гибели, я вижу акт элементарной справедливости и человечности.

Гололобов остановился, потрясенный умностью только что сказанного им, и как бы замер в легком приступе самообожания. Всклипывания Пашиной мамы вернули его из этого состояния, что было ему неприятно. Он неприязненно окинул взглядом пожилую женщину, снова почесал ногтем мизинца какую-то точку на макушке, при этом он, приоткрыв рот, опустил отвесно палец на шапочку, сделал это очень осторожно, чтобы, очевидно, не повредить линию пробора.

— Еще счастье, что мимо места катастрофы случайно проезжала наша реанимационная машина, — сказал он, — она и доставила всех в центр. Дело решали секунды.

— Боже мой, но что это за люди? — всплеснула руками Пашина мама. — Мой сын — такая нервная натура, он всегда избегал компаний... Боже, а кто они, кто эти люди, вы говорите?

— Я же сказал — они имеют какое-то отношение к кино. В общем, нормальные советские люди.

— Этого еще не хватало! — схватила за сердце мама.

Хирург оторвал взгляд от неопределенной точки где-то выше и впереди себя и тяжело, осмысленно перевел взгляд на сидевшую перед ним посетительницу, как бы плохо понимая, зачем она здесь и что ей надо.

— А? — издал он высокий странный звук, провел пальцем по усикам и поправил белую шапочку.

Когда Паша увидел у себя на плече свисающую, как эполет, лысую с бахромой голову, а потом услышал откуда-то из подмышки голос некоего Вадика, первая его мысль была: скорей проснуться. Но секунды шли, реальность никуда не исчезала. Кроме всего прочего, Пашу преследовал тяжелый, с каким-то аммиачным оттенком запахом, источник которого ему не удалось распознать.

— Что ж ты, хмырь, нарушаешь?! Я же влево рванул, стоял бы ты на месте! Понял-нет? — снова возник снизу тот неуместно-бодрый, напористый голос. — Что ты все молчишь, Додик?

— Никакой я не Додик, — сказал Паша. — Меня зовут Павел.

— Ну какой ты, в натуре, Павел? — И вдруг Вадик почти завопил: — Ой, в натуре, что это со мной, где ж мои руки-ноги? А? Ой, это же что ты наделал, Додик! А? — Он на секунду замолк, потом причмокнул и как-то странно покачал головой. — Ну, козел! Ну, козел!..

С минуту все было тихо.

— Эй, а я один? — позвал Вадик. — А шеф-то где? А? Виктор Степанович!

На скате плеча Эполет слегка заворочал шейю, сидевшей в раструбе тугой хирургической повязки, вздрогнул и вдруг неуклюже повернулся к Паше вполборота мясистым дородным лицом.

— Где мы?! Синельников! Ты что выкинул? — Голос был начальственный, низкий, про такие говорят: «из паха». — Что за номера? Синельников! Где мой портфель? Что с моей шейей?

— А что с шейей? — спросил Вадик.

— Она у меня не на месте...

— Успокойтесь, товарищ Павлинов, — произнес новый голос, это был голос санитаря трансплантационного центра, который, оказывается, сидел у дверей бокса и все слышал и видел. Виктор Степанович хотел было вскинуть голову в сторону говорившего, не получилось, он в недоумении, моргая глазами, умолк.

— Вы и ваш шофер, — продолжал санитар, — пришиты вот ему. — Он кивнул на Пашу. — Павлу Николаевичу. После аварии.

— Как... пришиты? — перебила голова Виктора Степановича. — Чье решение? Кто позволил?!

Лицо и лысина Виктора Степановича побагровели, глаза машинально остекленели, как, видимо, бывало в прошлом, в моменты, когда он тяжело отвесно клал руки на стол и угрожающе привставал. Но сейчас гнев его не нашел облегчения и выхода, ибо действие рукоположения и привставания произошло только в его голове.

День, ночь и еще полдня все трое, как один, находились в состоянии прострации. Первым пришел в соображение Паша. В палате был слышен приглушенный храп откуда-то из глубины постели. Паша приподнял левую руку, расслабив свисавшую кисть, заглянул сверху в образовавшуюся арку, увидел голову того самого «Вадика», правой рукой обхватил макушку и медленно, но с усилием стал пропихивать голову Вадика назад, туда, за спину, и, быстро убрав руку, как бы захлопнул подмышку, словно зажал градусник. Потом Паша сделал осмотр ската плеча: Эполет, похоже, тоже спал. У Паши было странное состояние духа: в нем жило удивительное, почти сказочное чувство, что все-таки чудовищная метаморфоза не есть правда, что это плод чьего-то воображения, может быть, странный выброс фантазии того самого полупьяного сочинителя, на этот раз, не исключено, и вовсе в стельку пьяного, потому что придумать весь этот бред можно только «под (большим) шофе».

Тут вошел в палату санитар с круглым женственным лицом, как у Метастазиио. Санитар сказал, что нужно померить температуру. Паша откинул одеяло, вложил градусник себе в правую подмышку. Паша был подавлен, глаза его слезились. Исподняя больничная рубашка без воротника имела у него два больших выреза: слева на внутренней стороне рукава — для головы Вадика и на скате плеча — для Виктора Степановича. Сбоку болталась на нитке дуговица с тряпичным верхом, гнутая и расплюснутая, видимо, в стиральном барабане. На подоле рубашки виднелся темный прямоугольный штампель больничной принадлежности. Той же печатью были мечены простыня, наволочка... Он бросил взгляд вниз и увидел, что и ножка кровати опоясана латунной инвентаризационной биркой. Такой же номерок был прибит к столешнице прикроватной тумбочки. Паша поймал себя на том, что хочет поискать казенный штампель на своем теле, даже ногу выпростал, но тут за дверью кто-то повернул ручку. Это был хирург Гололобов, которого он мельком видел в реанимации. Сейчас Гололобов был без шапочки, и Паше показалось, что у вошедшего человека на голове было не менее трех проборов и по меньшей мере двое усов, — столь изощренно и многообразно там что-то выгибалось, блестело искусными подбритостями под носом и в области бакенбардов, подбородка и щек. Эти двое-трое усов петляли, закручивались в вензеля, снова ползли вверх и ниспадали вниз... Гололобов представился профессором, сказал, что он «ведет» Пашу с его двумя имплантатами (которые продолжали спать). Паша глазами поблагодарил. Профессор подошел, вынул градусник, посмотрел, причмокнул, приложил тыльную сторону ладони ко лбу Виктора Степановича, потом встряхнул градусник и протянул его за спину. Там уже стоял ассистент. Они переглянулись, о чем-то пошептались и вышли, тихо прикрыв за собой дверь.

Они ушли, оставив после себя в дверях — как стояли — два фигурных столбика запаха. Он узнал этот запах мокрого асфальта и сушеной ромашки. Его не перебили даже табачная вонь и приторный смрад одеколона «Агамис». И ты, профессор! И ты ряженный соглядатай их легиона, я узнал тебя по запаху, шептал Раскладушкин. Недаром он под конец напялил шапочку до бровей, чтобы он, Паша, не прочел на пергаменте его лба надпись, выдающую эту братию с головой, — надпись принадлежности к «тотам», так Паша называл про себя людей особого склада и особого устройства ума. О, как от него несло этим! Или не только от него? Раскладушкин снова прямо сел в постели, принохиваясь и холодея от открытия: «этим» пахло и справа — от Виктора Степановича, от Эполета. Это уже был удар в спину. Это была неразлучная беда, его чуть не стошнило.

Паша перевел взгляд на дверь, где все еще бесформенно оседала на пол пахучая фигура ассистента, но ассистент не пах этим отвратительным запахом тот, он пах нормально, по-человечески; вскоре невидимый контур фигуры ассистента постепенно развеялся, а затем его вдруг с силой всосал в коридор сквозняк из дверной щели.

Под мышкой заворочалось, зевнуло, Паша со стоном приподнял руку и дал Вадика высвободиться из-за спины. Он принохался. Отлегло. Слава Богу, Вадик не пах, вернее, от его головы на йодистом фоне несло нормальным духом здорового мужика. Паша расстегнул на рубашке пуговицы,

слева, из прорези, вынул его голову, как кормящая мать грудь, и Вадик повернул к нему наверх свое улыбающееся заспанное лицо.

— Ой, слышь, эй! — услышал Раскладушкин все тот же бодрый приподнятый голос. — Почеси, прошу, около носа, чешется, в натуре, терпежу нет, левее, повыше, повыше, во-о-о, еще, еще вот так... надо же, отлежал щеку, что ль, или ты волосом меня уколол?

Паша закрыл глаза и наслаждался мускусным запахом не-тота, боясь повернуться в сторону Эполета, от того сифонило.

— А шеф не спит? Виктор Степанович, а Виктор Степанович, — громко позвал Вадик и сам себе ответил: — Спит. Ну, дает... Ядно. — Он зевнул. — Тут телевизор-то есть?

Паша промолчал на всякий случай, тем более что в палате, кроме их компании, лежал еще один больной, на кровати у самого окна.

— Я тебя, тебя спрашиваю. — Вадик, оказывается, обращался именно к тому больному. — Тут есть телевизор-то? А? У тебя что, воще... язык, что ли, тебе пересадили? — Вадик ухмыльнулся.

— Нет, у меня гипоталамус, — ответил тот, что лежал у окна.

Вадик хотел что-то сказать, но умолк, переваривая услышанное.

— Ну что ж, — послышался с плеча смягчившийся басок Эполета. — Товарищи, как говорится, по несчастью. Надо знакомиться. Вы, я уже слышал, Павел Раскладушкин. Я — Виктор Степанович, фамилия Павлинов. Тружусь на ниве закупки зарубежных фильмов. Будем, как говорится, знакомы.

— А ты? Тебя как звать? — сказал Вадик.

— Кого? Меня? — завертел головой человек у окна,

— А то кого же?

— А что? Я Корш.

— Так. А дальше?

— В каком смысле?

— Ну, как тебя звать?

— Ну, Наум Маркович. А что? — Он цокнул языком.

— Ты еврей, что ль? — дружелюбно удивился Вадик.

— А ты не слышишь? — Павлинов осклабился. — И все вопросом на вопрос отвечает, и все с этой ихней подковыркой, с подковыркой этой...

Возникла неловкая пауза. Паша потянул носом в сторону окна: там было вроде в порядке. Но от Виктора Степановича спасения не было, хоть проси у санитаря респиратор.

— А ты кто по специальности-то? — снова подал голос Вадик.

— Кто? Я? — спросил Корш.

— Да не ты, вот он. — Вадик кивнул вверх. — Мой... ха!.. шеф новый.

— Вы у меня спрашиваете? — Паша наклонил голову.

— А то у кого же? У тебя.

— Я, если угодно, младший научный сотрудник.

Вадик ерзнул шеей, но ничего не сказал. А Эполет побагровел, выбросив квант одуряюще жуткого запаха.

Тоты, тоты... С некоторых пор стал преследовать Пашу их запах, запах их специфических мозгов, сочащийся из черепов сквозь отверстия ушей, глаз и носоглотки, запах мертвечины, непроветриваемого ума. О, как несло этим от Шпицрутена! В Пашиных ушах зазвучал голос обрусевшего немца, скрипучий, въедливый.

— Скажите, — спросил Отто, вперясь в точку возле Пашиной брови, где у него был шрам. — Скажите, Раскладушкин: как объяснить эти мутации с позиций эволюции?

Паша ответил так, как было надо. Отвечая, употребил термин «аристогенез».

— Это еще что за аристокенез? — презрительно сказал Отто, он произнес термин раздельно: аристо-генез.

— Аристокенез, — легко поправил экзаменуемый. — Это термин, введенный французским мыслителем Пьером Тейяр де Шарденом, означает предпочтительное развитие интеллекта в какой-то привилегированной точке универсума, где...

— Достаточно, — оборвал Пашу Шпицрутен, и все вокруг сразу заволокло асфальтово-ромашечным запахом уязвленного, но вечно гордого собой тот.

— Виктор Степанович! — позвал из подмышки Вадик.

— Ну, чего тебе?

— А у вас ничего не болит?

— А в чем дело?

— Просто спрашиваю. А у меня — верите, нет? — будто сердце покалывает... Я все понимаю, ну, насчет сердца, оно у него, — Вадик кивнул вверх, на Пашу. — А все-таки... вот-вот, прям сейчас чувствую, как покалывает.

Павлинов долго не отвечал, потом сказал:

— Это только кажется. Те, у кого ампутруют ногу, тоже жалуются, что у них болит ступня или голень. Так бывает.

— Бывает... От этого не легче, — отозвался Вадик. Он, видимо, исчерпал тему, но, по обыкновению людей его склада, долго молчать не мог по причине того, что им бывает скучно наедине с собой, и вскоре Паша услышал по своему адресу приглашение поговорить, тем более что Эполет задремал. — Паш, а Паш! — тихо позвал Вадик.

— Да.

— А я, знаешь, кого возил вот до него, до Виктора Степановича?

— Нет, не знаю.

— Генерал-лейтенанта авиации. Фамилия здесь ни к чему. Тем более что я подписку давал. Он жил на Суворовском бульваре, во дворе, ну там, где писатель, ну Гоголь сидит, такой, в натуре, недовольный.

— Ну и что генерал?

— Ну, раз я его на маневры возил. Жду, когда воздушные бои начнутся. Ну, он-то на КП сидит, а я в гостинице, в буфете. Жду, а боев нет. Потом, представляешь, узнал, что все уже закончилось. Сейчас, Паш, обходятся без перехватчиков, ракет, без зениток. Без ничего. Верить, нет? Там мощные насосы воздух выкачивают, и самолеты сами падают. Слышишь, нет?

— Слышу.

— Может, ты мне не веришь?

— Почему, верю.

— Ну насосики, я тебе скажу, с десятиэтажный дом будут, конечно. Самолет летит и падает — воздух-то выкачан, пропеллеры-то молотят по пустоте! — Он помолчал. — Паш! Ну что ты все молчишь, с тобой неинтересно проводить время. Ты спорь, не соглашайся, ну чего ты! А ты, как этот, в натуре, чего не скажешь, ты, это, не возражаешь даже ничего, это, не...

— А, собственно, почему они падают? — неожиданно вмешался в разговор Корш. — Если там винтовые и турбовинтовые, это другое дело. Но реактивные самолеты не реагируют на пустоту. Так что вы, Вадик...

— Что, «Вадик»? — передразнил Вадик.

Корш принялся нудно объяснять, что выкачивание воздуха насосами и падение реактивных самолетов в вакуумной среде — это физический абсурд, что ракеты в космосе ходят в безвоздушном пространстве именно благодаря принципу реактивной тяги, которому не нужна опора о плотность воздуха.

— Умный, умный ты — жуть, Абраша, — сказал Вадик. — Так и склопотать можешь, в натуре.

Несколько секунд все молчали. Откуда-то сверху, с неба, как бы усиливаясь раструбом открытой фрамуги, шел мощный гул, наподобие отдаленного рева трибун. Паша увидел в левом углу окна снижавшийся самолет. Видимо, где-то не очень далеко был аэродром.

— Я думаю, что я не заслужил, чтобы меня передразнивали. — Корш, наконец, отреагировал на выпад Вадика. — И запомните, молодой человек: есть вещи, которые нельзя высмеивать или ставить человеку в вину, потому что это вне человека, потому что это от природы. — Корш сделал паузу. — Этих вещей, которые не зависят от человека, три: судьба, размер пениса и национальность.

Паша с улыбкой посмотрел на Вадика, тот хлопал глазами, переваривал и хотя не до конца еще переварил, но уже обиделся. Корш же всерь-

ез был оскорблен, он отвернулся к стене. Эполет продолжал дремать. Паша тоже почувствовал тяжесть в веках, закрыл глаза. Перед ним возник его любимый андреевский памятник Гоголю в крылатке, там, на Суворовском. Он любил проходить под аркой, ведущей во двор бывшей усадьбы графов Толстых, где умер Гоголь. Паша любил вдумчиво пронзить своей фигурой тот объем пространства, который был означен аркой из белого камня, — он испытывал странное чувство соотнесенности с Гоголем, когда-то вот так же пронзавшего фигурой этот же объем воздуха, хранивший, кажется, даже запах его спортука. Паша словно бы ощущал наклон спины Гоголя, угол некоторой запрокинутости фигуры вследствие того, что Николай Васильевич предполагал неправильное расположение своего желудка в теле.

Паша ощущал причастность к любимому человеку через геометрию пространства, которое заключала в себе старая арка и сквозь которое вот так же сто пятьдесят лет назад проходил он — нос, крылатка с зажатым под мышкой заветным портфелем... проходил, приволакивая чуть ногу, озираясь в страхе, потому что в толпе на Арбате только что видел черта, принявшего обличие востроглазого, геморроидального вида чиновника с выслеживающей полуулыбкой... Бедный, трогательный Гоголь! Над ним Паша пролил в юности да и позже немало слез, слез чистейших и необязательно сострадательных по поводу героев, а тех особых прекрасных, горячих, благодарных, бескорыстных художественных слез, которые исторгает из души красота написанного, что бывает редко и не может быть расхожим и что у Гоголя иногда имеет вид заплетающегося божественного косноязычия.

Паша открыл глаза. Сколько времени прошло? Он спал или просто пригрезилось? Паша был во власти синдрома, который нередко проявлял себя и в прошлой его жизни, — он выражался в странных смещениях чувства времени. Вынимает из почтового ящика свежую газету, а она кажется ему старой, ломко-желтой, как из архивной подшивки. Или смотрит иной раз в окно, а там люди снуют быстро-быстро, как на кинолентах начала века, и, похоже, так же быстро они думают, чувствуют, страдают... Бред! Откуда это у него? Однажды в старинной книге он прочел про существование Большого Времени, которое неподвижно, неделимое, через которое все проходит, где все совершается, но которое само стоит невозмутимо.

Это Большое Время, додумывал Паша, оно тот самый Вечный Миг, про который написано в Библии. А дни и часы его жизни — совсем другое. Маленькое время рождается вместе с человеком и вместе с ним умирает, впадая в то, Большое Время, после чего...

— Послушайте, Павел Николаевич, — расслышал Паша четкий бас Виктора Степановича, — вы меня извините, конечно, но вы задерживаете дыхание, а у меня сразу голова заболела, я еще раньше заметил.

— Что? — Паша трудно выходил из своего Большого Времени.

— Вы, говорю, дыхание задерживаете иногда, — повторил Эполет. — Не нарочно, конечно, а это вызывает у меня спазмы сосудов в голове. Вы не могли бы продышаться поглубже, чтобы напитать ткань, а то... я еще утром заметил.

— Что я должен сделать? Вот так? — Паша глубоко, ритмично стал дышать носом.

Виктор Степанович закатил глаза, словно бы прислушивался к звукам Пашиного дыхания, и ждал, когда его сосуды получат нужную дозу кислорода, потом сказал, что ему лучше. Паша перешел на нормальное дыхание. Ему хотелось совершить дерзость. Ему хотелось плакать. У него был вид человека, который зарекся. Он бросил взгляд на острый кумпол лысой головы своего подселенца, на коричнево-розовые разводы плечи, отороченной длинными, с проседью, волосами не без налета «режиссерской франтоватости». Паша мысленно надел на эту голову военную фуражку и не увидел ту самую «шишечку», «ахиллесову пяточку» беззащитности и уязвимости.

— Вам лучше? — переспросил Паша.

— Хватит. — Это возник Вадик. — Дышит, дышит, а у меня щека, всю щеку натерло.

— Это у меня натерло, Вадик, — дружелюбно сказал Паша. — У вас щетина, я и так терплю, мне, знаете, как щекотно. — Он сжался и захихикал. — Ой, знаете, как я щекотки боюсь!..

— Паш, что ты всё «знаете» да «знаете»? Я так не люблю. Мы здесь все свои, давай на «ты». А то я чувствую себя, в натуре, не очень.

— Надо поговорить с санитаром, — перебил его Виктор Степанович. — Синельников, это не дело, щетиной раздражать человека. Мы должны думать о его здоровье и настроении, ты меня понял, Синельников? При стрессах у него выделяется в кровь адреналин. От этого всем нам не сладко.

— Ежу понятно, — примиренчески отозвался Вадик и зевнул.

«А они меня держат за кормилицу», — мелькнуло не без злости у Паши.

— Эх, сейчас бы семечек полузгать, — сказал Вадик. — Люблю я семечки, ничего с собой не могу поделывать, падло, — счел он нужным уточнить, как бы извиняясь перед Пашей за престолярное пристрастие.

Паша даже хмыкнул про себя. Знал бы Вадик, что была у Паши со студенческих лет игра, забава из серии «Ното Ludens», что с латыни означает: «человек играющий». У него этих забав целый набор, но больше всего он любил играть в «СегОдня мы воЛогОдские», где этим самым семечкам отводится очень большая роль. С утра Паша закупал на рынке кулек жареных семечек, чтобы весь день, гуляя, лузгать, причем лузгать умеючи, то есть: едва качнув правой рукой на уровне груди, виртуозно забрасывать семечко в рот, затем с заведенными глазами проделывать с ним некие скрытые манипуляции по перекладке удобной гранью на зуб, затем, слегка прищурившись, щелкать его и, быстро, как мышшь, поработав зубами, выплевывать шелуху с видом тупой, бесстрастной сосредоточенности. Ну, кроме того, весь день надо было окать, на перекрестках провинциально пугаться машин, тарачиться на высокие дома и памятники. Но особая трудность состояла в том, чтобы, лузгая семечки, совмещать на лице выражение тупости с выражением напряженной, ужасно «умной» вдумчивости — а в этом был весь фокус! Идет, бывало, Паша по улице, щелкая свои семечки, у перекрестка возьмет да изобразит провинциальную пугливость. Тут тоже есть свои актерские секреты и трудные места. «ВОлОгОдский» — он ведь какой? Он одуревший от Москвы, от ВДНХ, идет, всего боясь, себя стесняясь, чувствуя себя фитюлькой. Паша что делает? Он на перекрестке видит стоящую перед светофором «Волгу» и норовит вроде второпях прошмыгнуть перед ней, потом со смехотворно-преувеличенным испугом провинциала, мелко моргая, рот от глупой натури приоткрыв, осекает себя недалеко от капота, семенит ногами на месте, переминается (мол, видишь, — мешкаю, оторопь взяла меня при виде твоего величия и блеска). Здесь Паша обычно надавал лицу дурацкой скособоченности деревенского вахлака, не видевшего современных марок машин и смотрящего на шофера как на небожителя, на астронавта, а тот, за рулем, видя такую оторопь и уважение — о, вождельный миг торжества Пашиного лицедейства! — и вправду морду омраморит, снисходительно на него взирает, на сошку пришлую, пугливую, глупую...

Первое кормление прошло не без эксцессов, эксцессы были главным образом методологического порядка. Тучный, с женственным лицом санитар принес поднос с судками. Отдельно подал Коршу на тумбочку, потом уселся перед кроватью Раскладушкина на стул и вылил из судка в тарелку суп. Пододвинул прибор — одну ложку, одну вилку.

— А почему одна ложка? — спросил из прорези Пашиной рубашки Вадик.

— А что такое?

— Почему, хмырь жирный, одна ложка-то?! — напористо, в бойком недоумении вытянулся из прорези Вадик. — И вилка, смотри, одна. Ну, козлы! Ну, козлы!

— Слушайте, вы тут свои блатные выражения бросьте, — простецки сказал Метастазо, обнаружив полный диссонанс между своим натуральным «я» и внешностью великого деятеля раннего итальянского Возрождения. — Мне сказали — я принес. Я не вдаюсь.

— Но почему одна ложка, а нас посмотри сколько?! — наседал Вадик.

— Ну и что? — Санитар оглядел всех троих и едва не прыснул от смеха. Зрелище, конечно, было не для слабонервных. Грустная физионо-

мья Паши по центру — это еще куда ни шло. Но две другие головы по обе стороны Пашиной смотрелись бредовым, чудовищным триумвиратом...

— Вы меня, конечно, извините, — сказал санитар, — а зачем вам три порции? Едок один, вон он, посередке.

— Дайте ему. Покормите его, — сказал Паша и кивнул вправо от санитаря.

— Понял, — сказал санитар. Он вышел из палаты.

— Ну, не сукадро? — взвился Вадик. — Я от голода чуть не дохну, а он одну ложку! — Он потянул носом в сторону тарелки. — Фу, баланда какая-то...

Вернулся санитар, держа в руке, как букет, — трезубцами и плоскими вверх — тугой пучок вилок и ложек. Уселся на стул, зачерпнул из тарелки ложкой и молча поднес ее ко рту Вадика. Обида Вадика еще не прошла, он не разжимал губы. Санитар легонько коснулся окончностью ложки плотно сжатой межгубной щелочки, тихонько повертел туда-сюда, потыкал ею, пытаясь проникнуть вглубь, наконец Вадик уступил, разжал губы и дал влить в себя суп.

— Ну как? — спросил Виктор Степанович.

— Тише ты! — сказал Вадик санитару. — Вытри, видишь, пролилось.

Санитар уголком халата вытер Вадика подбородок. Взял другую ложку, поднес Эполету. Тот проглотил, мелкими причмокиваниями катал остатки супа во рту, распробовал его вкусовые качества.

— А что на второе? — спросил Павлинов, сморщив лицо.

— Гуляш, — сказал санитар.

— С подливкой?

— Да, с подливкой, конечно.

— Представляете, Павел Николаевич, — сказал Эполет, — больничный гуляш да еще с подливкой?

Паша отмолчался. Он, впрочем, прихлебывал из тарелки. Сам.

— Ничего, — продолжал Эполет, немного задетый тем, что Паша не ответил на его жест, на его готовность протянуть ему, так сказать, руку общения. — Ничего, Синельников, я поставлю вопрос насчет гуляша и...

— Да ну! — перебил Вадик. — Я, Виктор Степанович, гуляши и прочее не очень люблю, меня от них воротит. Я ведь до вас генерала одного возил, я вам говорил, у нас там на территории был дивизионный мясокомбинат, бойня и все такое. Я внутри, конечно, не был, но вообще нагледелся — не-ет, не могу на эти гуляши смотреть. Эти бычки в загонах, они чувствуют, стоят по колено в жижке в загонах этих, залезают на спины друг дружке, от страха дуреют и воце — они ж молодые, коров-то даже не пробовали, их отдельно от них держат... Хоть бы перед смертью допустили.

— Это нельзя, привесы сразу снизятся, — сказал Эполет.

— Ну и что?! — воскликнул Вадик. — Эх! Сволочи мы все же, люди. Козлы! Падлы! Они ж все ж живые существа...

— Я с вами, товарищ, согласен, — сказал очень вежливо Корш, — я принципиально не употребляю мяса, вы меня поняли? Я вегетарианец.

Вадик не отреагировал, он не забыл, как схватился с Коршем из-за выкачанного воздуха и падающих самолетов. Слушая почти пародийный акцент Корша, понимая его рассудительную, провинциально-положительную натуру (Паша не сомневался, что Корш из какой-нибудь Винницы, хотя тот был москвич), Паша вспомнил свою игру «в Изю», давно он в него не играл, в отличие от «СегОдня мы вОлОгОдские». Глядя на художого серьезного Корша, Паша вообразил себя пожилым грустным евреем из захолустья, с мокрым носом, выредевшими пейзами и чуть слезящимися глазами навикате. Высказывания Изи обычно кружили близ запретных зон, где обычно блуждает неуемный иудейский ум, балансирующий на грани, и Паша, для того чтобы полнее войти в образ, разогревал себя иногда маленькой разминкой ауотренинга: сцуривал немного глаза, мня себе усохшее маленькое лицо и лысину, мокрыл чуточку нос, сообщал глазам выражение влажноватой неизбывной тоски, представляя себя в будке переговорного пункта, откуда он позвонил в свой Бердичев или Винницу любимой тете Циле и многословно и издалека справлялся о ее драгоценном здоровье. Но, конечно, коньком этого персонажа было изобразить смешную интонацию речи, дать понять, что страстью Изи является зуд произвести где-нибудь коммерческий шахер-махер и в споре с кем бы то ни было одер-

жать маленький умственный верх. Что же касается акцента, то этим Паша владел, как талантливый профессиональный актер или, собственно говоря, как самый заурядный еврей, просто верный своей натуре. Он настроился и тихонечко запел, придав глазам немного характерной игривости и картавя:

Однажды Залпман прыгласил
Траам, тира-тира-ти-и-ра... Эх!
Самых лучших местных сил
Трам, тира-тира-тира. У
Миши Рабиновича голос, как у Собинова,
Трам-тира, тира, ти-и-ра.
Ну! это же не голос, а что-нибудь особенное
Трам, тира-тира-тира...

Паша артистично коверкал «р», искусно протягивал некоторые типичные интонации и, проделывая это, поймал справа, с плеча, изумленный, азартно засветившийся (он его даже очень молодил) взгляд Павлинова. Это был взгляд человека, который застиг, выследил, учуял. Он, взгляд, как бы с ноткой самокритичности говорил: «Как же это я сразу-то не усек, а? Как я с первого раза-то не почувствовал этого айда? (Тут во взгляде Эполета появилась строгость.) Ох, старый боец, ты теряешь форму! Нет тебе прощенья! Раньше ты иудея-то чуял за версту!»

— Додя, — сказал громко с большим акцентом Паша, сказал, ни к кому конкретно не обращаясь, хотя почему-то все метнули взгляды к Павлинову. — Додя, — повторил Паша, — ты дал супу соль?

— Что-о? — Павлинов побледнел.

— Ты дал супу соль, гнида? — взвизгнул Паша, и уже ничто не могло его остановить. — Нет? А что скажет тетя Циля? Я ж не туда имел интерес. Что?! Ты слышишь, он говорит, что ему тут устроили Освенцим для арийцев. А?! Ты меня поняла? Что? Что вы такое говорите? Русский? Здесь? Дать ему провод? Нет, я вас умоляю!..

Павлинов онемел. Вот тебе и Ушкин-Пушкин-Раскладушкин! Павлинов дернулся головой к стене, сколько позволяла тугая хирургическая повязка, и лбом нажал на кнопку вызова медсестры. А про себя пробормотал, как пьяный: «Ой, это что же, у нас же общая — его — система кровотока обращения и, значит... — Он поперхнулся. — Ну, Павлинов, поздравляю (будь у Эполета руки, он бы их сейчас развел театрально), докатился ты до ручки, Виктор Степанович!.. Ха! Попал, попал ты в шайку-лейку, Виктор Степанович!»

И не успел он закончить свою подпольную тираду, как Паша, пригладив ему бахрому волос на скатах лысины, принявшей цвет остывающего металла, сказал, строго глядя в закосившие от испуга глаза своего подселенца:

— Ибрагим усё выдит, Ибрагим усё понимает, он бритва точит, везде волосы бреит, потому что Ибрагим чистота любит.

Паша мог бы продолжить монолог своего персонажа-инородца, брившего многие места тела по законам мусульманской гигиены, но тут опять такое пошло от Эполета амбре, что Паша замолк. Он сглотнул ком, зажал пальцами нос и задержал дыхание.

— Кто вызывал? Вы? — спросила Раскладушкина вошедшая медсестра. Она была очень милая, от нее струился запах свежего незрелого стручка.

— Это я, — сказал из плечевой прорези Павлинов голосом человека, близкого к главному врачу. — Мне профессора.

— Он на обходе. Что у вас?

— Мне профессора. Я с ним лично буду говорить.

— Хорошо, а от меня ничего нё надо?

— Нет.

— Ну почему?.. — Это подал голос Вадик. Он как бы приосанился Пашиным телом, то есть кольнул его щеглиной, отчего тот слегка выпрямился в кровати. Похоже, Вадик готов был флиртовать. Павлинов изображал нордическую холодность на своем широком славянском лице. Пашу никогда особенно не трогали обтянутые формы, он знал за собой этот изъян — некоторую половую индифферентность. Но, чтобы проявить с Ва-

диком мужскую солидарность, он тоже принялся изображать заинтересованность, т. е. грубо улыбнулся сквозь некую непреклонность и свирепость (как он понимал мужское начало). Когда Паша проделывал это со своим лицом, он становился похожим на грозный герб маленького немогущего государства. Впрочем, Марина этого даже не заметила, потому что смотрела в упор на острившего Вадика.

— Всё, больной? — осадила его Марина и вышла из палаты.

И вместе с ней рассеялось, улетучилось облачко легкого изумительного запаха свежести. Как хотел Паша, чтобы они подольше не отпускали Марину! Он будто видел, как тяжелый запах Павлинова, даже по цвету тяжелый, вытесняет истаявший Маринин контур, ломает его, заполняет собою бесформенный воздух... Опять, опять! Он бросил взгляд на лысину Павлинова, он в течение целого дня невольно видел ее в необычной близости и в необычном ракурсе — не со лба, а сверху, с нелепой, беззащитной жалкой стороны, и он поймал себя на том, что плешь подселенца меняет цвет в зависимости от освещения, от умонастроения Павлинова, и сейчас она была какая-то местами бугристая, в капиллярных сгустках вокруг бугров и подтеков, с траншейками, словно какие-то жучки-древоточцы проделали на коже свои ходы, и вообще было в этой плещи что-то неприятное, то, что ощущал он порой по адресу троллейбусных конусообразных лысин. Паша смотрел на плешь Павлинова тихим обреченным взором, и ему хотелось взять шариковую ручку и, выбрав на голове подселенца спокойное, невзбаламученное пергаментное место, написать на нем печатными буквами: «Посторонним вход воспрещен...»

После завтрака Павлинов и Паша немного повздорили (речь зашла о порочной системе закупки иностранных фильмов), Корш взял сторону Паши, Вадик не участвовал почти, он еще до спора попросил расстелить перед ним на подушке (чтоб под углом был) разворот «Советского спорта» и молча читал, время от времени изрекая свои прибаутки. Как не хватало ему рук! Потом и Павлинов попросил у санитарки последний номер «Советского экрана», и она приладила журнал стоймя на тумбочке, чтобы тот мог читать без помощи посторонних, — это оказалось настолько заразительно, что Паша, и не думавший о чтении (спор очень его взволновал и, так сказать, опустошил), попросил Марину и ему принести что-нибудь. Она принесла «Советскую культуру». Паша раскрыл ее на предпоследней странице и погрузился в чтение. «Ну суки, ну козлы», — бормотал время от времени Вадик. Эполет читал молча, причем мрачно, недовольно, а на его лысине то здесь, то там всплывали багровые, как кровоподтеки, пятна. Один раз он прошипел вполне различимо: «У, все же выпустили его, это же фильм с прожидью, с прожидью!» Паша читал, сложив губы трубочкой, причмокивая, шурша переворачиваемыми страницами, постепенно увлекаясь... Когда Марина зашла с таблетками, она просто остолбенела. Это и вправду было стоящее зрелище: все трое, каждый на свой лад, были погружены в чтение, и Паша, и Эполет на его плече, и тот, который свисал из прорези под мышкой, — и это выглядело ошеломляющей иллюстрацией к знаменитому тезису о самой читающей стране в мире. Это было триумфально.

— Переверните, Павел, пожалуйста, страницу. — Павлинов снова протягивал, так сказать, руку, он немного сожалел о том, что в споре допустил грубоватые выпады против своего реципиента. И Паша перевернул, ладонью пригладил топорщившийся разворот. — Дальше, это не надо.

Паша молча, медленно, тяжело листал страницы, пока Павлинов не остановил: «Здесь. Спасибо».

Корш не читал, но был в курсе всех событий, так как имел маленький транзисторный приемничек. Он и сейчас включил его, по «Маяку» передавали песни советских композиторов.

— Ну козлы! — вдруг взорвался Вадик и так дернулся шеей, что едва швы не разошлись. — Ну козлы вонючие! Опять Федю Черенкова в сборную не взяли, а? Это же мафия. Мафия! Взять бы всех — и к стенке! — Вадик умолк, но злость не всю выпустил, это чувствовал даже Паша, у него иногда кончики пальцев как бы покалывало, наверное, какие-

то слабые нервные импульсы от мозга Вадика все-таки достигали мышц на руках Паши, так что ему хотелось пустить их в ход.

Марина обвела палату смешливым взором и закрыла дверь, Вадик попросил Пашу чуть нагнуться или, наоборот, отпрыгнуть немного назад, чтобы наклон корпуса был оптимальным для удобства чтения. Трудно было поверить, что всего полчаса назад присутствующие схлестнулись в непримиримом идейно-эстетическом споре.

А спор начался с того, что Паша предъявил претензии ведомству Павлинова: оно, дескать, не закупает фильмы великих режиссеров.

— Это кого же? — высокомерно поинтересовался Эполет.

— Ну, например, Пазолини. Или Бертолуччи. Вы видели?

— Разумеется.

— А я нет. «Разумеется». А почему, спрашивается?

— Да этот ваш Пазолини — он эротоман, он... это мазохистское смакование жестокостей... это...

— Дайте мне посмотреть, — перебил Паша, — и я от него отвернусь. Но дайте мне самому решить, отвернусь я или не отвернусь!!!

Павлинов молчал, его набалдашник наливался кровью. Тогда Паша повернул голову к окну, в сторону Корша.

— Почему он, «разумеется», видел, а я, «разумеется», нет?

Вадик щекотнул его щетинкой и подмигнул ему, потом показал глазами, чтоб он расправил сморщившуюся от его ерзанья газету. Паша разгладил и продолжал:

— Почему, черт возьми! Я, помню, три дня не спал, когда в Доме журналистов показали «Гибель богов».

— Висконти, — сказал Эполет.

— Да, Висконти. Боже мой! Этот Гельмут Бергер, тот, что играет эсэсовца, — что за актер! Как он передает внутреннюю маету, как не находит себе места... О, этот юноша-пума, безумно красивый, холодный, беспощадный... — Паша тяжело задышал.

Павлинов скосил глаза вверх и вбок, чтобы увидеть лицо Раскладушкина. Он уже знал, с кем имеет дело, он навидался этих «чайников» у себя в офисе, среди посетителей было немало кликуш и невротиков, и он знал, что с ними не надо спорить, а надо п е р е ж и д а т ь с отсутствующим и ясно-тяжелым взглядом.

Вдруг Паша с холодными глазами сказал Павлинову:

— Как я не терплю таких, как вы, самодовольных невежд! Из-за таких, как вы, нас нигде не любят в мире. Знайте это!

Павлинов прищурился, сделав из глаз смотровую щель, потом глаза его расширились, словно бы он приравнивал свое зрение к возросшему масштабу опасного собеседника.

— А вы, я смотрю, человек любопытный, — сказал он наконец таким верещащим голосом, — о-ч-чень любопытный.

— Все мы по-своему любопытные, — отозвался Корш.

Виктор Степанович демонстративно отвернулся от окна, насколько позволяла повязка. Он нажал лбом на звонок, пришла Марина.

— Прислоните мне, пожалуйста, к носу платок, — сказал Павлинов. — Он тут, в пакете. Мне надо высморкаться.

Марина прислонила, он сделал, что надо, прочистил воздухом освободившиеся ноздревые пути. Павлинов поблагодарил, Марина вышла, пристально оглядев нахохлившуюся компанию.

— Если хотите знать, — произнес Павлинов, — мне стыдно, что волею обстоятельств я вынужден пользоваться услугами, так сказать, вашего организма. Поверьте, это был не мой выбор, это не я решал. — Он понизил голос. — Меня, Раскладушкин, честно говоря, просто поражает, как при таких диаметрально противоположных, несовместимых взглядах не произошло мое отторжение от вас... Гололобов, наверное, и вправду виртуоз...

— Не думайте, что и ваше общество доставляет мне большое удовольствие, — устало сказал Паша. — Вот возьму сейчас и задержу дыхание — будете знать.

— Синельников! — позвал Павлинов. — Нас, — он вдруг построжел голосом и как бы весь вздыбился, — нас, Синельников, посадили к самому настоящему антисоветчику, что чистейшая провокация. Он ведет при

мне гнусные разговоры, у меня есть свидетели, и за такие вещи человек должен отвечать.

Павлинов тяжело дышал, налился багровостью.

— Паш, — позвал Вадик потеплевшим голосом.

— Чего вам?

— Паш, ты испугался, что ль? — Он сильно дунул, и газета «Советский спорт» упала на пол. — Паш, слышишь? Не бойся, в натуре. Тоже, напугал! Что он тебя, посадит, что ль? Так ему с тобой сидеть, чудак, он сам себя-то не посадит? Понял — нет? Да и я, воще, срок тоже не хочу тянуть, мне с Клавкой еще выяснить отношения надо. Да и воще... Хватит мне, я и так пять лет судимость снимал...

— Ну и язык у тебя, Синельников. Ну и язык, — покачал головой Павлинов.

— А чего сейчас-то темнить, все в прошлом, все отмыто. — Он поднял глаза наверх. — А что ты на стенку лез, Паш, ну, насчет кино, то это ерунда, полная чушь. В натуре.

— Что в натуре?.. — не понял Паша.

— Фильмы эти — муть, говорю.

— Какая муть? Ты о чем?

— Фильмы — муть, ну этого Пизолини, — сказал Вадик. — Мура! Мы ж вместе смотрели, Виктор Степанович!

— Я думаю, Синельников, тебе лучше помолчать.

— Подумаешь! — оборвал Вадик. — Я подписку не давал. Тоже мне военные тайны. А фильм, говорю, мура. И Зинка из бара тоже сказала «мура». Вот с этим, с Фернарделем, французские, — это да, это вещь.

Паша вспомнил «Бородино», Аню и чуть не заплакал.

— А мне... а я! — вскрикнул Паша. — Мне плевать, что сказали о фильмах вы, Зинка, Лев Толстой и кто бы то ни было!

— Опять? Нарочно, да? — задыхаясь, прохрипел Виктор Степанович. — Дышите ровнее, глубже. У меня совсем нарушился обмен моих веществ. Сделайте несколько глубоких вдохов.

Паша успокоился, подышал.

— Не хватает еще кровоизлияния, — пробормотал Павлинов, почувствовав облегчение.

Перед обедом открылась дверь и вошел профессор Гололобов с ассистентом. Гололобов был без шапочки, обнародовав свои пять проборов. Трое усов тоже были на месте. О нем Паша подумал: «Он был то, что можно было назвать редко произносимым теперь словом — «ломака». Гололобов просверливал пространство резкими звуками — у него была привычка резко втягивать воздух сквозь нижние зубы, как бы прочищать их струей. Палата потихоньку стала наполняться его запахом. Гололобов кивнул всем, но подошел персонально... как это сказать?.. к тому, что сидело на плече Паши, то есть, короче говоря, к голове Павлинова.

— Поздравляю, все тесты и взятые пробы показали положительный результат, — сказал он вполголоса, чуть нагнувшись. — Все хорошо. Удалось вполне удовлетворительно преодолеть барьер тканевой несовместимости. Гистология превосходная.

Профессор нагнулся еще ниже:

— Насчет реципиента... там все в порядке, никаких противопоказаний... все иммунные реакции подавлены. И с интересовавшим вас вопросом все в порядке — это был самоговор.

Павлинову сделалось неприятно, что хирург при посторонних обнаружил его интерес к Пашиной родословной. Возникла неловкая пауза.

— Я пришел вам сказать, — нашелся профессор, — что я разрешил вашей жене навестить вас.

Павлинов кивнул.

— И ваша мама рвется, — сказал профессор Паше. — Посещения у нас завтра, после обхода.

— Ну пусть завтра зайдет, передайте, — сказал Павлинов. — И вот еще что. Непорядок получается с едой. Ему дают одну порцию. — Он кивнул на Пашу. — Взвесьте этот вопрос. Все-таки нас в некотором смысле трое.

— Да, но желудок один, — заметил ассистент.

— А ртов-то три! — сказал Вадик.

— ...и стул один, — как-то задумчиво и недоуменно протянул ассистент.

Гололобов бросил в сторону ассистента приструнивающий взгляд.

— Хорошо, Виктор Степанович, — сказал он, — мы подумаем и решим, полагаю, положительно.

— Было бы хорошо, — сказал Павлинов. — А то получается, что мы, паразитируем на нем, что ли. — От мотнул головой вбок и вверх. — Вроде как обедаем его... Нехорошо.

— Я сказал: решим. Это не проблема. — Гололобов приблизил к нему лицо. — А как ваше общее самочувствие? Тонус?

— Сами видите, какой уж тут тонус.

— Н-да, а ну-ка покажите язык, скажите «а».

— А-а-а-а... — сдавленным голосом пропел Павлинов, вывалив свой канареечного цвета язык в налете дупырчатых ядовито-сизых, оранжево-ворсистых, как спинка гусеницы, прожилок и разводов.

— Достаточно, — сказал Гололобов. Он обратился к ассистенту платыни, тот что-то записал в блокнотик.

Павлинов закрыл рот. Он бросил на ассистента заискивающий взгляд. Вадик слотнул ком в горле, готовился к словам, знакомым с детства, но Гололобов почему-то не просил его открыть рот и сказать «а-а», а лишь нажал пальцами на оба нижних века, оттопырив слизистую, и этим ограничился, и даже ничего по-латыни не сказал, и ассистент ничего в блокнотик не записал, что Вадика, честно говоря, обидело. У Паши Гололобов вообще ничего не смотрел, только близко придвинул лицо и глупо в глаза заглянул, отдав своим запашком, сказал «молодцом» (при этом он, забывшись, едва не похлопал его по плечу, занятому Эполетом), смутился, с причмоком втянул воздух сквозь нижние зубы и перешел к кровати Наума Марковича Корша.

После обеда по распорядку был мертвый час, и Паше приснился сон, который однажды уже ему снился (с маленькими разносчитениями) в его прошлой нормальной жизни, сон странный, тягучий, от таких обычно просыпаются с облегчением... В больничной палате, среди подселенцев наполнили на Пашу видения недавнего сна — как кусочки земли, открывающиеся через разрывы низких рваных туч... Опять они лежали на каменном полу какого-то огромного, в блеске и треске свечей гулкого храма, заполненного группами людей, как можно было догадаться, родственников и близких тех, кто был на полу, сотен, а может, тысяч покойников, которые лежали в каком-то неуловимом сразу порядке, меж которых пролагались проходы и вились дорожки для бесчисленных посетителей. Паша тоже двигался куда-то к центру храма, проходя мимо лежащих покойников иногда в метре от них или даже меньше, а иногда перешагивал через них, и тогда он взглядом извинялся перед родственниками и близкими, обряжавшими своих умерших, хлопотавшими возле них. Чем дальше углублялся Паша к центру храма, похожего на зал ожидания вокзала, тем чаще замечал, что не все покойники неподвижны, а многие как-то ватно, слепо ворочаются, слятся приоткрыть отяжеленные пятками веки, иногда наугад сучат руками в воздухе как бы замедленно, точно чем-то обессиленные, одурманенные. Паша легко увертывался от них, переживал опасный момент, перешагивал, а те подслеповато, вяло водили руками, счастливо промахивались и снова ватно, шаряще, недобольно ворочались. Один вроде случайно схватил Пашу, Паша вырвал руку, отбежал, спасаясь, в боковую нишу, а там лестница, он спустился в подвал, где на каменных скамейках при двух угасающих свечах (сумрак был не такой, когда светает, а когда вечереет) лежали в разных позах неподвижные люди, все были накрыты белыми простынями. В глубине сидела старая женщина под лампадкой. Вдруг вскочил со скамейки один, отбросил простыню, это обнаженный юноша, подбежал к той старухе, к дежурной: «Дайте, дайте сигарету, не могу, хоть одну затяжку!», а она подвела его обратно к скамье, уложила, укрыла простыней, говоря: «Успокойся, сынок, здесь не курят, это скоро пройдет...» А еще через секунду откинула простыню женщина, молодая, вскинулась, подбежала к сиделке: «В туалет, в туалет скорее, пустите!», а она опять: «Успокойся, это кажется, это уже не нужно, это пройдет... Ровный гул

сменяется потрескиванием, догорают оплывшие свечи, последние лепестки пламени тонут в расплавленном воске, трепеща, с отчаяньем напо следок вспыхивая.

...В палате началась предвечерняя возня, дали градусники, вынесли утку у Корша. Паша осторожно повернулся со спины на бок, поудобнее улегся, чтобы не защемить своих подселенцев. На полдник принесли уже две порции (Гололобов не забыл), санитар поил из ложки чаем Вадика и Павлинова, закапал Пашину рубашку. Паша посмотрел на длинные некрасивые, бездарные пятна у прорези и вспомнил свои собственные слова: «Можно замечательно НЕ выйти». На глазах у него выступили слезы. Он потер рукой пятно под повязкой Вадика. Странно, он ни секунды не думал о своем будущем, но знал, чем все кончится. Так бывает. Ни секунды не думал, но все знал наперед. Вадик зевнул и попросил застегнуть пуговицы на прорези, чтоб ему свет не мешал. Виктор Степанович тоже зевнул, но манерно: мол, ну и скука в вашем обществе. Впрочем, и он вскоре захрапел.

— Павел Николаевич, — услышал Паша голос Корша. Тот говорил странным полусшепотом. — Вы не спите?

Паша заметил, что они, разговаривая, иногда понижали голос до какого-то весьма громкого шепота. Громкость вроде бы обесмысливала шепот, то есть попытку держать сообщаемое в тайне, — они секретничали, можно сказать, во всеулышание. Просто чудо, что их шепот не разбудил Пашиных приживалов.

— Нет, не сплю, Наум Маркович, — сказал Раскладушкин. — Извините, но меня удивила ваша фраза утром, что вам пересадили гипоталамус. Это серьезно?

— О, очень серьезно, если б вы только знали, молодой человек, — гугниво, в нос, затынул Корш свою лесню.

— Извините, но я не совсем представляю... — сказал Паша. — Это несчастный случай?

— Представьте, самая банальная уголовщина, — произнес он вдруг без всякого акцента хорошим московским говорком. — Рассказать?

— Ну, расскажите... — Паша был слегка озадачен.

— Женат я, собственно говоря, второй раз, — приглушенно сказал Корш. — Впрочем, чего тут рассказывать?.. Короче говоря, вторая жена хотела меня коннуть, чтобы со своим любовником завладеть моей коллекцией уникальных кристаллов. Так вот, этот любовник снес мне половину черепа бронзовым сдвоенным бюстом Джоуля-Ленца, который стоял у меня на письменном столе.

— Как, так и снес?

— Да, подошел сзади и трахнул. Жены дома не было, она ему с улицы позвонила, что я один, и дала ключ. Это все на следствии выяснилось, ко мне тут до вас следователь приходил.

Корш замолчал.

— Ну и... — как бы подтолкнул его Паша.

— Вот тебе и ну и... — Наум Маркович говорил по-прежнему без акцента. — Меня доставили сюда с половиной черепа, а тут как раз умер какой-то бродяга, бомж, без паспорта, без местожительства, умер от цирроза печени, ну и...

Он опять умолк. Паша набрался терпения.

— И вот, — продолжал Корш, — Гололобов извлек нужные части из головы покойного и имплантировал их мне. Он потом мне сказал, что это мое еврейское счастье, что этот бомж умер вовремя — ни минутой раньше, ни минутой позже. Да-а-а...

— Какая невероятная история! — заметил грустно Паша.

— Ну, положим, здесь, в клинике имени профессора Гофмана, других не бывает, — усмехнулся Корш.

Помолчали.

— Какой я идиот! — снова с акцентом сказал Корш. — Я-таки думал, что моя первая жена мало любила меня, и я отдал себя той страшной женщине, которая... Ну, я уже говорил. А, какой я идиот, что поверил ее любви!

— Простите, ваша специальность? — перебил Паша.

— Я преподаватель физики в техникуме.

— Прекрасно. Значит, вам показалось, что вторая жена любит вас больше первой. Так вот, вы поступили совершенно наоборот, странный вы человек, — с увлечением произнес Раскладушкин. — Понимаете, вы сравниваете своих жен так, будто для двух человек может быть единая точка отсчета. Но это же совершенно другая система координат! Надо разных женщин сравнивать по тому, каков максимум самоотдачи той и другой, максимум способности любить самоотверженно.

Наум Маркович даже приподнялся в своей постели, его забинтованная голова выдвинулась на фоне размытого в сумерках дворового пейзажа.

— Поясняю свою мысль, — снова с увлечением заговорил девственник Паша. — Предположим, если б была сравнимая величина способности любить той и другой претендентки на ваше сердце...

Корш крикнул, а Паша продолжал:

— ...и это можно было бы измерить в единой достоверной единице... ну, условно говоря, единице любви.

— Вы это серьезно? — спросил Корш.

— Совершенно серьезно, — сказал Паша, недовольный тем, что ему мешают. — Как есть в вашей физике единица силы тока «один ампер» или напряжения «один вольт», так для любовного чувства можно было бы ввести единицу силы... предположим... «один ромео».

— Один ромео? — Корш, кажется, понял, с кем имеет дело, и восхищенно улыбнулся. — Один ромео? Молодой человек, но это же просто восхитительно!

— Подождите, я не закончил, — сказал Паша. — Так вот, милейший, имея эту единицу измерения, вы могли бы понять, что ваша первая жена любила вас больше, чем вторая, хотя поначалу вторая казалась более любящей. У вашей второй жены способность любить, максимум ее, измерялся, предположим, в сто ромео, а тратила она на вас пятьдесят, то есть горела вполне адекватно, ваша же первая жена от природы имела потолок любви меньше — в тридцать ромео, но она отдавала вам все без остатка. По шкале абсолютных показателей это вроде бы меньше, чем полнакала второй, но вы же не будете отрицать, что это неизмеримо выше по...

Тут открылась дверь, Марина вкатила тележку с лекарствами. Корш умоляюще взглянул на Пашу: мол, все, тема закрыта. Но Паше и самому уже не хотелось говорить. Он впивал благоухание, которое дарила Марина. Даже запах лекарств и павлиновский дух не могли помешать его наслаждению. Паша вдыхал струйки запаха мартовского снега, сочащегося с еловых ветвей, запаха детских пальчиков, перепачканных в шоколадных натехах... Запаха незрелых зеленых стручков...

Марина поставила какую-то полиэтиленовую рюмку на тумбочку Корша, расправила спину и совершенно как ребенок, не думая о присутствующих, поймала двумя пальцами под халатом резинку трусиков и, слегка присев, подтянула ее вверх. «Какое прелестное создание», — говорили глаза Корша. Вадик почему-то не проснулся, Павлинов тоже спал, свесив голову. Он и во сне держал на лице выражение какого-то неопределенного (на всякий случай) недовольства, свойственного большим начальникам. Паша был умилен, растроган абсолютно бескорыстно. Он совершенно не замечал в Марине того, что замечали все, он умирал от другого, от ничейного.

— Знаете, Павел Николаевич, — опять заговорил Корш секретным шепотом, когда Марина вышла, — я после пересадки гипоталамуса стыжусь половины своих мыслей и побуждений, а многие из них меня удивляют. — Он сел в постели. — Я, кажется, не очень люблю того типа, которому так не повезло умереть от цирроза печени. Я, например, никогда не ругался матом. Не поверите, но черт знает что иногда «ему» взбредает на ум! — Корш с ужимкой фыркнул.

— И галдят, и галдят, — сквозь дрему пробормотал из подмышки Вадик. Заворочал шеей и Эполет.

— Кто галдит? Слушай сюда! — отреагировал живо Корш. — Я тебя, пархатого, в гробу видел, будет еще, зяма, тут возникать...

Корш, сказав это, вдруг зажал ладонью рот, зарылся в подушку и задергался спиной. А Вадик обалдело зыркнул глазами и юркнул обратно в прорезь.

— Наум Маркович, что с вами? — Паша даже всплеснул руками. — Или это сейчас из вас выскочило... донорское?

— А? Что я сказал? — испуганно затараторил Корш. — Я что-то не то сказал?... Со мной, Боже, такое бывает, я ж вам говорил...

— Да-а, — протянул с улыбкой Паша, — вероятно, этот ваш донор не жаловал сыновей иудейского племени.

— Да, я в этом не сомневаюсь.

— Вот чисто советская ситуация! — засмеялся Паша. — Кто же в таком случае вы сейчас?

— Я? Я полукровка, по-видимому.

Помолчали.

— Вы знаете, Павел Николаевич, — снова заговорил Корш. — Я чувствую постоянно в себе присутствие того чужака. — Он перешел на стыдливый шепот. — Вы знаете, мне никогда не нравились блондинки. А ту-ут!.. — и он изобразил на лице совершенно не идущее ему выражение с похотцой во взоре, и Паше показалось, что он на миг увидел донора Корша и даже мог бы написать его словесный портрет. — А тут в перевязочной вдруг та-ко-о-е...

Паша закрыл глаза, он не слушал Корша.

Что? Лайла, дочь Аполлинария, попросила его накосить сегодня травы для коз, там, на болотных кочках. Он сегодня не мог, ему надо было в город, он пообещал завтра, она сказала «хорошо» и заранее поблагодарила его. Но ночью, когда он возвращался из города, его убили, зарезали. Зарыли на болоте. Если б не обещание накосить травы, он бы вполне умер, тихо, бесчувственно лежал бы в своей могиле... Но он дал слово Лайле накосить травы, и она же не знала о его гибели и могла бы подумать, что он остался в городе, забыв про обещание. Вот почему в своей сырой яме под болотной водой он умер не вполне, а еще долго беззвучно выли, бездвижно порывался освободиться... О, Лайла!

Утром, когда проснулись, все долго молчали. Вадик соображал, приснилось ему или было на самом деле — вчерашние блатные выпадки этого абраши Корша. Похожее терзало и Павлинова в отношении Паши. То, что его реципиент, возможно, еврей, пугало его меньше, чем другое. Эта тетя Циля, ладно, но Ибрагим... Виктор Степанович стал бояться, что его пересадили к тайно сумасшедшему.

Паше иногда казалось, что он вблизи от правого уха слышит какое-то тяжелое, скрипучее шуршание, или, точнее сказать, сухое ерзанье каких-то трущихся частиц, некое сыпучее струение, и он не сразу понял, что, поскольку голова Павлинова была расположена вблизи его уха, он все это время слышал шуршание внутри павлиновской головы, то есть, по сути, слышал то, как она думает. Иногда, когда Павлинов напрягался, это и впрямь напоминало шорох сухих листьев, когда по ним без дела идут в тяжелых резиновых сапогах. Сейчас звук из недр головы шел именно такой: Павлинов напряженно думал.

Напряжение могла бы разрядить Марина, но после суток дежурства у нее был выходной. Да тут еще всем добавила нервозности мама Паши Раскладушкина, которая пришла первой сразу после обхода. Собственно, все произошло молниеносно. Ей открыл дверь Метастазно и показал рукой в сторону угловой кровати. Пашина мама медленно вошла в палату, подслеповато шурясь. На лице она держала выражение фальшивой оживленности, какое часто встречается у посетителей определенных больничных палат. Но, остановившись в двух шагах от кровати, она вдруг, бросив сумку на пол, взмахивая руками, побежала назад, к двери, с криком страшным, протяжным и, подхваченная санитаром, потеряла сознание.

После этой сцены заметно волновался Павлинов, ожидавший прихода жены. Минут через двадцать в дверях смело показалась яркая женщина с дежурным выражением натужного оптимизма на лице. Но постепенно оно стало как бы заплытьяться недоумением, заигрыватьсь, остановившись глаза над застывшей улыбкой скользнули по Коршу, перевелись на Раскладушкина; словно ужаленные представшей скученностью, метнулись судорожно по палате; не найдя искомого, опять вернулись к Паше, скопились в плохо различимый ворох складок и сфокусировались на прорези, где она увидела лицо мужа. Эта прорезь была посередине вздутого матерчатого капюшончика, прилаженного на плече неизвестного ей человека, и капюшончик стрельчато обрамлял лицо мужа, как монашеский куколь.

— Боже мой, этого еще не хватало, — прошептала женщина.

— Ну ты что, Зин, мы ж не одни! — шикнул на нее Павлинов.

Из сумки женщины раздалось тонкое собачье повизгиванье.

— Вы успокойтесь, Зинаида Евгеньевна, — подал голос из подмышки Вадик.

Женщина бросила на Вадика полубезумный взгляд, сказала: «Синельников?», тряхнула головой, словно бы отпугивая от себя ужасное видение, и сделала от двери несколько шагов в направлении неизвестного с головой мужа слева, а справа и чуть ниже — с головой его шофера.

Часть III

*«Не надо ничего бояться... Ты всегда жив—
более или менее. Ты всегда более или ме—
нее мертв».*

Сесар Вальехо,
современный перуанский поэт

Вижу вижу последние люди из вашего столетия вот они узнаю женщин в шуршащих синтетических одеждах ваши мужчины в комбинезонах из «кевлара» это материал для пуленепробиваемых жилетов дребезжит дребезг на всем узнаю людей вашего столетия по их лицам узнаю в них нагленность и затравленность одновременно идут идут не гуськом сплошной колонной без интервалов перед концом большие утолщения их три такое видел вздутые в процессии людей семнадцатого века когда пол-Европы унесла чума и еще когда было Лиссабонское землетрясение 1775 года а что у вас вы молчите что с вами трижды струсилось эти вздутия громады тут миллионы и миллионы что ж молчите а один из последнего ряда оказывается колонна обрывается есть последние один все время оборачивается оборачивается приотстанет догонит опять приотстанет а за ним никого пустое обезлюдившее пространство из него выкачано время пустое русло старика испарившегося прошлого а он все оборачивается последний из ниоткуда

Когда Зинаида Евгеньевна приблизилась к увешанному головами неизвестному, она успела взять себя в руки, и Паша ее разглядел и, отсеяв то, что можно было приписать испугу, определил ее тип как «неработающая жена номенклатурного мужа», занимающаяся собой и своей внешностью все утро и большую часть дня, — аэробика, сауна, массаж, бассейн, теннис... Ей было не очень много за сорок, ни намека на лишний вес, отличная фигура, но лицо от перегрузок было какое-то бодро-изможденное, взнузданное, какое-то приподнято-измочаленное. В ее подтянутости была нездоровость сверхстарания.

В руках Зинаида Евгеньевна держала на весу большую хозяйственную сумку, которую она прикрывала халатом, и в этой сумке что-то с визгом металось и вырывалось. Подойдя к мужу, она сказала: «Виктор, я ее взяла с собой, просто сходит с ума», — и раздвинула молнию. Из отверстия, можно сказать, выбросилась наружу маленькая собачка и, радостно скуля, сначала потянулась мордой в сторону Павлинова, но, увидев голову Вадика и Пашу, как-то осела и принялась остервенело рычать, разрываясь между чувством обожания к хозяину и чувством неприязни к чужим. Это была собачка японской породы, лупоглазая, безногая, коротконогая, с колышащейся переливающей шерстью, с фонтанно-взметнувшимся и ниспадающим хвостом, похожая на экзотическую аквариумную рыбку.

— Ди-и-на, Дина, — расплылся Павлинов, и собачка подпрыгнула и лизнула его в щеку.

— Ласковая, курва, — дружелюбно ослабившись, сказал из прорези Вадик, и Дина опять зарычала, взглядывая любящим взглядом на Павлинова, тут же меняя любовь на ненависть при взгляде на Вадика, а когда в поле ее зрения, по центру, попало улыбающееся лицо Паши, Дина была так озадачена, что просто застыла в недоумении, — ее, видимо, обездвижило состояние равновесия между крайностями обожания и злобы.

Зинаида Евгеньевна сунула ее обратно в сумку, задвинула молнию, оставив отверстие только для головы. Паша с удовольствием ловил носом плававшие в воздухе упругие струйки собачьего запаха, как птица ловит крылом воздушные потоки: пахло сложной смесью собаки, ветки цветущей

сакуры (это, видимо, был все-таки скорей воображаемый компонент букета, привнесенный принадлежностью к японской породе), пахло также хвойным шампунем и ледяной рыбой. Зинаида Евгеньевна приблизила свое лицо к мужу.

— Виктор, Боже, как... как это понимать? — услышал Паша и отвернулся с благодарным чувством, потому что жена Павлинова почти перебила запах мужа, это были хорошие, хотя и резкие духи; правда, ими пользовались несколько больше, чем требовалось. Было не совсем ловко слышать супружеский шепот, поэтому Паша все делал, чтобы отвлечься, он лихорадочно бросал свою мысль на любые объекты в надежде, что они ее затянут в себя, он даже извлек со дна памяти сверхзапретную штыкановскую формулу, но на нее напоззла нелепая картина, которую он видел минут за десять до своего несчастья на Аминьевском шоссе, а именно: под струю запаха мертвечины тупым, нехорошим взглядом Паша созерцал огромный оловянный таз на лотке возле кулинарии. В этом тазу вповалку лежали бройлерные ошипанные цыплята с синеватым отливом. Паше тогда чуть плохо не стало: верите? — у некоторых этих цыплят вычиталось ему такое выражение в мертвых глазах, какое было у толстовской маленькой княгини: «За что? что я вам сделала?..»

— ...но с какой, с какой стати здесь? — Эта фраза все-таки достигала ушей Паша не один раз, пока он настырно отвлекался воспоминанием о бедных цыплятах, и эта фраза повторилась опять. — Здесь и на этом странном типе? Почему бы не позвонить Сысоеву через Бессонова?

Павлинов приглушенно сказал:

— Но нет в Четвертом управлении такого трансплантационного отделения, пойми ты! К тому же кто достанет другого донора? Они что, на улице валяются?

— Ну... сиди тогда на этом типе, как попугай какой на плече шарманщика, — сказала Зинаида Евгеньевна. Она, похоже, уже немного оправилась от первоначального шока, вынула из второй сумки апельсин, очистила, одну дольку всунула в рот Павлинову. — Я понимаю его, — она кивнула на Вадика, — у него нет выбора, но ты, ты!..

Павлинов, жуя дольку, щурил глаза, казалось, он проникался резонами жены.

— Хорошо, — сказал он шепотом, — поговори с Бессоновым.

— Как крысы с корабля, да? Я ж все слышу! И здесь спецобслуживание, да? — Это был голос Вадика, выглянувшего из своей прорези.

Зинаида Евгеньевна отпрянула, Павлинов налился кровью.

— Я ж все слышал, — продолжал Вадик, — опять, значит, мухлюете, делишки за спиной делаете, а Вадик здесь оставайся. Гегемон, он и под мышкой перебьется... Да?! Ну-у, козлы, ну-ну, козлы-ы...

— Выбирай выражения, Синельников, — строго сказал Павлинов.

— Черт знает что такое, — поддакнула Зинаида Евгеньевна.

— «Черт знает»?! — взвизгнул Вадик. — Как возить по рынкам и дачам, как финскую мебель доставать, так «Вадик, Вадик», а как Четвертое управление, так «у него выбора нет». Ну, спасибо, спасибо вам, Зинаида Евгеньевна.

— Слушай, а его нельзя!.. ну, накрыть чем-нибудь? — сказала Зинаида Евгеньевна мужу.

Корш включил транзисторный приемник, негромкая музыка отделяла его от ругани, как занавеска.

— Оставь его, Зина, — сказал Павлинов, — а ты, Синельников, лишнее не говори, мы ж не одни.

— Это точно, — зло прервал Вадик, — нас тут целая компания, хорошо, свидетели будут в случае чего.

— Ну, ну, не угрожай. — Павлинов испустил из глотки начальственный басок, идущий будто из паха (хотя откуда же пах, да еще такой пах, ведь не Пашин же хлипкий!). — Думаешь, если не за баранкой, так и управы нет? Не забудь, где ты еще до сих пор на партучете.

— Ну и что-о-о? Ха! Напугали!

Дина, почувствовав враждебную по адресу хозяина интонацию в голосе Вадика, стала с лаем рваться из сумки.

— Подожди, Дина, — твердо сказал Павлинов, и собачка замолкла. Павлинов повернул голову к Вадика, сколько позволяла повязка. — Нет,

дорогой, не «что-о-о», а то, что на партучете ты все-таки состоишь на автобазе у нас, так что рано ты, Синельников, себя свободным-то почувствовал.

— Каким сво-о-ободным, каким свободным-то? — взвился Вадик. — Чего вы лапшу-то на уши вешаете? Что вы мне можете?..

— А вот тут заблуждаешься, — перебил его Павлинов, осклабившись, и Паша увидел, что впереди у него порченный, какой-то мутно-серый зуб. — Заблуждаешься, — повторил он. — Инвалидность будешь оформлять? ВТЭК будешь проходить?

Вадик онемел. Павлинов сделал паузу, он попытался сверху заглянуть в подмышку своего носителя Раскладушкина, чтобы проверить эффект, произведенный своими словами. Лицо Вадика было бледно. Даже Дина потрясенно затихла, видимо, утомилась переводить взгляд от одного говорившего к другому, испытывая попеременно взаимоисключающие чувства. Павлинов бросил на Вадика победоносный взгляд.

— А о характеристике ты не подумал? — И медленно, вразтяжку, улыбаясь одними глазами, добавил: — А кто ее будет подписывать, ты тоже не подумал? — Он выдержал паузу, добил: — А между прочим, одна из трех подписей будет моя.

Вадик четко, почти во всеуслышание, хлопал глазами, лицо его сделалось по-детски обиженным. Но это продолжалось недолго. Глаза его вдруг подернулись подобием мысли, он улыбнулся, оживясь.

— А интересно мне, между прочим, одну вещь узнать.

Он так это сказал, что Зинаида Евгеньевна даже перестала подкрашивать губы, глядясь в зеркало пудреницы. Какой-то интерес на миг мелькнул у нее в глазах, но, впрочем, тут же погас. Взгляд ее начал удаляться, оставаясь на месте (подступало время бассейна?), она смотрела перед собой пристально-пустым взором, внимательным-внимательным, но пустым, не здесь были ее глаза и мысли, они отсутствовали, и лицо ее поскучнело, опало и без взнузданной своей оживленности вдруг сделалось старым, жалким. Да тут еще Дина заскулила... Паше стало несколько неловко, стыдно, потому что, честно говоря, минуты три-четыре назад он совсем дурно подумал о жене Павлинова, о чем, собственно, и думать права не имел: ее особый изможденно-приподнятый вид внушил ему мысль, что в ее лице он имеет дело с культом даже не тела, а туловища, и Паша несколько минут назад не сомневался, что эта женщина ради фигуры и стабилизации гемоглобина не остановится ни перед чем. Однако теперь Паша увидел ее лицо, словно бы раздвинул приборную осоку, словно бы с молока пенку сдул, и увиденное сказало ему, что в своем высокомерии праведника и хулителя он очень и очень ошибся, и эта ошибка была ему приятна.

— Так что ж вы молчите? — повторил Вадик. — Вам же, Виктор Степанович, русским языком говорят, что мне интересно одну вещь узнать насчет характеристики, которую вы собираетесь подписывать.

— Какую еще вещь? — буркнул Павлинов.

— А такую. — Вадик даже облизнулся и бросил снизу этакий заносчивый взгляд. — Чем же, интересно, вы будете под-пи-сывать мою характеристику, а? Об этом вы подумали?

Все увидели, как вопрос повис в воздухе. Вопрос был безжалостен и неотразим: он намекал на безрукость шефа. В палате воцарилась нездоровая тишина. Паша почувствовал выброс характерного павлиновского запаха. Корш закашлялся, Дина издала из сумки жалобный визг. Зинаида Евгеньевна резко задернула молнию. Вадик ждал. Плешь Павлинова наливалась багровостью, как лист остывающего металла, по ней с легким потрескиванием бегали маленькие пурпурно-белые змейки. Паша ощутил как бы легкий толчок в легкие и поневоле набрал воздуха и сильно выдохнул.

— Во-о-онн! — вдруг зычно, страшно завопил Павлинов на Вадика, и Паша опять, как бывало и раньше, ощутил откуда-то не из себя позыв поднять руку и ударить ею по кумполу Вадиковой головы, даже не то что позыв, а как бы подергивание электричеством жилки в запястье, наливающейся тяжесть кулака, но Паша тут же подавил в себе эти импульсы, к счастью, совсем слабые. По направлению медиаторного потока он понял, что импульс шел от головы Павлинова в его, Пашин, мозг и что поток

почти обесточился в гипофизе или в районе варолиева моста, во всяком случае, то, что в виде команды ударить было отослано к мышце правой руки, к жилке запястья, превратилось в совершенно маломощное поползновение, в отраженный свет, — это можно было бы назвать не командой ударить по кумполу, а мыслью о команде ударить по кумполу. Разница, само собой, громадная. Паша с облегчением отметил это про себя. Но закралась и тревога. Он почти физически ощутил то, как от нервного, хотя и ложного напряжения в его мозгу уменьшилось количество гликогена, как по затылочному синусу пробежал, будто по тонкому никелевому проводку, холодок.

«Так ведь моя телесная власть на тонком волоске висит», — подумал Паша, он и подумал-то это, как бы прикусив губу, словно боясь, что из-за общей с подселенцами нервной системы им могут стать известны его опасения и он их поневоле надоумит на меры против себя. Или это бред? «Черт его знает!» — сказал сам себе Паша. Тем временем Корш опять включил свой маленький транзистор — передавали последние известия. О перекрытии газопровода на границе с Литвой. О перестрелках в Нагорном Карабахе. В конце сообщили, что в Москве умер известный академик-химик и что некролог подписали руководители партии и правительства. «Умер химик, став предметом своей научной дисциплины». Эта фраза была, конечно, не из некролога, она произвольно пришла в голову самому Раскладушкину. Вдруг он заметил, как что-то в палате изменилось. Оказывается, пока он предавался своим размышлениям о подверженности тел химическому распаду, Зинаида Евгеньевна уже закончила свидание с мужем, она была в дверях. Дина надрывно скулила, вырывалась из сумки. Паша мельком подумал, что комнатные собаки потому, наверное, и не живут долго, что все испытывают на пределе эмоций, их сердца изнашиваются обожанием к хозяину. Зинаида Евгеньевна всем машинально кивнула и вышла, бережно притворив за собой дверь. А потом так же медленно, осторожно ее приоткрыл какой-то незнакомый тип в накинутах на плечи белом халате, боком просунул голову (Паша не любил, когда на такой манер просовывают голову), боком же оглядел всех медленным странным взглядом и по-черепашьи втянул голову внутрь. Но душа Паши успела сжаться, учуяв неладное, — он узнал давешние глаза с пристально-рассеянным двоящимся взглядом того человека, который выслеживал его на Калининском, там, в дымчатых очках, у него за спиной, в день несчастья... Паша закрыл глаза и лежал так, пока до него не дошел от дверей запах тяжелого трубочного табака в смеси с дезодорантом, а следом наполнил удушливый выдох окаянного тот... Боже мой, откуда здесь этот ужасный человек? Или померещилось? Паша не знал, что и подумать... И вскоре он впал в забытье.

... — я понимаю, понимаю, — услышал Паша голос Корша, вник: он что, провалился, вздремнул? Все посетители уже ушли, в воздухе смешным столбиком стоял Динин запах.

— Что вы понимаете-то? — Это был голос Павлинова.

— Я понимаю, что у вас ко мне двойственное чувство, — сказал Корш.

— Какое еще двойственное чувство? — протянул Павлинов недовольно.

— Ну, двойственное, как у антисемита к полукровке... Я понимаю.

— Интереснс, — заметил Павлинов в своем обычном тоне, — почему вы себя называете полукровкой? Вы же, кажется, чистокровный.

— Да, — сказал Корш, — но после имплантации чужого правого полупушария я считаю себя, так сказать, наполовину разбавленным. Мой донор...

— Это почему ж, а может, и тот тоже был ваш? — Павлинов хохотнул этим своим особенным хохотком.

— Как вы все время это подчеркиваете, — сказал Корш.

Паша вдыхал носом остатки запаха Дины, все еще не выйдя из своей прострации, думая о своем. Как бескорыстна и слепа любовь собаки — это нерассуждающая. Как Дина любит Павлинова, а заслуживает ли ее этот тяжелый человек? Впрочем, «заслуживает» — это из области рас-

суждений. Как Дина переживает за него! У них и горе сильнее нашего, потому что мы горюем по отдельности умом и сердцем, а собака переживает слитно, неразъемно — всем существом. Само чувство возбуждает отсутствие разума, вот почему оно у них сильнее. Как распирает их, собак то есть, трепет, и удивительно, что он не взрывает их изнутри, как лимонка... Паша вспомнил свою Джерри, умершую десять лет назад. Самочка спаниель. Она явно переросла свой вид, тянулась к людям. Как Джерри любила семейные праздники, сборища! Как вставала на задние лапы, чтобы посмотреть поверх стола, слушала, смотрела на говорящих!

— ...а не лезьте со своими советами, вас никто не просит, — опять вошел в зону слышимости Паши павлиновский голос. — Везде-то вы специалисты, особенно по русской литературе и русскому языку, — язвительно закончил Эполет.

— А о чем спор, славяне? — Паша решил включиться в разговор, чтобы его пресечь, потому что когда Павлинов умственно напрягался, от него смердело потом и сушеной ромашкой. Паша не сомневался в токсичности этого запаха.

— Мы говорили о Достоевском, — сказал Корш. — Он утверждал, что у Достоевского была сильная примесь литовской крови. Ну и...

— Ну и?..

— Ну и вообще, — волновался Корш, — что Достоевский якобы совсем нерусский писатель. Вы что, не слышали? Мы говорили о том, почему у нас не закупили фильм «Идиот» какого-то японского режиссера.

— Ну да, Куросавы. — Паша даже сел в кровати. — Когда же вы, черт возьми, об этом говорили? А где был я? — вскричал он и встрепенулся, так что у Павлинова едва не слетела шейная повязка.

— Вы немного вздремнули... или забылись... — сказал Корш...

— Черт! Это же интересный разговор! — сказал Раскладушкин. Он даже заерзал от нетерпения. — Дело в том, что я тоже считаю, что Достоевский — нерусский писатель.

Эполет дернулся на плече, выжидая. Выдерживал паузу и Паша.

— Я вас не понимаю, — наконец сказал Корш. — Я, конечно, не гуманитарий, но ведь это и в школах проходят: Достоевский — великий русский писатель.

Корш говорил без малейшего акцента, и Павлинов неприязненно подумал: это ж надо, у-у, зямы, они такие, выгодно им — и картавостью своей управляют, куда-то ее убирают. Павлинов ощутил прилив тепла, улады, ему стало сначала беспричинно хорошо (самое сладкое состояние рассредоточенного кайфа, которое, увы, долго не может держаться из-за того, что очень интенсивно и быстро сгорает в собственном пламени), затем пришло снижение, осознание, от чего хорошо, а хорошо было от предмета, который всегда ублажал его, — думать о «них», перебрасывать с ребрышка на ребрышко ту самую ихнюю «аидову косточку», сидеть у лакомого куска своей ненависти и ни с кем не делиться им...

— Ну так в том-то и дело, — сказал Паша взвинченно, боясь, что перебьют, не дадут договорить (но никто и не собирался перебивать), — в том-то и дело, что это действительно странное и всеобщее заблуждение, что он, мол, очень русский писатель. — Паша сглотнул ком. — А между тем он сАвсем, сАвсем Асобой рАсы писатель, прАво, я рАссею вАше зАблуждение...

Паша произносил это великолепным высокородным мАсковским говором, с царски щедрыми «а» — протяжными, широкими, с налетом хлебо-сольной московской барской ленцы и одновременно демократичности (на таком московском языке — миловать, на петербургском — казнить), но московский этот театральный говор резанул Павлинова, он понимал, что этот полусумасшедший старается для него, чтобы его подразнить, еще плотнее войти в разговор с тем полукровкой...

— Ну артист ты, Паша, пала буду! — расплылся Вадик. — То тетю Цилю представил, то Ибрагима какого-то... И телек не надо, в натуре.

— Ну так почему же Достоевский, по-вашему, нерусский писатель? — сказал Корш. Он по-прежнему говорил без всякого акцента. — Я, например, не понимаю. Если герои Тургенева все эмигрировали или убиты в гражданской войне, то почти все герои Достоевского тут остались, по углам... Разве это не доказывает, что...

— Это ничего не доказывает, хотя за Тургенева спасибо, — сказал Паша. — Вот Тургенев, Гончаров, Толстой — да, они русские писатели. У них русские люди. У Тургенева — Гончарова — Толстого русский человек — это всегда тип местный, заповедный, округлый даже в своей парадоксальности и безмотивности, он собой очерченный и сам в себе окольцованный. — Паша был в своей тарелке, он был в ударе. Он был как глухарь на току, то есть ничего и никого не слышал, хоть бери его голыми руками. — Их персонаж — это дерево. А у Достоевского герой без корней, он непонятно откуда сорвался и неведомо куда понесся, он свободен и из себя невыводим, необъясним, невытекаем... Он дитя пробного произвола... — Паша опять задыхался, потому что торопился говорить, опять был во власти болезненного вдохновения. — Этот герой, мало сказать, без национальности. Он не может ее иметь. Он скорее инопланетянин. Вспомните его книги. Какая же это Россия? Он, если хотите, сочинил свое государство на Земле, населил это государство вымышленным народом. Если б у его персонажей были паспорта и была бы там у них на теперешний манер графа или пункт: «национальность», у всех у них было бы написано не «поляки», «немцы» или там «русские», а — «достоевские». Национальность — достоевский, с маленькой буквы. Потому что это же подлинная и уникальная их национальность. Все они по батюшке Федоровичи. Неужели это не всем понятно? — Паша сглотнул ком. — Все они достоевские — и русский Свидригайлов, и жидок Лямкин, тот — помните? — из «Бесов», которого экстремисты приглашали на свои шабашки, чтоб он им на фортепьяно «Интернационал» играл, затем только и приглашали...

— Ну это, конечно, эффектная игра ума, но... — сказал Корш.

— Чего «но»-то, — одернул его Вадик, взявший сторону Паши. Он его еще раньше зауважал.

— Нерусскость Федора Михайловича я допускаю лишь в том смысле, — твердо сказал Корш, — в какой теории относительности Эйнштейна можно назвать нееврейской, внееврейской. Тут спору нет. Эстетика и философия романов Достоевского — это теория относительности в сфере искусства, и если в теории Эйнштейна неизменной константой является скорость света, то во вселенной Достоевского константа — это право человека на абсолютную свободу, не ограниченную ничем, кроме нравственных запретов.

Паша восхищенно посмотрел на Корша.

— Черт возьми, это вы просто здорово заметили, клянусь!

— Как говорится, спасибо и на этом, — Корш улыбнулся.

— Но то, что вы сказали, и есть лучшее доказательство его нерусскости, — продолжал Паша. — Он безнационален, как небесное тело. Его герои лишь по случайности рождения автора носят русские имена и живут в городах и весях российской империи. Но в их жилах течет не столько русская кровь, сколько общечеловеческий физиологический раствор. Вы меня понимаете?

— Да, конечно, — подхватил Корш с воодушевлением, — но в этом растворе есть и русский элемент, поскольку в реку человечества впадают и русские струйки, однако...

— Я молчу. Я молчу. Но я уже не могу слушать это! — трепыхнулся на плече Павлинов.

— Мужики, это уже ни к чему, — сказал Вадик. — Бросьте вы, мужики. Вы говорите, спорьте, а зачем лаяться, в натуре. Интересно же время проводим.

— Но вы же не против того, что Достоевский — гений? — крикнул в свою очередь Корш. Этот вопрос, конечно, адресовался не Павлинову и не Вадику.

Паша кашлянул, перевел дыхание и как можно спокойней, бесстрашной сказал:

— Вы видели по телевизору недели две назад передачу «В мире животных»?

— А что там? Нет, я был в реанимации, — сказал Корш.

— Там показывали стадо тапиров. — Паша прокашлялся. — Как все тапиры смотрели на вожака, его все стадо слушалось, он был для них вождем, гением, это было так бесспорно. Но мы-то, люди, знаем, что он гений

только для тапиров. Так же может оказаться и с вашим Федором Михайловичем. Кто знает, может быть, с точки зрения высших проявлений разума, все гениальные мысли нашего романиста — не больше, чем жалкий мык этого вожака-тапира. А? Но этого никто не знает...

Паша сам чувствовал, что он нехорошо сказал, некрасиво сказал. Все молчали. Коршу тоже не понравился этот пассаж.

— Тапир — это такое с нависшим на рот смешным носом, да? Как напыль чаги, да? — Корш говорил только для того, чтобы скрыть неловкость.

— Что-то в этом роде, — сказал Паша виноватым тоном.

Помолчали.

— Я думаю, — сказал через минуту Корш, — что в своем роде и в тапировом «мыке» тоже звучит божественный голос, знак высшего порядка. Просто каждому дан свой язык для выражения одного и того же. А то, что мир умопостигаем, доказывает, что наш человеческий разум очень высокой пробы. Что ж до Достоевского, то мне, честно говоря, всегда казалось, что с автором Легенды о великом инквизиторе было бы интересно побеседовать самому Богу, потому что...

Корш не закончил: дверь широко открылась, и в палату вошел профессор Гололобов с ассистентом. Это был вечерний обход. Паша сейчас испытал к Гололобову чувство благодарности, хотя тот сразу произвел свою быструю затяжку воздуха сквозь зубы. Это была та двусмысленность, которая с первого обхода терзала Пашу, та самая манера доктора после курения резко всасывать воздух сквозь нижние зубы быстрыми короткими втяжками со смачным присвистом. И вот, представьте, Паша по-дурацки перенял у него эту привычку, и поскольку Паша до клиники тоже курил, то всасывал вместе с воздухом и затхлую табачную межзубную спертость, при этом он не забывал о Гололобове, и, когда он это делал, его не покидала мысль, что вот сейчас доктор испытывает то же самое, и это каким-то неприятным образом как бы интимно сближало их, как бы уличало в чем-то нехорошем, в предосудительной близости, вроде долгого порочного поцелуя в губы. Разумеется, профессор ни о чем подобном не ведал, а Паша был смущен и избегал смотреть ему в глаза. Но сейчас он был ему благодарен, потому что его приход прервал неприятный разговор, вызванный Пашинной оплошностью.

Гололобов начал с Вадика, ассистент записывал в блокнотик, Вадик говорил о самочувствии, спросил, можно ли ему носить бороду, как было до операции, и еще назвал телефон своей невесты, а также адрес сменщика с автобазы; латинскими словами они опять в отношении Вадика не перебрывались. Потом Гололобов «перешел» не сходя с места к Раскладушкину, посмотрел язык, назначил кое-какие процедуры. С Павлиновым Гололобов только переглянулся, но Паша заметил, что ассистент положил перед ним листик какого-то убористого текста (записка жены? тайное послание самого профессора?). Ассистент держал листок под углом, да и Гололобов, казалось, осматривал Пашу только для того, чтобы отвлечь его внимание от листка. Пашу передернуло: его подозревать в интересе к чужим письмам? Но он понял, что листок этот имел какое-то (плохое) отношение к нему самому, к его будущему.

— А в этом нет риска? — услышал он голос Павлинова.

Гололобов присвистнул втягиваемым сквозь зубы воздухом и самодовольно хмыкнул. Потом сказал несколько слов по-латыни, ассистент что-то быстро записал в блокнот. Гололобов повернул лицо к Вадиду.

— Это вы говорили насчет бороды и усов? — спросил он, гадливо оглядев его лицо. — Что ж, никаких противопоказаний со стороны медицины нет, но надо спросить разрешение вот у него. — Он глазами показал на Пашу. — Это все-таки раздражающий фактор — у самой подмышки.

Все посмотрели на Пашу, но он ничего не сказал.

Ассистент что-то записал в блокнот. Паша успел прочесть латинское «incompatibilitas» со знаком вопроса. Они еще, значит, сомневаются в тканевой совместимости? Гололобов отвесно вонзил длинный ноготь мизинца в тончайшую бороздку одного из своих проборов и осторожно поскреб им зачесавшееся место.

— Раскладушкин, Синельников и Павлинов — на перевязку, — сказал он. — Корша — на рентген.

В перевязочной Паша опять натерпелся от Павлинова, в месте стыка павлиновской шеи и его предплечья произошел абсцесс, нагноение чистил ассистент, и было ужасно больно, но обидно было еще оттого, что сам Павлинов от чистки едва ли испытывал хоть одну треть Пашиных страданий, все рецепторы восприятия боли приходились на нервную систему Раскладушкина, а подселенцы испытывали лишь крохи неприятных ощущений. Получалось, что боль была их, а страдать выпадало ему. Это было обидно.

В процедурном кабинете Паша осмыслил психологический эффект, с которым пару месяцев назад столбнулся в зубном кабинете. Этот эффект был связан с советским обыкновением вывешивать везде на стенах августейшие портреты. Здесь, в процедурном, висел портрет Семашко, тогда, в зубном, — портрет Гарвея, английского врача XVII века, первооткрывателя системы кровообращения. Так вот, как в зубном кабинете, так и здесь в момент особой боли глаза сами натыкались на портреты, которые своей парадной отрешенностью и полным отсутствием сочувствия вызывали у страдальца такую неприязнь, что это причиняло ему дополнительные страдания. С тех пор эти персонажи невольно ассоциировались у Паши с болью, с неприятными ощущениями, за ними подсознательно закреплялась функция соглядатая страдания, и хотя он понимал, что они сами в том неповинны, ничего с собой сделать не мог. Идиоты-хозяйственники, политики здравниц и больницы, неужели они не понимают? Или им неведом открытый Пашей психологический закон? Прости меня, тень великого Гарвея, не держите зла, нарком Семашко, поймите меня правильно, но — не место вам на стенах вместительных человеческих болей, на перекрестках страдающих, испуганных взоров! В зубных кабинетах на стенах надо вешать поясные портреты извергов рода человеческого, чтобы еще сильнее ненавидеть зло!

Вадик вел себя на перевязке хорошо. От него ровно, чисто, отрезвляюще пахло мускусом и йодом. Вернувшись в палату, Паша опять погрузился в прежние свои невеселые размышления. Конечно, то, что с ним случилось, это черт знает что, такой бред не под силу даже пьяной фантазии того пресловутого «сочинителя» его жизни. «Да, тут обычному бытописателю делать нечего, — самодовольно подумал Паша, — мой случай не для писателей-середнячков».

Паша сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, стал дышать глубоко, ровно. Он себя успокоил ритмичным дыханием, забылся, расслабился. На память пришла его старая идея, которую он еще на первом курсе хотел послать в КБ какого-нибудь большого завода, — идея ходового товара народного потребления. В том, что он пользовался бы спросом у большей части населения, Паша не сомневался. Это была идея домашнего робота, которому Раскладушкин дал имя горьковского персонажа — «Лука». Этого робота Луку надо было сделать в натуральную величину и обязательно из мягкого, теплого материала: папье-маше, байка, бархат... И в инструкции по пользованию, уходу и эксплуатации товара у Паши вертелся примерно такой текст: «Его зовут Лука. Делит одиночество, умеет часами слушать, не перебивая. При звуках плача потребителя и вообще при слезливых интонациях исповеди громко вздыхает, произносит фразы утешения (на русском и трех языках народов СССР), кладет руку на голову потребителя и мягко ерошит волосы. Изготовитель — производственное объединение «Кировский з-д». Гарантийный срок — 3 года. Цена — 250 руб. Потребление электричества — 3 квт/час в сутки при непрерывной эксплуатации».

Паша, вспомнив про идею своего «Луки», улыбнулся и вскоре, умиротворенный, уснул...

Проснулся он среди ночи, сходил в туалет, стараясь не разбудить своих подселенцев. Пробыть пришлось дольше обычного, хотя и не было сил выносить смердящий запах больничных отхожих мест, где воедино сплелись бедность нашего государства, низкое качество пищевых продуктов из магазинов города и больничной кухни, антисанитария, ущербность штатного расписания (половина сливных бачков не работала из-за отсутствия слесарей), культурная отсталость посетителей и т. д.

Вернулся Паша в палату подавленный и утрюмый, осмотрелся. Свои спали. Корш неподвижно растянулся на спине и был ужасно похож на покойника.

Ночь. Больничная ночь, есть ли что безотраднее в этом мире?.. По потолку, стенам палаты какими-то светящимися радиусами прополз по кругу пучок света автомобильных фар. Потом в левом углу окна показались очертания шедшего на посадку самолета, он летел, летел и вдруг деформировался, резко вспучился и развалился. Паша даже вздрогнул. Но оказалось, что в оконном стекле было небольшое вздутие, заводской брак, пузырчатая оспинка, она-то и исказила форму лайнера. Пройдя стеклянный пузырек, самолет принял прежние очертания и скрылся за обрезом окна. С улицы шел ровный гул сморенного за день города, в верхнем правом углу окна светился махрово-влажным воспаленным светом сигнальный фонарь на крыше 20-этажного административного корпуса клиники. Паша вдруг ощутил себя зависшим над Москвой, он в гондоле аэростата, гондола прозрачная, из плексигласа, он лежит на полу животом вниз, подсвеченный с земли чашами прожекторов в точке пересечения толстых, как заваливающиеся колонны, потоков света, лежит и смотрит под собой, где в редких огнях и в лоскутах мрака стелется громадный город и окрестности. Вон канал, вон поля четырех аэродромов... Паша повернулся на спину: над головой звезда. Паша снова перевалился на живот, прикинул: высота километра три, и он один, один, один... Боже мой, одиночеством, оказывается, можно наслаждаться нестерпимо, умопомрачительно. Но видение внезапно ушло: погасли прожектора, колонны света мгновенно опали, втянувшись обратно в зеркальные чаши...

Паша открыл глаза, осмотрелся: все по-прежнему спали. Павлинов жевал губы, похрапывал, Вадик не подавал признаков жизни.

По потолку опять быстро поползли вокругую световые тени от фар — это под окнами проехал очередной реанимобиль, завернул, визжа шинами, в ворота клиники. «Привезли кого-то», — тупо констатировал Паша. Его не покидало ощущение, что он оборвал на половине какую-то важную для себя мысль, недодумал, она была просторная, длинная, из ночных, неторопливых... что-то о том, что... Нет, ушла куда-то на глубину, в сторону, хотя совсем из виду не исчезла, темное пятно ее китовой спины как бы просвечивало сквозь толщу воды... Много чего передумал Раскладушкин, лежа с открытыми глазами в своей палате, прежде чем та мысль все-таки всплыла, и не было в этой мысли, правда, ничего особенного, но она, когда он ее загарпунил, грела. Мысль эта была о том, что Паша, оказывается, уже был счастлив в этой жизни — счастлив, не подозревая об этом, и счастье заключалось в том, что он обладал... самим собой, в самом прямом смысле слова...

В эту больничную ночь Паша надумал и пару утешающих аргументов. Он, например, в шесть минут третьего утра в своем стесненном состоянии увидел лишнюю степень внутренней свободы. Разве в моей трехголовости, рассуждал он среди ночи, созерцая блики от фар, — разве в моем положении нельзя увидеть факта усложнения организмов в процессе эволюции? В конце концов я, ученый, обязан смотреть на себя с позиций ортогенеза, так, как можно было бы посмотреть, скажем, на млекопитающих, у которых больше «наметок» свободы, чем у насекомых, и почему бы в моем нынешнем положении не увидеть попытку эволюции разнообразить морфологические возможности вида? Черт возьми, разве во мне не появился даже некоторый биологический шарм?

Паша шутил, Паша даже улыбался, но он чувствовал, что на него уже напознала особая ночная трезвость. Эта ночь была ужасна. Эти похрапывающие пришитые головы были ужасны. Но, может быть, судьба послала ему его участь, чтобы он мог обособиться от популяции и глубже понять что-то, что дается лишь утратой, отчуждением? Тело, пространство — это в конце концов все от популяции, но с ним по-прежнему его мысль, его дух, а это не от популяции, это не от физики, а от... Что-то укололо Пашу в затылок, он провел ладонью по подушке, зацепил колкий стебелек, потянул — ба! перышко! Вытащил из наволочки, взял двумя пальцами за кончик, повернул на фоне окна так, чтобы его просвечивал красный сигнальный фонарь на высотном здании админи-

стравного корпуса, и не мог оторвать взгляда: чудное невесомое дерево (перышко) с карликового астероида (ноготь) полыхало в лучах громадного и страшного светила (фонарь).

— Ну ты чего, в натуре? — сипло проворчал Вадик. — И вертится, и вертится... — и опять сник.

Паша некоторое время лежал неподвижно, восстанавливая дыхание. Это, видимо, передалось Павлинову, он задергался там, на плече, захныкал во сне, и Паша, чтобы его успокоить, приложил ладонь к его голове, широко растопырив пальцы. В красноватом свете фонаря это имело вид плетеной тыбетейки, нахлобученной на голый купол Павлинова. Паше пришло в голову снова проверить, не появилась ли у Эполета на лысине «ахиллесова шишечка», он, не отрывая пятерни, кожей ладони произвел рекогносцировку местности. Виктор Степанович зажевал губы, сонно замычал. Какие-то черепные неровности прощупывались, бороздки всякие, но «шишечки»... нет, «шишечки уязвимости» у него пока не было...

Уже под утро Паше пришло в голову, что можно на собственную жизнь взглянуть как на предмет обладания, точно такой же, как, скажем, коллекция раритетов или вклад в сберкассу. Человек может располагать своей жизнью как некой собственностью, которой он вправе распоряжаться по своему усмотрению, ну вот как бокалом вина — хочу выпью, хочу нет... Жить под этим углом, конечно, опасно, но это и есть свобода. «А как же... а как же?» — опять смутно заговорило в нем сомнение, без слов, уж сквозь нависший предутренний сон, как вдруг дверь в палату чуть приоткрылась, обозначив щель из мутного коридорного сумрака. Чья-то голова медленно просунулась в проем и застыла: Паше показалось, что он встретился глазами с тем типом, который на днях вот так же подсматривал за палатой, и даже теперь, в темноте, он ощутил на себе двоящийся испуганный взгляд матерого тотта.

Первое, что сделал Паша, — это сразу вихревым усилием опустошил память от всего, что хоть как-то могло напомнить формулу академика Штыканова, потому что (в этом не было сомнений) слезка косоглазого топтуна еще со времени их первой встречи на Калининском проспекте была связана с личностью академика. Не сам ли Лев Константинович сказал, что его «пасут», тогда, возле камина на квартире, когда он доверил Паше рассказ о своем открытии ингредиентов биодегонатора? Но, Боже мой, похолодел Паша, что я делаю, я же думаю о том, чтобы не думать об этом, и тем самым могу обнаружить содержание своих мыслей, прочь, прочь всё, взъерошьтесь, воспоминания, сдувайтесь, имена и знаки, аннигилируй, исчезай, стигнь всё, всё из моей пустой, гулкой головы, пустой и проторной, как недостроенный собор ночью. Ночью... ночью... ночью... Паша приоткрыл глаза, чтобы убедиться, что в дверном проеме никого нет. И самого проема уже не было: дверь плотно прикрыта, только из дверной щели внизу сквозняк всасывал в палату знакомый тошнотворный запах.

Утром Вадик сказал:

— Паш, ты побрейся, слышь? И рубашку смени. Ко мне сегодня Клавка придет.

— К-к-какая Клавка? — поперхнулся Раскладушкин.

Вадик глубже высунулся из прорези, осмотрел низ Паши инспекторским взглядом.

— Слышь, а у тебя джинсы есть? А то эта больничная спецовка у тебя страшная, у меня Клавка по этой части избалованная...

— Да к-какая еще Клавка??!

— Да невеста моя, — сказал Вадик и расплылся истомно, — та еще оторва.

Паша закрыл глаза.

— Ну, в общем-то, джинсы не обязательно. — Голос Вадика смягчился. — Это я так, немного переживаю, в натуре.

После утреннего обхода действительно дверь открыла, и как-то запросто, будто не первый уже раз, крупная девица с ярко накрашенными губами, вошла, всем сказала «здрасьте», быстро отыскала глазами голову

Вадика, сказала «привет, Вадик!», потрепала ему волосы рукой, села на край кровати, чуть покачалась на пружинах и поставила на живот Раскладушкина огромную сумку с продуктами. Поверх банок Паша углядел булочки, белые такие круглые маленькие пухлые булочки с прорезью по середине, в прошлой своей жизни он про себя эти булочки называл «орлеанскими девственницами».

— Ну ты как там живешь-можешь... без меня-то, Клавк? — спросил Вадик не очень уверенно.

— Как жила, так и живу, — сказала Клава.

— Ну давай-давай... живи...

Из прорези на плече выглянул Павлинов.

— Ой, и вы здесь?! — искренне всплеснула Клава руками.

— Откуда вы меня знаете? — буркнул Павлинов.

— Ну как же, сколько раз видела, он вас отвезет, а потом меня садит.

— Чего лепишь? — остановил ее Вадик.

— При чем тут это? — подняла брови Клава. — Ну при чем тут это? — Она перевела взгляд на бывшего шефа и опять чуть покачалась на пружинах Пашиной кровати. — Как же, на вашем месте в вашей машине сидела, спереди.

Павлинов что-то пробормотал и уткнул голову в свою прорезь.

— Так, — сказала Клава, достала из сумки банку со светлой мутноватой жидкостью.

— Что это? — спросил Вадик.

— Как что, куриный бульон.

— Да ты что, в натуре? Тебе ж сказали, что надо принести. Семечки и сама знаешь что...

— Все принесено, а бульон тоже нужен. Ты ж тяжелый...

— Что тяжелый, что тяжелый! — не выдержал Вадик. — Это ж не мне, а все, — он кивнул вверх, на Пашу, — ему, ему...

— А мы и его угостим, и шефа твоего, хоть он и прячется, и вас, — сказала она с улыбкой Коршу, достала из сумки большие красные яблоки, одно протянула Паше, тот остолбенел и взял, встала, подошла к постели Корша, положила на тумбочку.

— Ой, какое большое! — растерялся Корш.

— Большому куску и рот радуется, — сказала Клава.

Корш взял яблоко, потер о рубашку, откусил и зажмурился: вкусно-тища!

Он надел очки, приблизил яблоко к глазам, обрадованно воскликнул:

— Червячок!

Клава повернулась к нему:

— При чем тут это?

— Я говорю: червячок! — еще более обрадованно отозвался Корш. — А это значит, что яблоко живое, здоровое, не убитое химией. Бойтесь крепких, лоснящихся, красивых яблок, девушка. Они насковзь пропитаны химией, в них не может жить ничто живое, даже червяки...

— А человек все это ест... — покачал головой Павлинов.

Клава наострилась на Павлинова, поднесла к его рту яблоко, прислонила к губам, сказала: «Кусай, ну, кусай, не бойся!», и Павлинов, нечего делать, откусил, захрустел.

— Да, купишь — красивые, а это, может, наполовину синтетический плод, — продолжал рассуждать, жуя, Корш, — все с химией, ткани из пищи всю химию усваивают.

— Я вот к Вадику пришла, — перебила Клава, — он со мной любовь крутит, а я, может, сама уже на пятьдесят процентов искусственная, из синтетики! А? — и она захохотала. — Представляешь, Вадик?

Все, кто мог, доброжелательно переглянулись, воздавая должное Клавиной шутке. А Клава тем временем достала из сумки какой-то не то платок, не то занавеску, обвила вокруг головы Вадика, просунула туда свою голову — соорудила нечто вроде ширмочки. Паша пикнуть не успел, он не сопротивлялся, да и с Клавой, он понял, это было бесполезно. Она все делала без спросу, но так, будто ее все об этом просили.

— Так, — услышал Паша оттуда ее несколько приглушенный голос. — Ну вроде все в порядке.

Раскладушкин сглотнул ком в горле и напрягся: из-за ширмочки стали раздаваться какие-то причмокивающие звуки. Паша похолодел. Хотя он был отрезан материей от места событий, он не сомневался: там целовались. Через некоторое время у Паши стрельнуло в области паха, налилась какая-то тяжесть, и вдруг он с ужасом понял, что испытывает что-то похожее на приступ похоти. Без всяких чувств, без всякой симпатии Пашу свербила какая-то стерильная лабораторная похоть. Из-за ширмочки продолжали раздаваться мелко-быстрые звуки. Паша кашлянул, ширмочка упала, обнаружив красное лицо Клавы, на ее губах была съедена губная помада. У Клавы был шальной, блуждающий взгляд. Вадик, перепачканный в помаде, смотрел перед собой тяжело, малопонимающе.

— Ну чего смотришь, отваливай! — прохрипел он Паше, видимо, плохо понимая, где он и что с ним... Пашу, невинного Пашу, почти девственника, глядевшего на Клаву, пронзила догадка. «Да, — сказал он себе, — женщины, видимо, думают чревом. Что ум! Чрево древнее ума!.. Древнее мозга. Чрево — ровесник природы. Вот и прикиньте!» — бросил как бы полемически Паша кому-то в лицо, чуть ли не Шпицрутену.

Клава встала с края кровати, оправила юбку, выложила все из сумки в тумбочку, булочки те с прорезью завернула в целлофан, что-то шепнула Вадиду, сказала всем: «Ну, мальчики, выздоравливайте!» — и, помахав рукой в дверях, скрылась.

Все молчали. Корш включил транзисторный приемничек, чтобы разрядить атмосферу. По «Маяку» передавали какое-то обращение к трудящимся страны. Паша вдруг приподнялся в постели, скосил глаза и тонким вымогательски-призывным голосом проблеял:

— Физики! Глубже проникайте в недра атома, боритесь против энергетического кризиса, открывайте новые фундаментальные законы природы! Набрал воздуху и с новыми силами провозгласил:

— Дети Страны Советов! Растите здоровыми и жизнерадостными! Учитесь только на «хорошо» и «отлично»!

Он сказал это и подмигнул.

— Что? — громко спросил Корш.

— Я звоню вам из психушки, пыльным черепом тоскую, — возвестил Паша.

— Что-о? — снова спросил Корш и выключил свой приемник.

«Боже мой, что со мной, что со мной?» — бормотал Раскладушкин, его куда-то заваливало, и до него вдруг дошло, что он пьян, что его несет... Что-то нечленораздельное промышчал Павлинов. Паша быстро поднял руку, расширил прорезь в рубашке и заглянул под мышку: голова Вадика висела, как мертвая, и от нее расходились волны перегара. Клава... мелко-быстрые звуки... бульканье... Что же теперь будет? У Паши кружилась голова, его тянуло запеть. Он с силой толкнул Вадика, но его голова болталась, как боксерская груша. Паша дернулся плечом. Павлинов отреагировал бессмысленным мыком. Паша набрал воздуха, запел и провалился. Корш потом рассказывал, как он испугался, нажал кнопку вызова медсестры, думал — какое-нибудь пищевое отравление, вбежала Марина, это была ее смена, потом ассистент профессора Гололобова, потом и сам Гололобов, о, какой был переполох, думали, что началась реакция отторжения, их на каталке отвезли в барокамеру, но когда там запотели иллиоминаторы, механик догадался и сообщил об истинной причине.

— Что было, Павел Николаевич! — Корш рассказывал запрокидывая вверх руки и цокая языком. — Какой ажиотаж! Вам стали делать промывание желудка, а вам, — это было адресовано Павлинову, — клали на лоб примочки, потому что вы стонали. А вы (Вадик понял, что речь про него, виновато понурился, чуть втянувшись шеей в прорезь)... а вас стошнило прямо на ассистента.

— Ты заткнешься, нет? — Вадик говорил слабым, каким-то выпотрошенным голосом. — Ну, было, ну, виноват, сколько можно одно и то же?

— Нет, Синельников, этот номер тебе не пройдет! — прошипел Павлинов.

— Да ведь не за рулем...

— Этого еще не хватало! Пить сейчас в этом положении тебе вообще нельзя, потому что у нас общая кровеносная система, мы пьянем все в

равной степени, а это уже коллективная пьянка, это уже дурно пахнет. — Павлинов крикнул. — К тому же ты знаешь, что я вообще не переношу этого портвейна.

— Ну, извините.

— А я вас, Павел Николаевич, с этой стороны еще не видел, — с улыбкой заметил Корш. — Когда вас везли на каталке, вы пели песенку... ну, про дочь камергера... так было забавно... Ну, как это? «Я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь»...

Паша немного покраснел.

— Я пел, да? Эту — «Вино и мужчины — моя атмосфера, привет, эмигранты, свободный Париж!»

— Именно! — воскликнул Корш и закачался на пружинах. — Вы были бесподобны.

Раскладушкин был собой доволен, его посетило актерское тщеславие. Слово «атмосфера» он произнес так: атмОсфЭра, в стиле подзабывающего родной язык русского парижанина. О, это был когда-то лучший номер из его набора «Номо Ludens» студенческой поры. Большая компания, пьянка в общаге, девочки, а он, Паша (вернее, его персонаж) — русский белоэмигрант Евгений-Эжен. Легкий акцент, грассировка. «Господа, господа! Наполните бокалы. Выпьем за Гассию!» (то бишь Россию). Все уже податые, тянутся стаканами к некоему центру, чтобы чокнуться и поддержать патриотический тост, но тут Паша-Эжен вдруг высоко поднимал руку, призывая к вниманию, выдерживал маленькую паузу, оглядывал компанию со сдвинувшимися было стаканами и произносил:

— Нет, нет, господа. Пьем за Гассию не чокаясь.

И, разрешая недоумение окружающих, добавлял:

— Не чокаясь: ибо она умегла, господа!..

Боже, как давно был этот Эжен, как давно отшумели эти вечера!..

— ...потому что, Синельников, пьешь-то ты, а голова у него да у меня болит! — донесся до Паши голос Павлинова, продолжавшего воспитывать Вадика. — Да и промывание желудка не тебе, а ему делают. Разве это справедливо?

— Да ладно, — заступился Паша, — я думаю, он себе больше этого не позволит. Ты, кстати, Вадик, не думал о том, почему Бахуса изображают безбородым и женоподобным?

— А при чем тут это? — огрызнулся Вадик.

— А при том, что Бахус был евнух, кастрат, потому что вино делает бессильным. Злоупотребление алкоголем чревато многими...

— Пивка бы... поправиться, — промямлил Вадик и вдруг, подражая Софии Ротару, вялыми остатками кайфа затянул: — «Меланхолиё, дульче ме-ло-ди-и-ё!»

На голоса заглянула в палату Марина, сделала, вытянув губки, «страшное лицо», Вадик хотел ее попросить вынуть из тумбочки семечки, чтобы полужгать немного (он умел их грызть, не выплевывая шелуху, а нанизывая ее друг к дружке, так что с угла губ, бывало, свисал, не отрываясь, длинный как бы плетёный шнур), но сейчас он остерегся о чем-либо просить Марину, втянул голову в прорезь. По коршевскому транзистору уже с полминуты звучали какие-то тухлявые азиатские мелодии. Паша закрыл глаза. Видимо, алкоголь, вымытый из желудка, еще терзал мозг, потому что на смену веселому настроению, смещивости пришла депрессия. По «Маяку» опять пошли последние известия, сообщались подробности об очередном теракте красных бригад в Италии. Потом еще что-то передавали, но Паша уже не слушал.

— Вот они, Петеньки Верховенские, из красных бригад, — сказал Корш. — К нашему разговору о Достоевском.

— Да, как все угадано! — отозвался Паша. — Идеализм поставляет святых и демонов.

— Не забывайте, — сказал Корш, — что бесы — это падшие ангелы.

— Ну кончай, в натуре, тут голова раскалывается... — Вадик ерзающими движениями шеи выпростался из прорези. — Виктор Степанович, а Виктор Степанович?

— Ну чего тебе?

— Вы не обижайтесь. Ладно?

Павлинов промолчал.

- До чего перед Мариной неудобно...
- Перед ассистентом еще неудобней, — сказал Павлинов.
- Нет, перед Мариной. А тот хмырь ничего, обойдется.

Опять помолчали.

- Паш, а Паш, — позвал Вадик.
- Гм...

— Слышь, Паш. У меня просьба. Вот когда выйдем из больницы и вместе жить будем (Паша в этом месте поперхнулся, а Павлинов из прорези крикнул)... А что? Я прижился, а нам с Клавкой участок под Волоколамском дают, ну я не об этом, слышь, Паш?

- Ну что, говори, — уступил Паша.

— Скоро в Лужниках рок-группа «Любэ» будет выступать, мне Клавка говорила, — сказал Вадик, — так вот, в натуре, есть предложение посетить. Билеты я беру на себя.

— Какие билеты, Вадик? — сказал Паша. — Ты подумал о другом? Ну как мы с такой компанией пойдем, чисто технически хотя бы?

— Во что одеться, что ли? — понял Вадик. — Я думал уже. Мы на кидку такую сошьем, ну как у Гоголя на памятнике, вроде плащ-палатки. Для меня отверстие сварганим, где у него прорезь для руки, а шефу специально сделаем, повыше, на молнии. И сходим, Клавка довольная будет... Лады, Виктор Степанович?

- Я не пойду, — сказал Павлинов.

- Это почему же, если мы вас с Клавкой попросим?

- Бред. Тем более, что я терпеть не могу этих «Любэ».

— Ну, сходим, ну за компанию, — заканючил Вадик, — и Зинаиду Евгеньевну возьмете.

Павлинов резко ушел в прорезь рубашки и совершил выброс чудовищного запаха. Потом от его головы послышался какой-то легкий скребущий скрежет, потом глуховатый ровный шум, как при расфасовке сыпучих материалов: это Павлинов о чем-то напряженно думал.

Паша закрыл глаза и задержал дыхание.

После завтрака Корш включил транзистор.

— Наум Маркович, — позвал Паша громким шепотом. Тот выключил приемник. — А как вы это хорошо вчера сказали, ну насчет того, что, если мир умопостижим, то, значит, наш разум одной природы с демиургом.

- Спасибо, — отозвался Корш, — но я вам хочу признаться...

Это был их особенный громкий шепот, когда сильный звук будто бы шел только в определенном направлении и на определенной высоте, в определенном, что ли, коридоре (так распространяется звук в глубинах океанов — согласно засекреченным исследованиям академика Бреховских), этот направленный в узком диапазоне звук мог быть достаточно громок, но совершенно не слышен за пределами своей акустической ниши.

- Вот вы напомнили про наш разговор с Достоевском...

- Да, — подтвердил Паша. — Вы меня потрясли.

— Так вот, самое интересное, — сказал Корш, — что я «Бесов» не читал. Я, Корш Наум Маркович, преподаватель физики и прочее и прочее, никогда не читал роман Достоевского «Бесы». Я это прекрасно знаю, так как у меня был разговор об этом с первой женой, учительницей, она меня стыдила.

— А как же?.. — Паша запнулся. — Не понимаю... Вы прекрасно рассуждали, что Достоевский — это теория относительности в искусстве, и вообще...

— Это не я, это он. — Корш пальцем по голове постучал и поцокал языком.

— Но вы же говорили, что это какой-то бомж, бродяга... Откуда у того такое может быть?

— Ну, это-то как раз элементарно, — сказал Наум Маркович. — Гуманитарий, интеллеktуал, ляпнул где-нибудь крамолу, выгнали, опустился, стал бомжем... Сколько таких историй? Или не выгнали, а сам ушел в подполье, в сторожа какие-нибудь... плюнул на все. Сплошь и рядом.

- Значит, это от не-го-о?

- Да.

- Фантастика.

— Помните, что он вытворял со мной, ну, эти антисемитские выпады?.. Да, и это от него, а что сделаешь? Но, знаете, Павел, даже в этом есть свой резон. — Корш усмехнулся горько. — Резон в том, что я причуюсь смотреть на это как на голос очищающей самокритики. Чтобы не закоснеть в национальной фанаберии.

Паша молча посмотрел на Корша.

— Любопытно, — сказал наконец Паша, — мне тоже приходила в голову похожая мысль, что, может быть, ереси посылает на церковь не кто иной, как само Провидение. Ереси полезны, они не дают официальной доктрине, как вы сказали, закоснеть, они стимулируют развитие.

Паша рассказал Коршу о своей переаттестации, о Шпицрутене, о том, что он развивал перед методистом сходную точку зрения, упирая на неслучайность бинарной морфологии мозга. Ведь тем, что мозг состоит из двух полушарий с их разными функциями, эволюцией как бы заложена возможность для человека смотреть на мир с двух точек зрения.

— Не зря, — закончил Паша, — именно по пути усложнения шел процесс цефализации высоких форм сознания.

Помолчали.

Вдруг Корш издал звук: «ой» или «ох». Еще раз.

— Что с вами? — Паша повернул голову к окну. — Наум Маркович, вам плохо?

— А? — отозвался Корш. — Нет. Просто еврей время от времени должен стенать, а причина необязательна. Однако я имею что-то сказать. — Корш расплылся в хитрой улыбке. — По поводу вашей бинарности мозга.

— Да? Что же?

— Вы знаете, — сказал Корш, — мне пришла в голову скабрезная аналогия. Скажите — с какой высокой целью ваша пресловутая эволюция прибегла к тому же бинарному принципу при конструировании наших ягодиц? К чему бы это, а? — затрясся Корш, и пружины в его койке заходили ходунгом.

— Ну, козлы, ну... и галдят, и галдят, — прожевал Вадик свое и, ерзнув шеей, снова умолк. Павлинов же дремал не шелохнувшись.

— Ваша история, ваш бомж — это все так грустно. — Паша вздохнул. — Советские люди: не понимаем, зачем есть смерть...

Корш бросил взгляд на Пашиных подселенцев.

— Да, мой молодой товарищ, увы, не могу не согласиться с вами, — тем особым шепотом сказал Корш. Он говорил без акцента. — Деградация больше всего дает себя знать в том, как нынешние люди относятся к смерти. Нация, которой менее всего грозит бессмертие, — эта нация не думает о смерти. Вы заметили, многие люди совершенно не думают о смерти? Это очень большая ошибка. Смерть надо понимать. Ее надо чтить. И как ни парадоксально это прозвучит, — добавил Корш, — отсутствие размышлений на эту тему лишает людей глубокой, подлинной жизнерадостности.

Паше нравилось, что и как говорил Корш. Ему, правда, немного мешала мысль: а кто и когда, собственно, это в Корше говорит, — он сам или его головной полуподселенец? Но в конце концов это было неважно.

Корш включил свой транзистор. Передавали репортажи про наши хозяйственные абсурды.

— Нет, я не могу больше это слышать, — простонал Паша.

— А я, молодой человек, знаете о чем всегда думаю, когда слышу подобные вещи? Сказать?

— Ну.

— Я думаю о том, что наше счастье, что, к примеру, Солнце, наше светило, сделано природой, что оно нерукотворно, потому что если бы его делали, допустим, на Путиловском заводе, то однажды оно из-за недопоставок смежников или еще из-за чего-нибудь не взойшло бы, и мир...

— ...сидел бы без света? — подхватил со смехом Паша.

— Вот именно, молодой человек. — Корш как бы ерзнул лицом, и в глазах его замаслилась хитринка.

— Вы знаете, — остановил себя Паша, все еще слегка булькая остатками хохота, — мне самому не раз приходили в голову подобные мысли. Я...

— Молодой человек, — перебил с легким местечковым распевом Корш, — если к одному человеку пришла одна мысль и к другому человеку пришла та же мысль, то это уже знаете что? Это уже народная мудрость.

Паша готов был снова рассмеяться, но, видимо, только что израсходовал все наличные запасы этого вещества в организме, и как-то посмеяться не удалось.

Утром Павлинова вырвало прямо на одеяло. Опять прибежал Гололобов с ассистентом, Раскладушкину сделали промывание желудка. Вадик прятался от гневных взглядов в своей прорези. Корш скрывался от всего этого за звуковой завесой — передавали очередной концерт по заявкам радиослушателей. В палате витала напряженность, рассеянная немного тем, что вошла Марина.

— Раскладушкин, к вам пришли, там, внизу. Но до обеда не пускаем.

— Кто? Маму не пускайте, она очень расстраивается...

— Нет, это не мама. Говорит — с работы.

— Ну скажите, после обеда пусть поднимется.

Спустя какое-то время Эполету полегчало, он отхаркнулся, прополоскал рот, даже попросил Марину поставить ему стоймя газету «Правда».

— Вам лучше? — спросил его Корш.

Павлинов крикнул, но все-таки кивнул, видя боковым зрением, что тот на него смотрит. Эполет ждал, что с ним заговорит Паша, так как перед ним в каком-то смысле чувствовал вину. Хотя одеяло замыли и вроде убрали все следы конфуза, но неловкость оставалась.

— Спасибо, вроде получше, — сказал Павлинов в сторону Корша так, как разговаривают поссорившиеся супруги с ребенком или третьим лицом — не с ним, а через него друг с другом; Павлинов как бы приглашал Пашу к перемирию после недавней размолвки, вызванной обвинением в «антисоветчине». Но Паша молчал.

— Марк Наумович... — сказал Павлинов.

— Наум Маркович, — поправил Корш.

— Извините, но я хотел спросить: вы не видели шведский фильм «Земляничная поляна»?

— Поляна какая? — не расслышал Корш. Он уменьшил громкость приемника.

— Земляничная, — сказал Эполет. — Я не помню, была ли она в советском прокате, я ее в Голландии видел.

— Нет, Виктор Степанович, я не видел, — сказал Корш с готовностью продолжать разговор с недавним обидчиком.

Эполет косил глаза на Пашу и тайно улыбнулся: у любителя десятой музыки уши уже были на макушке, глаза уже горели мутным фанатичным огнем. «Вот явно умный человек, — подумал Павлинов, — а ведь как легко купить на мякине».

— Нет, не видел... А что? — повторил Корш.

— Вы удивительно похожи внешне на главного героя, вернее, на актера, который снялся в главной роли, фамилия вылетела...

Он опять бросил взгляд на Пашу.

— А что, фильм, наверно, отличный? Я много читал... — сдался Паша. — Это ведь Бергман?

— Бергман.

— Да, я одну картину его видел в Доме журналистов, — сказал Паша, — я, признаться, очень люблю шведский кинематограф, какую-то особую атмосферу шведских картин... ну вот эти пустынные виды, обязательно там будет длинная дорога сквозь прохладные пейзажи, молчание, ожидание чего-то тяжелого, страшного, но ожидание без трепета, а — с покоем, ибо это неизбежно, непоправимо, ибо это как бы в самой жизни, а не от людей.

— Есть такое, — поддакнул Эполет.

— Да? Правда? — Паша все обиды забыл. — Вы знаете, Виктор Степанович, для меня шведский фильм, он как большое белое холодное яйцо, и никогда не знаешь, что из него вылупится...

Паша закончил, он тяжело дышал.

Помолчали.

— Виктор Степанович, — позвал Корш. — Помните, вы несколько дней назад говорили, что не закупали фильмы какого-то итальянского режиссера...

— Пазолини, — подсказал Паша.

— Да, совершенно верно, Пазолини. Вы говорили, что он мазохист, сексуальный маньяк и может дурно повлиять на нашего зрителя. Так?

— Я говорил и сейчас говорю, — сказал Эполет.

— Но вы их видели?

— Да, — сказал Павлинов.

— Тогда у меня к вам встречный вопрос. — Корш присел в постели, найдя точку опоры. — Вы видели, вы постоянно это видите, а что ж на вас-то это дурно не влияет? Может, и на всех остальных тоже дурно не повлияет?

— Ах, вы вот о чем! — усмехнулся Павлинов. — Отвечаю. Я смотрю это по ра-бо-те, понимаете? По службе, а это совсем другое смотрение, служебными, так сказать, глазами, оно не проникает вглубь. А все остальные, вы, например; смотрели бы от себя, как частные лица, с открытой душой, вот такое смотрение и проникает. Вы бы расслабились, понимаете?

— Понимаю, — холодно сказал Корш и отвернулся.

Паша тоже почти вслух простонал. Что говорить? Что оспаривать? Он не сомневался, что в мозгу Павлинова крамольная мысль сама по себе зародиться не могла по причине особого устройства мозга. Если б такая мысль вдруг пришла ему в голову, она б могла произвести кровоизлияние. Услышанная же извне крамола мыслительным аппаратом павлиновых не усваивалась, не проникала.

Так и лежали все молча, пока не принесли обед. Потом приоткрылась дверь и в проем просунулась голова с пепельно-серой челкой под обрез удивленно вскинутых бровей.

Мой терпеливый читатель, ты ведь не забыл бедную дочь науки, со-служивицу Паши, научного сотрудника с сорокалетним стажем, принесшую себя целиком в жертву палеоантропологическому знанию, не получив ни-чего взамен, дочь, обделенную благосклонностью Гименея, не имевшую детей и изливавшую на Пашу жалкие, рудиментарные трогательно-неуклюжие материнские чувства, — да, это была ее голова, это она, Зоя Антоновна Никишкина, посетила Раскладушкина в клинике в тяжкий для него час.

— Паша, друг ситный! — всплеснула она в ужасе руками, увидев при-таившегося под мышкой Вадика. И еще больше изумилась, увидев Пав-линова, который из прорези смотрел на нее, как кюре из окошечка като-лической исповедальной будки. — Боже, Паша, что они с тобой сдела-ли! — Она внимательно-быстро посмотрела в глаза Паше, отметила, что он вполне спокоен, и сама, насколько ей было дано, успокоилась.

Вадик убрал голову поглубже в нишу прорези и мерцал оттуда мут-ным смежавшимся глазом, как какой-нибудь барсук, забившийся от зри-телей в угол клетки жарким днем в зоопарке. Павлинов отяжелел, осоло-вел, и его глаза занавесились цыплячьей пленкой тяжелой послеобеденной сытности. Иногда, впрочем, веки его снова вбирали в себя жеваную кожу, и он открывал с недовольным видом глаза, и тогда Никишкина беззлобно, с дружелюбной улыбкой говорила ему: «Ну что, Федул, губы надул?», на что Павлинов реагировал как-то очень уж плохо. Зоя Антоновна, впрочем, не умела ни на кого держать зла.

— Ну что на работе-то нового? — спросил Паша.

— Паш, что у нас может быть нового? — сказала она. — Все то же, Паша. Весь отдел палеозоя послали на картошку. Шпицрутен инспектиро-вал институт по линии гражданской обороны. Смех! Что еще... — Никиш-кина задумалась. — Местком был по жилью, список опять утрясали, ты по-прежнему сорок шес... — Она вдруг скосила глаза, схватилась пальца-ми за рот, оглядела прорези. — Слушай, Паша, так у тебя теперь сдюлько ж метров на человека, а?.. йё, кэ, лэ, мэ, нэ! — Она шмякнула себя по лбу. — Эскимо на палочке! Тебя ж надо в списке передвинуть, ой, Паша! — Она отъяла пальцы от губ, закачала головой, готовая, кажется, распла-каться. — Ты сам стал, как коммунальная квартира.

Павлинов при этих словах громко крикнул. Вадик пропустил мимо ушей.

Помолчали.

— Послушайте, Зоя Антоновна, — сказал Паша, — а как дела с челюстью гоминида? Вы не в курсе? Ее доставили к нам в лабораторию на датировку, ну, недели две назад.

— Ой, Паша, не знаю, чего не знаю, того не знаю, — развела руками Никишкина. — У меня и так голова кругом идет, я ж и в жилкомиссии, и страждеделгат... Ой! — спохватилась она. — Какой-то субчик приходил в отдел, про тебя все интересовался, косою такой...

— Что?! Что ему было нужно? — Паша весь сжался.

— Да его не поймешь, Паш. То какой ты специалист, то за каким столом сидишь.

— Ясно, — сказал Паша.

Зоя Антоновна выложила из сумки какой-то кулек.

— Ну? — Она встала. — Я пойду, Паша. Да? Ну, я пошла? — Обвела всех взглядом, сочувственно сморщила нос. — Ну, товарищи, мое вам с кисточкой... — и скрылась за дверью.

С полчаса все лежали молча. Паша прислушивался к гулу взлетающих и садящихся самолетов. Один раз он увидел в левом углу окна зависший силуэт остроносого и узкотелого ИЛ-62, который плыл в мгlistой облачности и своей острой мордой и узким телом был похож на рыбу осетровой породы. Паша представил себя донным полипом или морским коньком: вот я здесь лежу, а там наверху он, хищник, не заметил меня, пронесло, хорошо мне...

— Да, — задумчиво сказал вдруг Корш и вспугнул Пашины фантазии, — «Бесов» я не читал, это все он, мой бож, и про теорию относительности, и про Петеньку Верховенского тоже он...

Паша не сразу врубился, а Корш, погладив себя по голове, продолжал:

— А вы знаете, Павел, я становлюсь интересен сам себе. Как гуманитарий я был совершенно бездарный человек, не понимал стихи, читал только техническую литературу... А меня так тянула моя первая жена... — Он вздохнул. — Да, Наум был бездарен, но Наум ненарочно... — И он, потупясь, одарил Пашу тем исподлобным долгим улыбочиво-жалостливым, замешенным на печали и надежде, обезоруживающим иудейским взглядом, который даже матерых юдофобов порой ставит в гносеологический тупик.

— Как бы я хотел все забыть... — сказал Корш после некоторого молчания. — Встряхнуть свою жизнь, как вот этот градусник, — к нулю, к начальной отметке!

— К нулю... Как это по-нашему, по-русски! — сказал Паша. — К нулю — и точка. Все начинать с нуля — чисто русское изобретение!

— О нет, — возразил Наум Маркович, — я точно знаю, это по моей специальности, нуль изобрели в глубокой древности майя, они первыми ввели понятие нуля в математический обиход.

— Да? — улыбнулся Паша. — Ну тогда в этом есть элемент несправедливости. Все-таки нуль должны были изобрести в России. Ей-Богу!

Корш смотрел на Пашу.

— Россия — родина нуля! — рассмеялся Паша. — Звучит. Нет, нет, черт его знает почему, но нуль должен был непременно быть изобретен в России! Ну вот должен был — и все! — и Раскладушкин рассыпчато захотел, потом, зевнув, с блаженной улыбкой утопил затылок в подушке, бережно попридержав руками головы своих подселенцев, закрыл глаза, но через некоторое время тот, кто исподтишка смотрел из дверного проема в его сторону, мог быть озадачен видом его вдруг постройшевшего и осунувшегося лица.

— Паш... — позвал снизу Вадик.

Паша молчал.

— Слышь, Паш... Паш, я тебе говорю или кому? Я, слышь, хочу Клавке сказать, чтоб телевизор напрокат взяла, вот здесь, на тумбочке, поставим. А то скучно, в натуре. Слышь?

— Как хочешь, — сдался Паша.

— Ну, будет тут греметь, — ерзнул Павлинов.

— Почему греметь? Футбол посмотрим.

Помолчали. Паша снова куда-то провалился. Заснуть не заснул, а так...

— Паш, слышь?! — донеслось как сквозь толщу до него. Это опять был Вадик.

Паша молчал, затаился.

— Слышь, чего говорим? — повторил Вадик.

— Ну? — обреченно отозвался Паша.

— Ты не обижайся, Паш, но я хочу бороду отпустить, Клавка любит. Паша только отвернулся к стене и беззвучно протонал.

— Слышь, Паш? Пока ты спал, мы тут обсудили...

Раскладушкин не отвечал.

До самого полдника он лежал лицом к стене, пока Вадик вслух читал недельную программу телепередач, попросив Марину прислонить газету к стене; нудным, медленным голосом полуграмотного он читал все подряд, включая передачи общеобразовательной и ленинградской программ, особенно оживляясь, когда попадались футбол и «В мире животных».

— Я теперь понял, вы меня слышите, Павел Николаевич? — тихо сказал Корш. — Я понял, почему Баратынский в Муранове написал за одно лето столько стихов. Перед больницей я был в Муранове, на экскурсии.

— Ну? Что ты понял? — опередил Пашу Вадик, недовольный, что ему мешают читать.

— Я понял, вы меня слышите, Павел Николаевич?..

— Да, да, — подал голос Паша.

— ...понял, что Баратынский так много успел потому, что в прошлом веке не было телевизоров. И дело даже не в том, что он съедает много времени, а в том, что он оглушает человека. Телевизор — это, можно сказать, семечки для ума. И шелушишь, и шелушишь...

Вадик онемел от обиды и какой-то закупорки в голове.

— Это почему же «Кинопанорама» — семечки? — заступился Павлинов за телевидение. — А «Кабачок тринадцать стульев» — чем была плохая передача? Пан спортсмен этот и вообще.

— Я же в принципе говорю! — замахал руками Корш.

Тут Вадика прорвало, он очень обиделся за «семечки для ума». Паше едва удавалось сдерживать поток Вадиковой брани, даже Павлинов приструнил его. Кончилось тем, что Вадика попросили дочитать программу, это было безумно скучно, и Паша приказал себе не слушать. Когда Вадик кончил, все, кажется, почувствовали облегчение.

Лежали молча. Вдруг с пронзительным шорохом — бумага об шершавую штукатурку — провалилась под кровать газета с телепрограммой. Паша не стал ее поднимать. Вместо этого он повернул голову к Коршу.

— Я с вами не согласен, вы меня слышите, Наум Маркович?

— Да, слышу, а с чем, собственно?

— Видите ли, — сказал Паша, — и в девятнадцатом веке были свои телевизоры.

Наступила крепкая насыщенная пауза. Корш сразу понял, что Паша имел в виду: всякие ненужные визиты, балы, табльдоты и прочее. Вадик не понял, но ему понравилось, как сказал этот Паша, который не зря ему сразу приглянулся. Павлинов тоже не понял, но он понял, что это что-то очень неправильное и очень точное, но что именно — от него уплывало, не давалось, и он в чудовищном напряжении думал над сказанным, так что даже до Корша доходил трескучий пружинистый гул, сопровождавший это думанье.

В двери показался Гололобов, пригласил Раскладушкина на перевязку. Паша перехватил взгляд, который профессор бросил на Павлинова. Когда минуты через две Паша шел в процедурный кабинет, он увидел, как из кабинета Гололобова выскользнул тот мерзкий субъект с двоящимся взглядом. Этого было достаточно, чтобы Паша впал в какую-то протрацию. Он не помнил, как прошла перевязка, о чем с ним говорил хирург (а ведь что-то все говорили, и Гололобов говорил, и сам Паша). Он пришел в себя только тогда, когда при выходе из перевязочной бюст гипсового наркома Семашко на своей крашеной тумбе мелко задрожал в ответ на вибрацию включившегося холодильника.

После перевязки Паша потихоньку задремал, снился ему шум дождя, хлеставшего откуда-то сверху справа и снизу слева (один шум, без воды), потом вообще полезло что-то несусветное, плохое: как будто ночь, он идет по разводному мосту и вдруг спотыкается о трамвайную рельсу и проваливается в щель, падает вниз, а там не река, а... вернее, река, но вместо воды сплошной поток людей, толпы, которые несли, мешало, захлестыва-

ло невидимое течение. И Паша плюхнулся в самую гущу потока, барахтался, цеплялся за чьи-то головы, плечи, отбивался от чьих-то рук... Тщетно, толпа затянула его, булькнув, всосала, поглотила...

Часть IV

«Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым».

Ап. Павел (из 1-го Послания к коринфянам)

— Аполлинарий, ты заметил? Что-то погодозрительное происходит в стране.

— Еще бы не заметить...

Они шеломом заговорили о том, что куда-то стали исчезать яркие, талантливые люди. Все как-то сразу потускнело в обществе. На улицах редко когда встретишь интеллигентное лицо. Лучшие эстрадники стали отпускать плоские шутки, лучшие имена исчезли с журнальных страниц. За прошлый год в физике не было зафиксировано ни одного открытия! На страну легла тень бездарности. Это было как морозное поветрие.

Думали сначала об инфекции, о вирусе заурядности, даже про диверсию в одной газете писали. А что было думать? Эпидемия посредственности прокатилась не только по литературе и искусству, но задела и науку, а тут ведь и оборонная тематика. При чем порча коснулась именно самых выдающихся умов, самых талантливых людей.

— Ты это помнишь, Аполлинарий?

— Еще бы, кто этого не помнит.

Когда про эпидемию доложили наверх, там, как выяснилось, тоже начался процесс деградации, на ноги были поставлены светила и все инфекционные службы... Помните вирусолога академика Скрябова? Он тогда поначалу рьяно было взялся за дело, да вот беда — сам через неделю потерял свой академический интеллект, сделался на уровне участкового врача, да и, как после выяснилось, медицина тут вообще была ни при чем. На ноги надо было поднимать не инфекционные службы, не иммунологические центры, а уголовный розыск. Да!

Странно, но на этот раз уголовный розыск сработал отлично. Выяснилось, что в стране орудует банда, составленная из отбывших заключение врачей, всяких держателей подпольных абортариев, нечистых на руку хирургов, терапевтов, эндокринологов, а также отчисленных из медрес и медресиц амбалов и даже студентов-иностранцев. Главварем международной банды был гомеопат, он же патологоанатом Эрнест Баранов. Они организовали фирму по пересадке престижных мозгов. Любой клиент с большими деньгами мог стать обладателем мозгов лауреата, гения, просто яркой личности. Говорят, они выполняли прямые заказы из-за кордона на утечку лучших мозгов. Итак, эта банда сделала своим бизнесом охоту за интеллектами и талантами и пересаживала нужные отделы мозга от похищенных доноров своим мафиозным клиентам. Вы, конечно, слышали про Парамонова — математика с мировым именем? Так вот, его похитили, изъяли у него из мозга левое полушарие, заведующее логическим мышлением, а ему пересадили полушарие клиента, а тот оказался — кем вы думали? — картежным игроком-профессионалом. И с того момента преферансист стал миллионером, а Парамонова через месяц уволили с кафедр за профнепригодность.

— Аполлинарий, а их поймали?

— Их поймали, но не всех. Когда они похитили и распотрошили мозги десятка гениев и корифеев, тогда были оповещены об опасности все потенциальные жертвы, кое-кому дали телехранителей, а многим не досталось... Ну ты же знаешь, как у нас это делается... Так вот, кому не досталось, а таких, не мне тебе говорить, было большинство, те приняли собственные меры безопасности, но самым эффективным средством обороны оказалось притворство. Самое элементарное притворство, дезинформация: был яркой личностью — потускнел, был талантливый математик — прикинулся голдоном. И сразу перестал быть мишенью. Предметом охоты для того преступного бизнеса.

— Как просто, Аполлинарий! Какой гениально-простой акт мимикрии!

Да, девяносто процентов просто притворились бездарными. Самые изоциренные интеллектуалы несли примитивнейшую чушь. Вокруг недавних острословов валялись кучи дохлых мух — так было скучно в их обществе.

— Аполлинарий, но многие до сих пор не вышли из роли...

Да, многим это понравилось. Ну, а многим из тех, кто всерьез вошел в роль, в этом состоянии дали потомство, и в наследственном коде — не мне тебе говорить! — закрепились эти качества, поскольку они способствовали сохранению вида.

Наутро Паша не сразу отошел от впечатлений ночного сна, который преследовал его, — эта река человеческих голов, мост, Паша сверху ныря-

ет солдатиком (ногами вниз, руки по швам, глаза закрыты) в самую гущу потока, с ужасом выныривает, хватая воздух ртом, и вдруг рядом видит бултыхающуюся голову пьяного Димы Варлея, того своего одноклассника, с которым он говорил на Аминьевском шоссе за минуту до своего несчастья. От Варлея несло кислым пивом. Паша вновь ощутил чувство омерзения, с которым он проснулся среди ночи. От багровых авиасигнальных огней на крыше административного корпуса палата была похожа на закуток фотолаборатории. С улицы время от времени стреляли в оконное стекло блики от фар реанимобилей, привозивших новых несчастных. Как все странно... Где-то в этой ночи спят Аня и мама, и... Боже! Это-то зачем?... лежит с открытыми глазами на нарах в КПЗ толстая усатая жена Корша, покусившаяся на его почти прожитую жизнь... И Дима Варлей, который, по всей вероятности, спит на диване, вывалил из-за короткой майки свой надутый пивом живот и не подозревает, что только что был персонажем чьего-то кошмарного сновидения...

Над городом стояла ночь, бесшумно спали тысячи тех, кто днем сновал, носился, доставал, выполнял, взрослел, набирался сил, впадал в детство... о, эти большие скопления людей. Паша при виде гудящих трибун на стадионах, демонстраций и шествий, «запрудивших город», при виде очередей, транспортных потоков и прочего, а также спящих по кроватям миллионов, видимых воображением, испытывал зуд естествоиспытателя, он следил жизнь огромной популяции, озабоченной воспроизводством средств существования, брачными играми, заботой о потомстве... Популяция, популяция, которая постоянно обустроивает свою экологическую нишу, суетится, хоронит стариков, воспитывает молодую поросль... Эта молодая поросль в свою очередь состарится, и... думает ли кто, есть ли смысл в этом круговороте жизни, или всем важен лишь тот миг, на который он выпрыгнул на подножку трамвая, чтобы проехать до своей конечной остановки... Внезапно Паше представилось, сколь мелка и смешна претензия человечества быть мерой всех вещей на свете, да и вправду, разве нет в антропоцентризме чего-то ограниченного, местечкового, — вон сколько миров беспризорных мерцают в одном лишь левом уголке окна, рядом с авиасигнальным фонарем на крыше, который, попав опять в плоскость воздушной оспинки в стекле, растекся в бордово-пурпурный пузырь неправильной формы...

Ночь гудела за окном, и воспаленно горел сигнальный фонарь, и не страшно было уснуть и не проснуться...

До того, как Метастазии принес градусники, Паша успел пережить еще одно потрясение: он вдруг вспомнил и проиграл в памяти то, что вчера в процедурном кабинете на перевязке говорил ему Гололобов... Он же там на какое-то время отключился, когда увидел проклятого тотта. Боже, так, кроме того, что Вадик будет отращивать бороду и усы, Гололобов же вчера — вот это Паша и вспомнил — известил Пашу о более серьезных переменах. Как он сказал?

— ...Мы тут посоветовались и пришли к выводу, что в целях справедливости ваше тело не должно принадлежать только вам одному.

— Что же вы... — услышал Паша с удивлением собственный голос, — что же вы предлагаете, черт возьми?

— Вас трое самостоятельных взрослых индивидуумов, — сказал Гололобов, — между тем туловище одно — со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами... Вы понимаете? Было бы справедливо, если б все могли пользоваться этим телом, ну, на коммунальных началах.

— Вы предлагаете моему телу, — опешил Паша, — конфедеративное устройство?!

— В некотором роде, — подхватил Гололобов. — Все трое будут равноправно пользоваться вашим телом по очереди. Технически это сделать нетрудно. Чья очередь из троих подойдет, тот будет как бы ответственным квартиросъемщиком.

— И Вадик сможет жениться?

— Нет, но он сможет общаться с девушкой в те дни, когда ваше туловище будет дано ему как бы напрокат.

— Павел Николаевич, мы тут посоветовались... — начал было Павлинов.

— «Мы тут посоветовались»! — закричал в отчаянье Паша, вспомнив эту вчерашнюю реплику своего подселенца. — Пришитые ко мне головы

посоветовались и пришли к выводу! Ха! Давайте, крутите своими головами... Переглядывайтесь. «Советуйтесь». — Паша был вне себя, Павлинов и Вадик втянули шеи в прорези, ничего не понимая; градусник упал куда-то в складки простыни. — Посоветовались они! Да на черта мне нужна эта многоголовая гидра коллегияльности?!

— Что-что? — протянул с опаской Павлинов. Он ничего не понимал, откуда ему было знать, что Паша отреагировал на вчерашний разговор в кабинете Голлолобова только сейчас.

— Что-что! Ничего! — передразнил вслух Паша. — Вы хотите сделать из меня ходячую казарму? — Паша остолбенел от собственных слов и вдруг закричал: — Общагу из меня хотите сделать?! Оккупированную территорию?! Не дам! Не хочу!

И он бросился лицом в подушку, а когда отъял его и открыл глаза, снова увидел в дверях тота с двоящимся взглядом, он был в шапочке и, как всегда, не смотрел, а подсматривал. «Сгинь, мерзкий тот», — прошептал Паша, и соглядатай утянул голову назад, прикрыл дверь мягко, но плотно. Ужасное предчувствие опять стиснуло душу. Паше даже почудилось, что он заметил белую мышь, она боком юркнула под одеяло (откуда? из вивария? из иммунологической лаборатории?), он запомнил водянисто-александритовую крупинку ее глазка; и не она ли теперь бегала на легких лапках по плечевой спрессовавшейся от сукровицы хирургической повязке, вот принялась грызть, замерла, опять грызет, осыпая локоть острой марлевой пылью. Потом затихла и вдруг прошмыгнула в прогрызанную дырочку в повязке, там, шебарша, пробралась, протолкнулась вглубь, и Паша с омерзением, с внутренней судорогой ощутил, как она забегала под сводами его человечесьей души, чужая, пришлая, маленькая, на легких, цепких лапках, с красноватыми глазками, белая мышь его больничной, пахнувшей безумием тоски.

Минут через десять пришел Метастазно, забрал градусники, побрил Павлинова (это был день посещения, Павлинов ждал жену), Вадик бриться отказался, решив с сегодняшнего дня отращивать свои вторичные половые признаки. Забегала Марина, протерла пол влажной тряпкой, что было для Вадика праздником, так как Марина протирала и под тумбочками и под койками, низко для того нагибаясь.

Когда Марина ушла, Корш пристроил утку под одеялом и направил в потолок отрешенно-страдальчески-призывно-умоляющий взгляд. Сверху доносился какой-то ритмичный шум — то ли стулья роняли, то ли кто щетку набивал на черенок.

— Суки, ходячие, порядок наводят, — сказал Вадик. Он сегодня как-то особенно нервничал, с утра говорил, что соскучился по Клаве, к тому же Клава обещала принести в палату маленький телевизор.

— Паш, а Паш, — позвал Вадик.

Паша молчал.

— А сегодня, Паш, фильм будем по второй программе смотреть. Слышь? Французский, «Закон есть закон», Фернадель снимался, вчера в газете читал. Слышь, Паш, я тебе говорю.

— Ладно, хорошо, ладно, посмотрим.

— Чего эту рожу смотреть? — передразнил Эполет.

— Не хотите, не смотрите, а мы посмотрим, правда, Паш? — искательно сказал Вадик, и будь у него ладони, он бы потер их в веселом нетерпении. — А то только сны и видишь — мура!

— Это смотря какие сны, — сказал Павлинов.

— А мне все такая ерунда прет, такая ерунда, — сказал Вадик. — Сегодня, Паш, представляешь, то еще приснилось, вроде у меня, это, туловище лошади, а голова и грудь — мои, даже на груди наколка вот здесь была. — Он кивнул подбородком вниз. — В армии делал, русалка с мечом. Ну, значит, меня в магазин в таком виде послали, я прискакал, ноль семь взял, а ни карманов, ничего, куда класть, шкура-то гладкая, ну, я, представляешь, Паш, чуть копыта не отбросил и в поту проснулся...

— Все? — спросил Павлинов.

— Ага.

— Сны у тебя, Синельников, — усмехнулся Эполет и скосил глаз вниз, к подмышке, — очень, я бы сказал, характерные.

— Мало ли что может человеку присниться? — без интереса сказал Паша, зевнул, разгоняя выдох ладонью. — Иной раз такая ерунда приснится... Мозг, он что? Он как ночлежка... взяло и пришло...

Помолчали. Потолочный стук прекратился. Опять заедала тоска. Паша даже обрадовался, когда в дверях с картонным ящиком появилась Клава, сказала свое: «Привет, мальчики!», вытащила из ящика мини-телевизор, включила в сеть, расправила антенну, настроила на учебную программу (там шел урок английского языка для второго года обучения) и быстро, по-деловому отгородилась с головой Вадика большим, плотной материи платком.

Телевизор она включила на максимальную, до хриповатого надрыва, громкость, но сквозь кричаще-раскатистые английские фразы (это английская-то речь «кричаще-раскатистая»?) все равно даже Коршу слышались звуки поцелуев, неприличные причмокивания, шмыганье носом, тяжелое сопение. Опять Паша ощутил сперва покалывания в области паха, а затем и ломоту, даже вздулись лимфатические узлы. Чего-то подобного он ожидал, но не такой атаки. По сравнению с прошлым разом сегодняшняя реакция была верхом насилия (или они уже что-то там у него переключили?). Паша воцелил Клаву, но не своей, а явно чужой похотью — очевидно, Вадиковой, он ощущал, как из чьего-то мозга, из недр гипофиза, или варолиева моста, или отверстия Мажанди в пах посылались недвусмысленные импульсы, но переносчиками их были не чьи-то, а именно Пашины гормоны тестостерона, и бомбардировке подвергались именно его рецепторные нервные клетки, что и делало Пашу, по сути, унижительным орудием страсти, которой он не испытывал, роялем, по клавишам которого бил разлапистой клешней пьяный, случайно проходивший мимо, глупый, не интересный даже самому себе человек. Паша весь сжался, но спустя минуту почувствовал, что к его прежним ощущениям в паху стали добавляться новые, это были точечные, какие-то вялые по интенсивности уколы — они исходили явно от Павлинова, поневоле тоже вовлеченного в процесс реагирования на Клавины ласки. Видимо, это было выше его сил, плешь Павлинова сочно набухла багровостью, по ней, как по листу раскаленного металла, поползли яркие окалины, и вдруг с криком: «А хватит с меня этой порнографии!», — он схватил сверху зубами за бахрому платка и, резко рванув, стянул его с головы Вадика. Перепачканный в помаде, осоловелый Вадик некоторое время опять плохо понимал, где он и что с ним, Клава же быстро оправилась и вскоре ушла, не забыв выключить телевизор.

Потом к Паше пришла мама. Не стесняясь Пашиных компаньонов, она, по обыкновению, ломала руки, дергала себя за волосы и кричала, чтобы ей вернули сына в прежнем виде. Насилу ее вывел Метастазно. Едва Паша отошел от стресса, как в палату вплыла Зоя Антоновна Никишкина. «Мое вам с кисточкой», — сказала она и сразу заговорила Пашу новостями из института. В лаборатории выдали наконец датировку по фрагменту челюсти ископаемого гоминида при помощи палеосерологического анализа: как и предполагал Паша, фрагмент относился к периоду мустьерской культуры.

Никишкина сказала, что Отто Шпицрутена перевели из управления к ним в институт на должность замдиректора по кадрам и что он, конечно, сразу ухайдакает ее на пенсию.

— Ну уж так и ухайдакает... — промямлил Паша, дернув плечом.

Павлинов фыркнул, демонстративно отвернулся, насколько позволяла повязка. Зоя Антоновна стала прощаться, вынула пудреницу, чем очень удивила Пашу, открыла крышку, заципнула пальцами пуховку, повозюкала ею о мягкую поверхность, подняла на уровень носа и дунула изо всей силы, послав в пространство маленькое пахучее облачко, и какими-то неуклюжими, неженскими движениями принялась пристукивать пуховкой по лбу, щекам, носу, подбородку — получалось неровно, жирно, добела, особенно нос.

Она поднялась.

— Пить дать, уконтрапупит, — сказала Зоя Антоновна и попятилась к двери.

Кого сегодня очень ждал Паша, так это Зинаиду Евгеньевну, вернее, Дину, по которой начинал уже скучать. Уже два раза открывалась дверь, но это был все тот же тип со шмыгающими глазами, он заглядывал то в накиннутом халате, то без него и мельком выхватывал из тройки взглядом именно его, Пашу. Нехорошее предчувствие со вчерашнего дня томило Раскладушкина. Ему хотелось куда-то спрятаться, уползти, вот именно уползти куда-нибудь, сделаться маленьким, шершавым, вроде жука-нарывника, стать малозаметным, где-нибудь в кустах орешника спрятаться одному, без никого, застыть и пронзительно, навзрыд, наслаждаться состоянием одиночества. Нет, не надо зависать в прозрачной гондоле над городом в перекрестье прожекторов, не надо света, высоты, красоты ужаса и простора, только сумерки кустов орешника, и он, жучок, маленький, не видимый, никому, кроме себя, не нужный и не принадлежащий... Он чувствовал, что его не всегда слушаются руки, мысли... Вчера, например, он страшно испугался за себя. После обеда погрузился в легкое забытие и вдруг увидел себя сидящим — больше никого не было, он один! — в каком-то бредово-малюсеньком кинозальчике, на экране для него одного показывали любимый им шведский фильм с длинными дорогами сквозь прохладные пейзажи. И самое ужасное было в том, что фильм Паше не понравился... «Неужели меня уже подменили?» — мелькнуло у него.

От мрачных размышлений его отвлек гул голосов за дверью: это Зинаида Евгеньевна, как всегда, распахивала по рукам уборщиц и санитарок сувенирчики. И вот дверь открылась, из сумочки раздался сдавленный рассыпчатый Динин визг, и Паша сразу забыл о своих огорчениях. Опять его окутало облачко Динино запаха и резковатых французских духов хозяйки. Первым делом жена Павлинова высвободила из сумки голову Дины.

Увидев Виктора Степановича, собачка даже, кажется, пустила маленькую струю. Ее чувство обожания было очень ощутимо и зримо — радость трепыхалась у нее на кончиках ушей, в окоме рта, в глазах и, надо думать, вибрировала по всей длине хвоста там, в недрах сумки. Дина скулила, дрожала, сдерживалась, и чувство обожания так обессилило ее, что она даже не очень активно среагировала на вылезшую из прорези рубашки Вадикову голову, произнесшую ласковые слова с интонацией угрозы и враждебности: «У, рада, сука!..» Раскладушкину было хорошо, флюиды собачьего духа, в котором купалось его необыкновенно чуткое обоняние, убаюкивали и ласкали его, усыпляли, укачивали, и Паша вспомнил опять свою Джерри, умершую десять лет назад.

Зинаида Евгеньевна стала пить Павлинова из ложечки каким-то (клюква? брюква? тмин? алыча?) киселем. Тот весь обслонявился, закапался, как ребенок. Паша с неприязнью подумал: «Вот, опять... всякими дерьмовыми желе поят его, а расстройство желудка будет у меня»... Тут Вадик чмокнул губами, ему тоже дали (из другой ложки), а Паше даже не предложили. Впрочем, он опять был далеко от места реальных событий, снова со своей Джерри, вспоминая, как тянулась она к гостям, стоя на задних лапах, как вертела головой поверх стола, глядя на говорящих. Боже, как она хотела отмежеваться от четвероногости — этого видового ярма собакизма и, утвердив статус двуногости, стать с кумирами на равных, вровень...

Приближается, читатель, развязка этого грустного повествования. Надеюсь, ты успел привыкнуть к моему забавному и несчастному герою, и тебя расстроят его новые и, быть может, непоправимые беды... Но я бессилен что-либо изменить в его судьбе, облегчить его положение, я не могу по своему произволу вносить какие-либо поправки в сюжет, который уготовило Паше само Провидение. О, какой бы замечательный финал ждал Пашу в этой повести, будь я тот вечно полупьяный писатель, который подшофе якобы сочинял, как иногда думал Паша, перипетии его жизни! Если бы, если бы... Вино бодрит, вино умягчает нрав, будоражит фантазию, склоняет прощать обиды, ревновать о странноприимстве, и я бы на месте того сочинителя, макнув перо в чернильницу, а кусочек хлеба — в тюрьму и подождав, когда заберет, такое б изобразил ухищрением затуманенного ума, что герой наш обязательно в финале замечательно бы вышел... или же пусть не вышел, но тоже бы замечательно. Повторяю, я себе таких хмельных воль-

ностей позволить не могу: во-первых, печень, а главное, есть долг следовать самому полному стерильному реализму, которому служу верой и правдой вот уже на второй сотне страниц.

...В дверь тихо-тихо постучали. Какая-то незнакомая женщина в белом халате подошла к Пашиной кровати и протянула ему букет георгинов, стебли которых были обернуты влажноватой газетой.

— Просили передать вам, — сказала она, глядя Паше в глаза.

— Спасибо, но...

Женщина развела руками и, улыбнувшись, направилась к двери. Вадик юркнул в прорезь рубашки. Зинаида Евгеньевна сразу стала собираться.

— Но, собственно... — снова протянул Паша.

— Меня просили, мне нечего добавить, — с улыбкой сказала женщина уже в дверях.

Вскоре принесли обед. После кормежки произошел безобразный эпизод. Марина, сидя на табуретке, кормила из ложки Павлинова, потом Вадика, закончила, обтерла всем салфеткой губы, нечаянно уронила салфетку с подноса, нагнулась, и в этот момент... тут и произошла эта чудовищная сцена... В этот момент рука Паши примитивно легла ей ниже спины, попросту говоря, облапила, Марина, выпрямившись, окинула всех троих пылающим взглядом и наотмашь отвесила страшную пощечину Вадике. Несколько секунд была немая сцена. Потом Вадик взвыл от боли, Марина, зарыдав, выбежала из палаты. Паша обхватил лицо руками, а Вадик продолжал материться, называть всех козлами и вопил, что это не он, что ему «Клавки хватает» и прочее... Что-то говорили Павлинов и Корш, но Паша не слушал никого, в нем смешались и перепутались самые разные чувства, и мозг его, если уж прибегать к сравнениям, можно было уподобить одному огромному собору, который он видел в студенческие годы, — тот давно был закрыт для службы и превращен в продовольственно-товарные склады. Паша сам ходил по этому собору в г. Мышкине, когда на втором курсе приезжал с ребятами на раскопки в район Средней Волги. Да, это был громадный кафедральный Троицкий собор посреди центральной городской площади, Пашу с раскопок послали в город за хлебом и сахаром, он забрел к храму утром, у ворот паперти стояли очереди подвод и грузовиков, а внутри (Паша зашел туда по студенческому билету, где значилось непонятное «МГУ» вкупе с неотразимой для провинциалов гербовой печатью) были: штабели и горы самых разных товаров, а также весы, весовщики, экспедиторы, завмаги, грузчики... Росписи на стенах были заслонены и долустерты обувными коробками, скобяными изделиями, хомутами, лако-красочными емкостями, книгами по сельскому хозяйству, культуре, романам и стихами, в нефе под едва проступающим ликом преподобного Серафима лежали кучи утюгов, груды ящиков с дефицитной (только для начальства и инвалидов ВОВ) тушенкой, тут же сетки шелушащегося лука, терриконы хвостатых вытянутых корнеплодов, похожих на тушки крыс, в углу радиоприемники вперемежку с писчебумажными принадлежностями, предметы садово-огородного инвентаря и изделиями из... Впрочем, не хватит ли перечислений? Поистине, мозг Паши был сейчас похож на разрушенный, забитый посторонним хламом, оскверненный храм, из которого унесли святыне дары...

Телевизор гремел каким-то знакомым голосом, это читал Маяковского Дмитрий Журавлев. Все тупо слушали, очнувшись только при строчках, которые отец отделил слегка сомнительной интонацией, строчки известные:

— Партия —
единственное,
что мне
не изменит.

Журавлев так вот этими лесенками и прочел, обозначая их паузами.

— Ну да, не изменит, — подал реплику Вадик, он вообще любил «разговаривать» с дикторами, с комментаторами, даже с персонажами постановок. — Еще как продадут, Виктор Степанович знает, как они чуть не исключили нашего завбазой Кликадуева, — а за что-о-о?!

— Синельников, лучше б помолчал, смотришь телевизор и смотри, — приструнил Павлинов.

— Он мне рекомендацию в партию давал, а я молчать буду?

Вадик, кажется, заводился, но тут Корш обратился к Паше, скорей всего к Паше, хотя и не по их секретному каналу связи.

— Уму непостижимо, — произнес он громко, чтобы заглушить чтение. — Эти строчки написал классический партийный рогоносец.

Журавлев уже читал «Про это», и Паша уговорил Вадика сделать по-тише.

— У вашего Достоевского, — сказал Раскладушкин, — где-то есть выражение «народ-богоносец».

— Да, в «Дневнике писателя».

— Тоже уму непостижимо, — сказала Паша. — Про народ-богоносец сказано было накануне самоистребления народа, ну вы знаете, о чем речь. В храмах этот народ почти без ропота позволил устроить свалки и торжища менял. Усатый антихрист ловил на себе восторг толпы, бесы-опричники ели человечину и чуть ли не под одобрение самих жертв. Нет, не надо никакого патриотизма. Русский патриот сегодня должен быть сдержан и угрюм. Что это? Какой бред писал ваш Достоевский, можно ли было ошибиться непрестительнее, назвав народ рогоно...

— Молчите, я знаю, что вы хотите сказать! — вскрикнул Корш. — Павел Николаевич, мне странно слышать от вас такое. Вы сами вчера говорили, что и ереси насылаются с ведома Провидения, что...

— Ах, оставьте вы! — грубо оборвал Паша и отвернулся к стене.

Корш, вспыхнув, лег на спину, накрылся одеялом с головой. Под одеялом рельефно обозначились вздыбы и покатоности его тела — куполок лба, взгорки носа и подбородка, ровное плато груди, впадинка унылого паха, чем-то неумолимо напоминавшая приспущенный в дни траура флаг. Больничное одеяло без единой морщинки облегалo трогательно-острые маленькие коленные чашечки, вздымаясь затем высоким гребнем поверх торчащей ступни.

Дверь в палату открыл Метастазия и кому-то кивнул в сторону Корша, а сам ушел. Мгновенье-другое проем приоткрытой двери пустовал, а потом в нем появилась маленькая пожилая женщина с гладкими седыми волосами и с какой-то виновато-испуганной полуулыбкой на старательном и словно бы выжидающем ответе — учительском — личике. Паша даже не удивился, кто пришел к Коршу, он знал, кто это, потому что и ее тоже словно бы видел минувшей ночью. Диму Варлея и усатую тетку на нарах следственного изолятора он представлял как-то плотно, вещественно, что ли, но лишь каким-то мгновенным промельком увидел Аню свою спящую и вот эту брошенную жену, когда-то безуспешно пытавшуюся зарезать мужа Достоевским и его «Бесами»... Он ее сразу узнал, такую старательную словесницу, жертву издевательств нынешних переростков в переполненных классах. И он сразу понял, что природа ей отпустила на женскую и учительскую ипостась жизни немного — 25 — 30 ромео, но она всегда была честна и отдавала все до последнего, не оставляя ничего про запас.

Непросто было смотреть, как она мелкими тягучими (так и хочется сказать) «стопами» подходила к накрытому одеялом Коршу, в руках у нее был почему-то ученический портфель, но деформированный и раздутый от каких-то банок или свертков. Она подошла к кровати бывшего мужа и остановилась, потом слегка нагнулась, покашляла в кулачок, прислушалась, потом занесла согнутый указательный палец свободной руки над бугорком, обозначавшим, судя по всему, плечо лежавшего, и тихонько, аккуратно постучала три раза, как бы по двери, давая понять, что, дескать, пришли, откройте... Под одеялом заворочались, застыли, потом край одеяла медленно сполз с головы Корша. Несколько секунд он подслеповато и непонимающе смотрел перед собой, и вдруг все черты его лица мгновенно и как-то страшно исказились, он всплеснул руками, сдавленно, пронзительно-громко, как при еврейской молитве, вскричав: «Ариадна! Ты! ко мне! пришла!», затрясся и обхватил ее голову. Она обронила свой портфельчик на пол и тоже прижалась к нему.

Паша отвернулся, переключил телевизор на другую, с громкой музыкой, программу и приказал себе сосредоточиться. В ящике шла «Международная панорама», вел ее Фарид Сейфуль-Мулюков. Он пустил сюжет о

том, что итальянский концерн «ЭНИ» — Энте Национале Индрокарбури заключил с СССР договор на совместное производство углеводов. Под музыку показали в кадре эмблему знаменитого концертна в виде черной шестиногой собаки, из открытой пасти которой вырывается язык пламени.

— Ну, в натуре, как зажигалка, — прокомментировал Вадик, и уполз в прорезь, и сидел там, пока бывшая жена Корша не ушла. Паша выключил пыточный аппарат, опять они смотрели телевизор только после ужина. Вадик весь исхохотался, глядя комедию «Закон есть закон» с Фернанделем, и ужасно натер Паше подмышку своей двухдневной щетиной.

В ночь с воскресенья на понедельник Паше приснилась собака профессора Демихова. Бог снов Онейрос наслал Паше страшный сюжет. Да, это была та самая собака из лаборатории известного советского профессора Демихова, который успешно приживлял к туловищу овчарки одну-две головы сородичей. Онейрос не хотел копировать действительность, в его сюжете была новинка: на длинном собачьем туловище вместо песьих голов царили три человечьих: в нормальном положении во главе, так сказать, туловища сидела голая ухмыляющаяся голова Павлинова, а свою собственную голову Паша обнаружил с большим отвращением... стыдно сказать где... она была прижвлена под хвостом собаки, и этот хвост нависал сбоку Пашиного лба, как какой-то вихор. Вадик же болтался у собаки под животом, как что-то неприличное.

Паша первый раз видел себя со стороны. Он с удивлением наблюдал, как он, ну тот, который под хвостом, вертит глазами и пытается, кривя губы, дуть снизу на свисающую на глаза патлу, которая после того, как Паша, выпустив воздух, делал вдох, снова опускалась и напознала на глаза. Паша опять быстро дул, быстро втягивал воздух и опять дул, отчего патла колыхалась, как опахало. Паша-наблюдатель не сразу понял, что Паша-прихвостень дул на хвост даже скорей не из-за того, что он напознал на глаза, а чтобы в таком месте легче дышалось.

Тут Паша-созерцатель заметил, что у собачьего туловища как-то слишком много ног, он стал считать: три, четыре... пять... Ног было шесть, точь-в-точь как у эмблемы концертна «ЭНИ». Но еще большее удивление охватило Пашу, когда он разглядел, что на одну из передних лап этого нелепого кентавра надета новая калоша с красным подбоем, и эта калоша была привязана поверху грязным марлевым жгутом. Вторая и третья были на «босу ногу», то есть нормальными собачьими лапами с коготками. Сюрприз таила четвертая нога, обутая в пуанту из тусклого светло-розового атласа. Эта пуанта была надета на шерстяной носок с гуцульским орнаментом. Но удар ждал Пашу в финале: шестая по счету нога — или третья с той стороны, с какой болталась Вадикова голова, — была обычная собачья нога с мохнатой шерстью и выпуклостью ляжечных задних мышц, но вот внизу вместо ожидавшейся концевки лапы нервно постукивало по кафельному полу... Да, представьте, по плиткам кафельного пола постукивало маленькое, как у тапиров, копытце, вернее сказать, не копытце, а четыре пальца из роговитого вещества, вплавленных в толщу конечности. Эта тапирова нога почему-то больше, чем калоша и пуанта, неприятно поразила Пашу, и он проснулся среди ночи. «Привидится же такое», — стучало у Паши в голове, и почти с удовольствием он убедился, что справа болтается на своем месте Эполет, а под мышкой Вадик. У Паши отлегло: все свои были на своих местах.

Но ему недолго пришлось благодушеествовать: дико схватило живот. Это заиграли в желудке тертые ягоды Зинаиды Евгеньевны. С чертыханьями Паша нашарил на тумбочке газету, еще хранившую влажность (из-под букета), скомкал ее в кулаке и медленным, упруго-плывущим шагом вышел из палаты, миновал бюст Семашко возле дверей главврача и в конце коридора достиг туалета, боясь не донести. Но все обошлось, хотя и не без маленьких осложнений, которые разбудили Павлинова. Чувствуя свою вину, Павлинов — умора! — помогал Паше, как мог, — пыжился, пучил глаза, натужно подкряхтывал... Когда все было позади, Паша помял листок влажноватой газеты, собираясь обречь его презренной участи, глянул и обмер: на обрывке газеты он увидел несколько деформированный изломами листка портрет академика Штыканова в черной рамке. Паша быстро разглядел листок на ладони — он, он! сомнений не было... Паша в лихо-

радке скользнул глазами по тексту некролога: ...на 61-м году... трагически оборвалась... орден Знак Почета... Сердце Паши колотилось, глаза снова и снова бегали по строчкам некролога, как будто, загнанные, они могли вычитать что-то другое: «с отличием закончив»... «в области физической химии и молекулярной биологии»... «почетный член Будапештской, Болонской, Королевской шведской...»

Паша вдруг обомлел: он же уже где-то читал (или слышал?) этот текст, не мистика ли? Не мог же он читать некролог до смерти человека? Или они обо всех пишут одними и теми же словами? И тут он вспомнил: Боже мой, ведь это же тот самый дословный текст, которому он, не слыша фамилию Штыканова, вполуха внимал по приемничку Корша несколько дней назад... Ну да, какой-то химик, академик...

За окном нарастал гул набравшего высоту самолета — как отдаленный рев трибун. Паша ощутил, как ледяная капелька покатилась по позвоночному желобку и провалилась вниз. Он снова расправил газету. Со скользящим и обезображенным изломами и подтеками газетного портрета смотрел на Пашу полнолицый взъерошенный (даже на парадном фото!) Лев Константинович Штыканов, академик, тот самый, с которым Паша познакомился за месяц до своего несчастья. В доли секунды, всплывками, как умеет только мозг, на внутреннем экране Пашиной головы промелькнули их разговоры у Москвы-реки и в московской квартире у камина, и Паша снова ощутил высокий градус благородной тревоги, которая сопровождала их отношения после связавшей их тайны страшной штыкановской формулы.

И вот все кончено... Этот некролог, эта черная рамка, холодные, дежурные — одни и те же на всех! — слова: «на всех постах, которые ему доверяла...», «...навсегда сохранится в наших...»

Паша побрел в палату, ему хотелось поделиться с Коршем, но тот лежал укрытый одеялом с головой. Подселенцы, свесив головы, спали. Красный сигнальный фонарь на крыше административного корпуса подсвечивал бугристую плешь Павлинова, отороченную сединой, выделяя черепные неровности и складки кожи возле шейной повязки... Вадик во сне сладко повизгивал в глуби прорези, как сытый щенок под животом матери.

Внезапно Паше почудилось, что с ним произошло нечто страшное, что конечности его.... окопытились. Он сделал попытку пошевелить пальцами ног, но шевеления не получалось, Паша ощущал как бы сцеп ногтей в сращенных пальцах, нарост, какую-то мозолистую слитность, некий наплыв затвердевающего роговитого вещества...

С минуту он лежал неподвижно, не в силах проверить страшное подозрение. Была мысль попробовать там, под одеялом, свести ноги вместе и постучать конечностями друг о дружку, но потом он отказался от этой мысли, боясь, что, если подозрение сбудется, выйдет как бы стук кастаньет, который всех разбудит... Наконец, Паша решился потянуть на себя одеяло и посмотреть, особенно он не доверял правой ноге. Тянул со страхом, мелкими подергиваниями, еще, еще, по холодку щиколотки понял, что венец правой конечности выпростался. Сжавшись всем телом, Паша расслабил веки и — как в омут — бросил взгляд на ногу. Вместо белого человеческого подъема над кромкой одеяла в красноватом отблеске мутнело небольшое четырехпалое тапирово полукопыто. Он подавил стон и подтянул другую ногу под себя. Эта была нормальная. «Боже, что же делать?» — стучало у Паши в голове. В коридоре кто-то разговаривал. Обмотав копыто полотенцем, Паша, припадая на правую ногу, вышел из палаты. Разговаривали в кабинете Гололобова, дверь туда была приоткрыта. Паша осторожно приблизился к постаменту Семашко, белевшему в сумраке гипсовым лицом, прислушался.

— ...подсадная утка, говорите? Это иначе называется, профессор. Это называется насадка, но тут другой случай, поверьте мне, все гораздо серьезней. — Голос у говорившего был вкрадчивый. — Профессор, вот мое удостоверение, разрешите сделать вам маленькое замечание.

Наступила тишина. Они что, смотрят друг на друга? Паша вытянул руку, чтобы не задеть Семашко, и заглянул в дверную щель. Он обомлел — за столом Гололобова сидел тот самый тип с двоящимся взглядом, а Гололобов, хозяин кабинета, стоял, опершись на спинку стула.

— Для начала: нигде и ни с кем не называйте меня по фамилии, просто сотрудник — и все, — сказал тип. — Так надо для пользы дела.

— Хорошо, я учту, — проговорил Гололобов. — Итак, чем могу...

— Полезным вы можете быть все по тому же поводу, по которому я приходил к вам вчера: могу ли я посетить его сегодня ночью? Вот сейчас.

Паша удобнее оперся на завернутую в полотенце ногу, стал ждать дальнейшего развития событий. Гололобов, чего Паша от него не ожидал, не проявлял очень уж юркой готовности услужить сотруднику.

— Вы сегодня ночью хотите с ним говорить?

— Меня поджимают сроки... — сказал сотрудник.

— Но он, к сожалению, сегодня в бесполезном для вас состоянии.

— То есть?

— У него самый разгар мании. К тому же он сейчас спит, ему дают сильные дозы снотворных.

— А на него можно посмотреть?

— Я же говорю: он сейчас спит.

— Вот и хорошо. — Сотрудник сдерживал раздражение. — Мне особенно интересно взглянуть на него, именно когда он спит. Мне надо увидеть его лицо, когда он не знает, что на него смотрят. Мне это натуральное, так сказать, безвольное, неуправляемое выражение может пригодиться. Потом.

Профессор хмыкнул.

— Идите, смотрите, — сказал он, втянув с силой воздух сквозь нижние зубы.

Сотрудник встал из-за стола и сказал четко и не глядя, как хирург на операции:

— Халат. Шапочку.

Паша быстро заковылял к себе в палату, тихонько лег, прислушался.

Даже сейчас, ночью, этот тип не вошел в палату, а просунул сперва свою голову в шапочке. Фу! Ну это был тот еще тот! Паша набрал воздуха и задержал дыхание. Сотрудник вытащил из кармана брюк фонарик, навел на окно, на кровать Юрша, в угол, а потом на постель Раскладушкина. Он начал с изножья и медленно вел пучок света к голове, задержался на четко обозначенных выпуклостях одеяла, под которыми таились Пашины подселенцы, и осветил лицо больного. Паша сжал веки, притворился, что не понимает, откуда стеснение, зажевал губы. Сотрудник оглядывал Пашу, Паша чувствовал давление его взгляда. Но вот фонарик погас. Запах тот стал удаляться, скрипнула дверь... Тут Паша открыл для себя, что он может, не покидая постели, как бы продлевать себя в коридор и дальше, туда, в кабинет, одним только воображением, закрепленным на тонких, почти невидимых проволочках, которые из него вытягиваются без всяких усилий и без всякой боли или какого-либо неудобства. Это было здорово — лежать и при помощи проволочек слышать и даже видеть, присутствовать, как бы лично, хотя и бестелесно в весьма отдаленном месте.

— Спит, как дитя, — сказал сотрудник, войдя в кабинет Гололобова. Он опустился на стул справа от стола, за которым теперь сидел хозяин.

— Ну и?.. — поднял на него глаза Гололобов.

Сотрудник сказал, что он удовлетворен осмотром, что на время сна мозг больного, видимо, перестает бытьместищем болезненных маний.

— А что, вы говорите, с ним? Какие мании? — спросил он.

— Раскладушкин мнит себя собакой профессора Демихова. — Гололобов пригладил один из трех своих петлявших по лицу усов. — И еще он, представьте, воображает, что он свод законов Российской империи.

— То есть как? — удивился сотрудник. — В каком смысле? Он думает, что он одна из этих толстых книг?

— Нет, «книгу» мы бы быстро вылечили. Он именно не буква, а дух... выражение духа законности. Это сложный случай.

— Любопытно, — улыбнулся сотрудник.

— Разрешите вопрос? — сказал Гололобов.

— Да, разумеется.

— А этот ваш академик Шакалов...

— Штыканов, — поправил сотрудник. — В прошлый раз я вам вкратце говорил, что дело это чрезвычайной важности. Я рассчитываю на то, что вы...

— Да, да, строго между нами...

— Видите ли, этот несчастный больной Раскладушкин, возможно, посвящен в самый главный секрет исследований покойного академика. У нас есть сведения, что они были близки в последние дни жизни академика. Настолько часто общались в квартире, что Кеша при допросе два раза произнес слова: «Паша, только никому ни слова». Мы интенсивно работаем с Кешей.

— Кто это?

— Кеша? Это попугай академика.

— А...

— Так вот, профессор, мы еще с ним, конечно, поработаем, наш кот Василий из отдела «восемь» еще не раз потуляет вокруг Кешиной клетки, и, может быть, из Кеши со страху и выскочит что-нибудь ценное для нас, но не формулы же, не названия же ингредиентов. А именно это нам надо. Нам необходимо восстановить технологию Штыканова.

Сотрудник набил трубку табаком, закурил. То же сделал профессор. Они уселись поудобнее — Гололобов в кресле, сотрудник на стуле. Сотрудник сильно ударил ладонью о ладонь, даже привстал.

— Черт! Вы понимаете, на пороге какого гигантского открытия мы можем оказаться? Академик не оставил бумаг, он покончил с собой, когда мы этого не ожидали. Жалкий неврастеник! — Сотрудник сплюнул. — Его записная книжка... он всегда носил ее с собой, перед смертью он ее сжег, нам достались лишь листки, обрывки, черновики, которые он выбрасывал... Но мы знаем, хотя и в самых общих чертах, что это было бы вещество беспрецедентной взрывчатой силы. И самое главное, — оно было бы очень дешевое. Поистинне все гениальное просто. — Сотрудник уселся поудобнее, ближе нагнулся к профессору. — Первичным материалом для необыкновенной взрывчатки служат всего-навсего березовые опилки. — Сотрудник засмеялся. — Бедняга испугался, что будут сведены березовые рощи... Паникер! Нам ли не знать, как много у нас этого материала!

— Но вы вчера говорили, что самое сложное не с опилками, — сказал Гололобов.

— Да, в технологии изготовления взрывчатки главная роль принадлежит биодетонатору, который...

В этом месте что-то, видимо, случилось с Пашиной проволочкой, потому что голос сотрудника куда-то ушел, но через минуту вернулся, и Паша дослушал с середины:

— ...не укладывается в голове (голос Гололобова)... Как медик... говорю, что...

— Я, профессор, заканчивал и мединститут тоже, — подхватил сотрудник, — и, поверьте, ваш гиппократов комплекс понимаю. Тем не менее это так. Эффект взрыва получился именно с этими мозговыми выжимками. Главный секрет в изобретении академика — именно этот биодетонатор, извлекаемый из... — сотрудник приглушил голос, — из мозга лиц русской национальности.

— Русской национальности? — Гололобов привстал.

— Да, в этом вся штука. Не мне вам рассказывать, что такое нейропептиды. И вот представьте, оказалось, что мозг только русских людей синтезирует именно тот вид пептидов, который используется для приготовления детонатора.

— Уму непостижимо!

— Это еще не все, — продолжал сотрудник. — Нужный фермент и «заводит» всю цепную реакцию. Из мозга шести человек получается четверть унции фермента, действующего на тысячу тонн опилочного материала. Взрыв получается громадной силы, но без радиации. Это была бы по мощности водородная бомба, но чистая. Вы понимаете, что это сулит?

Тут опять что-то в канале связи заело, голос сотрудника как бы давился, съедая в словах целые слоги, Паша подергал за свою проволочку, даже не подергал, а слегка в пальцах потерябил, и слышимость немного восстановилась.

— ...вы меня понимаете (это сотрудник).

— Боюсь, что да. — Гололобов помолчал. — Если я правильно вас по-

нял, извлечение из мозга поставщиков нужных ингредиентов будет стоить им жизни?

— Видите ли, такая жесткая необходимость стоила жизни самому Штыканову. Вместо того чтобы искать способы синтезировать материал, совершенствовать технологию, он наложил на себя руки.

— Но почему, почему, черт побери, эффективны выжимки из мозга именно русских людей?! — воскликнул профессор и принялся прохаживаться по кабинету.

— Мы сами ломали голову над этим, — сказал сотрудник. — Но в записках Штыканова я нашел, что капли выжимок прожигали ему чашки Петри. И нужным химизмом обладали только экстракты из мозга русских людей. Только русской национальности. Поразительно, но на полурировках эффект прекращается.

— Уму непостижимо, — опять произнес профессор. — Тут какой-то генетический секрет, не иначе.

— Допросы попугая дали несколько фраз из бесед, которые академик вел с этим вашим больным. Там фигурировал термин: «синдром долготерпения». Видимо, имеется в виду, что люди русской национальности благодаря особенностям своей истории и своего менталитета накопили на генном уровне ряд специфических признаков, и они обернулись искомым потенциалом. Столетиями гнев у них глубоко запрятывался вглубь, сдерживался, не выходил наружу, — разве это не фактор в интересующем нас вопросе? Там, на дне русских генов, и скопился за столетия пороховой пореб. — Сотрудник поднес зажигалку к погасшей трубке. — Штыканов два раза дачу спалил во время опытов. Вы меня слушаете?

— Да, да.

— Ну, плюс еще, видимо, долготелний алкоголизм, проникший в самые дальние молекулярные уголки. Плюс залежи девственной энергии, не растраченные на попроче гедонизма.

— Ну, суки, и галдят, и галдят, — заворочался во сне Вадик. — Дня, что ли, мало, козлы... — и снова уронил голову, окорябав Пашину подмышку молодой, особенно колкой, трехдневной щетиной.

«Черт, а как он-то слышит?» — недоумевал Паша, но на всякий случай зажал свою проволочку в кулаке. Он затаил дыхание. Вадик опять захрапел. Паша разжал кулак, и слышимость стала нормальной.

— ...и все-таки, — услышал Паша голос Гололобова, — вы так легко говорите о русских людях как об исходном сырье. Это ведь в некотором роде наши соотечественники...

— Не беспокойтесь, мы бы обеспечили тщательный отбор. Достойные люди могут быть спокойны.

— Но рано или поздно этой методикой овладеют противники и начнется охота за русскими людьми за рубежом.

— Логично, — сказал сотрудник. — Но наши дипломаты, специалисты загранучреждений обладают дипломатическим иммунитетом. Что же касается эмиграции... — Тут сотрудник понизил голос до шепота, так что Паша приспустил свой проводок, дернул и затаил дыхание. — Что же касается эмигрантов, — повторил сотрудник, — то в этом и заключается наш план: враждебная нам русская эмиграция будет истреблена руками наших противников. Вы представляете, — как-то страстно, почти взвизгнув, проверещал сотрудник, — одним открытием решаются сразу две стратегические задачи! — Он помолчал. — Вот только формулу, формулу бы выудить у этого вашего психопата.

Он положил обе руки на стол.

— Я лягу в кровать того, что у окна, — сказал сотрудник. — Кто там у вас?

— Корш.

— Я так и думал. Переселите его на время в другую палату, ну, в общем, освободите кровать. Я проведу в палате остаток ночи. Может быть, Раскладушкин во сне будет что-то говорить, я его наведу, направлю, я его расположу голосом Штыканова, я ведь, — он подмигнул, — заканчивал к тому же и театральный институт. — Он ослабилась. — А вдруг я его разговариваю? Эту возможность нельзя упускать, ставка слишком велика, надо спешить. Он спокоен?

— В каком смысле?

— Ну, не буйный, не дерется?

— Нет, он малоподвижен, у него же целый букет квартирантов.

— Ах, да, черт, совсем вылетело из головы.

Сотрудник встал.

— Ну хорошо. Благодарю вас. — Он бросил на Гололобова потеплевший неслужебный взгляд. — Последняя просьба.

— Да, слушаю... — Профессор встал.

— Сменить у того постельное белье.

— Да, разумеется.

Проснувшись перед рассветом (еще было темно), Паша первым делом взглянул на кровать Корша — она была пуста. Паша мучился двумя вопросами. Первый: как им удалось усыпить его настолько, что он не помнит момента повторного прихода ночью этого типа в палату; и второй: «разговорил» ли его сотрудник «под Штыканова», сказал ли он, Паша, что-нибудь во сне? Он-то ведь знал эту формулу, знал, знал, Лев Константинович доверил ее ему, это был экстракт эпифиза, фермент гидроксенидол-О-метил-трансфераза, и он содержался в шишковидной железе мозга весом всего в 0,1 грамма. Вот чего добивался сотрудник. Паша подергал свою проволочку, как дергают леску рыболовы, — тишина, кабинет был, видимо, пуст. Паша потянулся большим пальцем левой ноги к конечности правой и ощутил шершавый панцирный нарост одного из четырех тапировых «пальцев». Паша хотел заплакать, но не смог, мозг заполняла какая-то не вмещающаяся в него обида, и не только за себя, но и за весь подлунный мир, устроенный так несовершенно. «Ну кто, кто в самом деле, — мелькнуло у Паши, — кто все время внушал, что наша вселенная должна быть непременно гармоничной, внутренне соразмерной? (Паша какой-то вспышкой вспомнил, как в детстве любил станцию метро «Новослободская», как просил у мамы постоять возле светящихся изнутри витражей, — он безумно хотел там жить, там, за этими волшебными разноцветными стеклышками!). Нет, нет, мы обмануты, обмануты. Почему мир обязательно должен иметь облик боттичеллиевой примаверы, осыпанной цветами? Так приятнее думать о вселенной? А ухмыляющуюся физиономию Фернанделя не хотите? А мурло дядюшки Броуна? Или вот этого Эполета? Что, неприлично? Недопустимо? Ха! Как бы не так! А вдруг она не ваша боттичеллиева гармония, а наоборот... загогулина какая-нибудь, всеми фибрами чую, что ЗАГОГУЛИНА, именно загогулина и ничто иное. Какое несчастье! Какой подвох! — Паша перевел дыхание. — Неужели все неправда и в основе всего лежит не то, что мы думаем, а глубочайшая непоправимая внутренняя неправильность? Слышите, Аполлинарий? Эта неправильность нужна для энергии недоумения. Для возможности несуразности. Для разности потенциалов. Чтобы что-то всегда в мире оставалось необъясненным и незаконченным. Ведь эта недоговоренность, эта вечная тайна и запускает мир. — Паша отдышался. — Мир, чтобы он мог развиваться, не должен знать, что ему с собой в следующую минуту делать. В нем предусмотрена возможность непредусмотренного случая. И, может быть, он немного сумасшедший для сохранения за ним бесчисленных степеней свободы. Я ясно выражаюсь, Аполлинарий? Я срываю с мира смирительную рубашку вашего детерминизма. Ваши фундаментальные законы — я смеюсь над ними! Вы видите, я стою на балконе, нет, я стою на крыше административного корпуса клиники имени бесподобного профессора Гофмана, где круглые сутки горят авиасигнальные фонари я стою свесившись над карнизом эй Ньютон слышите сэр я смеюсь над вашими законами гравитации я смеюсь над ними и я выше их я прыгну но я не буду падать нет я не окрашу внизу асфальт красным пионом своего разбившегося вдребезги тела и меня не обернут в белый саван сотканый в рязанском ателье «Элегант» и не отнесут в каирский морг Кяяр Эль-Айни. Я брошусь вниз и зависну над городом презирая закон тяготения ощущая себя свободным от...

Паша пресекся, его душил спазм, стало нечем дышать. Он открыл глаза и увидел, как на него в упор, освещая фонариком лицо, смотрит сотрудник, чей зрачок поймал в себя красноватый огонек сигнального фонаря. У этого человека была манера, как у Димы Варлея, приближать лицо, дыша, почти впритык, будто обнюхивала вас гиена, проверяя, живы ли вы

или уже сделались вожделенным куском для ее пасти, алчной до падали. Пащу чуть не вырвало на одеяло от тотской и трубочной вони. Он закрыл глаза.

— Э-э, нет, — раздался сдавленный слащаво-ласковый шепот. — Зачем мы закрыли такие красноречивые глазки? А? Они уже многое нам рассказали, эти глазки. Ведь они не умеют лгать. Они у нас чистые, ясные... — Он замолчал, а потом вдруг хлестнул Пащу по векам и злобно зашипел: — Сюда, на меня! Глаза! Не отводить! Живо! (Глаза у Паши от удара слезились.) Ни-че-го-о-о, мы и так прочтем в них, что нам надо... Та-ак, вот и прочли, вот и узнали, что ты со Львом Константиновичем виделся за три дня до его смерти, вот и... Глазки! Глаз-ки, падло! На меня! Не отводить! Прямо! — Красноватый блеск не уходил из его зрачков даже тогда, когда он стоял спиной к окну. — Опять? Глазки мы потом закроем, а сейчас мы их... — Он полез пальцами к Пашиному лицу, но Паша изо всех сил зажмурился и решил, что бы ни было, не открывать их. Он был как давший зарок. Он теперь точно знал, что сотрудник не владел формулой и, значит, ночью он, Паша, ни в чем не проговорился, секрет академика еще не раскрыт...

Сотрудник pokrылся потом. Он вперил глаза в освещенный фонариком лоб пациента, он затрясся от бессилия — ведь искомое им сведение пряталось вот тут, за дужкой черепного изгиба, вон там, в мякоти серого вещества, сидела эта проклятая формула, бери ее — и следующее звание у тебя в кармане, какие-то дециметры отделяют тебя от него... И он бессилен, он не может ее извлечь оттуда. А этот идиот ничего не говорит, глаза свои подлые зажмурил.

— Глаза-а-а! — бешено заорал он на всю палату.

— Ой, ты что, козел, орешь? — вдруг выскочил из прорези Вадик. — Кто это? — Он щурился, потом лбом нажал на кнопку ночника. — Кто это, Паша?

— Не знаю... — сказал Паша.

— Ты на кого грабки тянешь, а? — вывалив язык, сказал враз проснувшийся Вадик. — Это же наш Паша, я тебе за него пасть порву, пидар!

— Что-о-о? — как-то глупо протянул сотрудник.

— В самом деле, товарищ. — Павлинов выглянул из своей прорези заспанный, недовольный, он зевнул, обнажив свой мертвый передний зуб. — Нельзя ли выбрать другое время?

— Ах вот что! — вскинулся сотрудник. — Вы тут заодно-о-о... Группы! Сговор!

— Додик, а Додик, — вдруг тихо, миролюбиво, вкрадчивым, заговорщическим голосом позвал из своей прорези Вадик.

— Что? — тоже тихо, как сообщник, откликнулся тот.

— Додик, — тихо сказал Вадик в ухо сотруднику, — ты дал супу соль? — Вадик захлопнул один глаз, скривил с той же стороны рот и, по идее, должен был бы для усвоения ответа приложить к своему уху рупором ладонь, если б она у него была. — Ась? Не слышу...

Сотрудник отгьял ухо от губ Вадика, взгляд его вдруг в испуге остекленел — так бывает с неоднократно битыми подлецами, которые, придя в неизвестное место, всегда нервничают и держат наготове в глазах ужас от того, что вот дверь вдруг откроется, ворвутся люди и, показав на него пальцами, кричат кому-то в коридор: «Он здесь! Он вот он! Бейте его!» Вадик же кивнул на пустую постель у окна.

— И второй к тебе вопросик, — сказал Вадик. — Куда ты дел наше-го Абрашу? А? Куда ты отчаливаешь, а? Ушко! Ушко! — вдруг завопил Вадик по-блатному, без тормозов. — Ухо сюда, сука рва-а-ни-нья-й-а-а-а!

Тут вбежали Гололобов с ассистентом, началась какая-то возня, Паша провалился в полубеспамятство, плохо соображая, что с ним, где он, с кем, куда его волокут... Единственное, что стучало у него в мозгу, было — достали, достали, гады... Когда немного прояснилось в голове, он почувствовал, что его положили на что-то холодное и липкое, вроде клеенки. Именно в этот момент он ощутил, что лишился своего обоняния, да, он ничего не чувствовал своим носом, будто все вокруг в мире или перестало пахнуть, или пахло стерильным, дистиллированным, безвкусным раствором.

— Вы знаете, что с первого января ввели дисциплинарные вкладыши в паспорт? — раздалось сверху.

Паша не поддался, он не открыл глаза и молчал, но он знал, что с начала года в паспортных столах по месту жительства выдавали для паспортов вкладыши, наподобие тех, какие есть в водительских правах, и при нарушении государственного кодекса морали в этих дисциплинарных вкладышах делались просечки. У Паши их было уже две.

— Не хотите отвечать, не надо, — сказали над Пашей. — Наша обязанность довести до вашего сведения, что ваше дело было направлено в комиссию по усыплению при райисполкоме, так как вам во вкладыше поставили третью просечку. Вы виновны в преступном утаивании от государства важных сведений, наносящих ущерб обороноспособности страны.

Паша молчал, зажмурясь.

— На основании решения комиссии, — продолжал голос, — вы, Раскладушкин Павел Николаевич, приговариваетесь к усыплению. Решение приводится в исполнение сейчас же...

— К какому усыплению?! — кричал, открыв глаза, Паша. Он увидел огромного человека с листком бумаги. Тот схватил Пашу и поволок в соседнюю комнату, оказавшуюся пустующим помещением гражданской обороны. Там в присутствии представителя санэпидемстанции и врача этот громадный человек с высоко поднятым шприцем подошел к Паше, грубо закатал ему брючину и, повернув шприц на свет иглой вверх и выпрыснув в воздух маленький фонтанчик, замахнулся иглой для укола. Паша зажмурился.

— Ну что, не скажешь, падло?! Последний раз спрашиваю! — услышал он сзади возле уха шипящий голос. Впервые смердящий тот ничем тотovým не пах!

Паша молчал, он не открывал глаза, он решился, он ждал, он приготовился, сжавшись и прикусив губу. Ему представилось, что он в кустах орешника, там, там он спрятался, маленький, гладкий, — жучок, и было тихо, покойно, но потом он ножкой запутался в каких-то стебельках, ворсинках, быстро открыл глаза и увидел, что он в чьей-то бороде, и кто-то сбривает его орешник, его прибежище, и уже виден просвет, там сбоку все редело, и он закричал, но понял, что кричит не он, а какой-то человек, ворвавшийся в кабинет гражданской обороны, за ним с топотом вбежала вся райисполкомовская комиссия по усыплению. Кричавшим был председатель. Сквозь гул в голове и как бы рев трибун Паша смог разобрать слова председателя, что решение об усыплении срочно отменяется. «А в чем дело?» — расслышал Паша недовольный голос представителя санэпидемстанции. И тут председатель комиссии запыхавшимся голосом сообщил, что пришла срочная телефонограмма: этому приговоренному к усыплению, оказывается, час назад присудили Нобелевскую премию, и его надо срочно привести в порядок, потому что он вылетает в Стокгольм и должен быть в форме.

— Понимаете, в полной форме, — кричал председатель, — ему придется выступить с Нобелевской речью, там будет публика, телевидение, там будет этот их король Густав... четвертый или четырнадцатый или, черт его знает, какой там по счету у этих шведов Густав!

И у Паши отходило, отмякало в груди от этих слов...

«РЕЧЬ П. Н. РАСКЛАДУШКИНА (СОВЕТСКИЙ СОЮЗ) ПРИ ВРУЧЕНИИ ЕМУ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ В СТОКГОЛЬМЕ 11 АВГУСТА 199... ГОДА (СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)», — прочел Паша на страничке белой бумаги. Он перевернул то, что держал в руке, — это был свежий номер журнала «Химия и жизнь». Паша похолодел: как, уже напечатали? еще до произнесения? еще только вынашиваемый замысел? эскизы и наброски давних затаенных мыслей?... Но он быстро спрятал журнал в плотную коробку из-под конфет (страхделегат Никишкина приносила), потом втянул коробку под одеяло. Сердце Паши колотилось, он медлил с чтением. С минуту он лежал неподвижно, потом нашарил рукой коробку. «Надо же, — усмехнулся он, отвлекаясь, лишь бы потянуть время, — надо же, вот закрыл коробку и средь бела дня образовал призму рукотворной темноты, и тут же она породнилась с дальней полпланетной ночью, была взята под опеку громадной незримой вселенской мглы, разве не так?» Он нащупал коробку, втянул журнал, накрылся одеялом с головой, согнул ноги в коленках, образовав внутри некоторый объем пустого пространства,

включил карманный фонарик, развернул журнал и приступил к чтению, быстро водя лучиком света по строчкам.

«Дамы и господа! — прочел он. — Товарищи! («Это-то тут зачем?» — сконфузился Паша). Ваше величество! Я благодарен Нобелевскому комитету Королевской шведской академии за высокую честь, которую... — Паша пропустил пару абзацев протокольных фраз; но дальше, кажется, пошло в его духе. — Да, я благодарен за премию, за возможность выступить с Нобелевской лекцией, но я категорически отказываюсь от денежного вознаграждения. Для меня это даже как-то дико, господа... Ведь эту денежную премию учредил господин Нобель, изобретатель динамита и детонатора, и мотивы моего отказа лежат на поверхности. Да, он гений, но неужели вы могли допустить мысль, что я приму проценты от таких денег?! Ха-ха! — Паша под одеялом расхохотался каким-то сухим, деланным риторическим смехом. — Впрочем, господа, это укрепляет меня еще больше в моей идее, которая поначалу кому-нибудь и покажется химерой. Кому-нибудь, но только не тебе, Аполлинарий. (Паша, помнится, обвел зал медленным взглядом и выдержал паузу). Задумайтесь, господа, ведь неспроста именно в нашем столетии произошли такие открытия и события, про которые можно сказать: никогда человеческий разум не поднимался столь высоко, и — одновременно — никогда человеческий разум не ронял себя так низко! Многое, слишком многое в истории XX столетия подорвало престиж разумности вообще. Сапиенсность дискредитирована в глазах человечества... Ничего, кроме «чистых» бомб, заражения природы и комиссий по усыплению людей хваленый разум породить уже не может. Если его не остановить, не пресечь — он изобретет еще более ужасное... непоправимое... Это ли не... (кто-то вошел в палату. Марина? Гололобов? Не мешайте! Дайте дочитать!! Ну вот, потерял строчку, перебили, где-то здесь)... в общем, господа, перехожу к главной мысли: пришла пора отказаться на время от сапиенсности, пришла пора диаметрально перееначить известный афоризм Декарта и провозгласить: «Я не мыслю — следовательно, я существую!»

(В этом месте, помнится, в зале раздалось несколько хлопков, Паша перевел дух, поискал глазами короля Карла Густава XVI, не нашел и продолжил речь.)

«В моей стране недавно была трагически пресечена попытка изготовить взрывчатку из мозга моих соотечественников. Это же надо додуматься, господа! Завтра сырьем для орудий убийства могут стать все. Остановите гадину разумности, господа! Бодрствующий мозг порождает чудовищ! Мозг — величайший источник токсинов зла! Умники — вот монстры, рожденные на фермах декоративного человеководства!»

Тут опять кто-то зааплодировал. Поощренный, Паша продолжал:

«Когда-то, господа, мне была бесконечно дорога мысль Пьера Тейяра де Шардена о том, что для инопланетянина первой особенностью нашей Земли показались бы не синева ее морей и зелень ее лесов, а фосфоресценция мысли, свечение ее ноосферы. Да, я тоже верил в разум. Но мы все стали свидетелями его чудовищной измены. Мы рогоносцы разума, господа. — Паша сделал в своем укрытии отдушину, стал медленнее водить фонариком по строкам. — Да, господа, сомнения рассеяны, решимость созрела. Каждый месяц промедления грозит новыми несчастьями, ничего, кроме нового зла, они не принесут. Слушайте же меня все. Я открыл способ коллективного погружения в анабиоз спасительного безумия.

Вы слышите меня? Люди мира — давайте ополоумеем! Да, я безбоязненно произношу этот призыв. Мне теперь ничего не страшно. Чем мне могут угрожать? Усекновением главы? Какая смехотворная кара — ведь голова есть вместилище ненавистного мне разума! Сгиньте, сгиньте вы, высоколобые, мертвоглазые и потнорукие!.. Я проклиная вас!

О, я счастлив известить вас о своей идее. Надо сделать перерыв. Спасительную паузу в развитии. Там, за порогом сознания, лежит обетованная земля беспамательства и бездействия, там, в сумерках уходящей рефлексии, пасутся длинношеи животные, трепещущими губами срывающие звезды, как листья... Как они грациозны, как мерцают их нагулянные тела, как сквозь шкуры серебрится в их жилах лучистая кровь! Бегите же умников, отриньте идолопоклонников здравого смысла. Не верьте ни одному их слову. Они опять обманут. Гадина разумности коварна и ненасытна, она вы-

слеживает наши души, выедавая из них свет, наивность, веру, мечту. — Лицо Паши просветлело. — Вспомните своих братьев меньших. Я вижу перед собой покойную Джерри, я вижу Дину, по которой здесь, в Стокгольме, ужасно скучаю... Вот образчик! Вы только представьте, кто входит в мир нашей агрессивной разумности, — входит верный, добрый, доверчивый, трогательный в своей дурашливой неразумности пес. Понимаете? — обаятельный своей неразумностью, а потому невинный. — Глаза Паши увлажнились, и он дальше стал говорить, оторвавшись от текста. — Нет, нет, не верьте, господа, ни единому слову умников. Наша задача — сходить с ума — поодиночке, группами, кварталами, народами, континентами. Вы чувствуете блаженство быть безрассудными и пустыми, как воздушные шары, бескорыстными и невинными, как воздушные поцелуи? — Паша скинул с головы одеяло. — Эге-гей! — протяжно воскликнул он, сделав руки рупором. — Эге-ге-гей! Мой клич проносится над океанами и материками. Эге-ге-гей! Мозг пустеет. На прежнем месте растут корнеплоды. Это стуски смердящей разумности. Вырвем их смелой рукой!

Эге-ге-ге-ей! Снизойдите на нас, фантомы грядущего умопомрачения, кукушка, прокукуй из заоблачной страны вирии, где спит беспамятное неведение... Настигните нас, отнимите у нас разум, вы, эльфы, и вы, парки, плетущие нити жизни, и вы, норны, опойцы, вовкулаки, и вы, мары, никсы, мойры, упыри, и вы, керы, идисы, лаумы и цверги. Отдадим этот дар обратно данайцам, слышите вы меня, инженеры и мажордомы, феллахи, бизнесмены, акушерки, металлурги, спортсмены, священнослужители, бойцы ВОХР, консержки, инвалиды умственного труда, латифундисты, кооператоры, люмпен-пролетарии, компрессорщики, вагоновожатые, миссионеры, бармены, космонавты, бедуины, партфункционеры, культуртрегеры и спарринг-партнеры, домохозяйки и военнослужащие, мужчины, женщины, старики, дети, мистеры и миссис, товарищи и гражданки, пани и панове, синьоры и синьориты... Все! В назначенный час. Сегодня в полночь. Без различия гражданства, социальной и партийной принадлежности, возраста, пола, расы, вероисповедания. Впадаем! В спасительный анабиоз умопомешательства. Все — кроме дежурных. Да, оставим контрольные команды дежурных — одна сиделка и один врач на десять тысяч человек населения. Пусть мозг человечества пребудет в бездействии хотя бы несколько лет. Пусть прервутся губительная инерция, смертельный накат. Надо остановиться. Забыться. А потом, может быть, начать новую жизнь на других натуральных основаниях жизни.

Друзья! Я не преуменьшаю грандиозных трудностей нашего предприятия. Но спасения больше ждать неоткуда, это можем сделать только мы сами — паузой в гибельном нашем развитии... Так будем же готовиться к великому акту возврата билета, который мы получили из рук эво... Ой, Вадик, не колись, не колись своей бородой, Вадик, дай мне кончить, осталось совсем немного... Итак, господа, я знаю, не все сразу последуют за нами. О, это не так просто, не каждый сподоблен дара впадать в состояние полной, беспросветной, чистой бездумности, не омраченной ни единым проблеском сознания. Не каждому ниспослан дар ничего, ну ни-че-го-шеньки не понимать. О, я вижу, как дрогнуло сердце у самых лучших из вас, способных сбросить с себя невыносимое бремя бесноватой разумности. Мы решились, мы просим политического убежища у безумия. Приготовьтесь — поначалу нас будет немного. Но я спокоен. Мир всегда соблюдает равновесие добра и зла. Если в стан зла уйдут все и в стане добра останется лишь один человек, это будет Тот, который уравновесит мировое зло. Так и в нашем случае, господа. От каждой маленькой победы здравого смысла тучнеет, утверждается ненавистная диктатура сапиенсности, алчно вербующая в свои ряды новых клеветов. Но дайте пример, произведите один маленький абсурд, легкий мык бессмыслицы, околесницу — и нашего полку прибыло, и мы уже сильнее. Если даже в идолопоклонники разумности запишется все человечество, а в нашем стане останется всего ОДИН-единственный безумец, это будет Тот, который уравновесит враждебные миллиарды. О, тут, господа, совсем другая арифметика, и это даже и не арифметика. Этот ОДИН будет князь INSANUS, и он один не даст миру погрузиться в пучину сапиенсности.

Впрочем, я уже вижу, как с каждым часом нас будет все больше и

больше. За нами будущность, друзья! Мы — родоначальники великой спасительной паузы в роковой момент истории человечества, и я, как герольд, исчисливший чистоту королевского рода, провозглашаю, что именно мы, homo insanus, наследуем род достигших тупика homo sapiens'ов. На генеалогическом древе человечества мы — последний и спасительный плод.

Без сомненья, очень скоро за нами пойдут — а куда они денутся? — легионы этого пресловутого большинства... но не последователей, а последышей. Они придут, но, как всегда, придут с запозданием, обесчестив себя тем, что их обошла слава первооткрывателей, слава пионеров и рыцарей умопомрачения, слава аристократов безумия, которое венчает образ мыслей истинных интеллектуалов нашей переходной эпохи. — Паша перевел дыхание. — Скорей всего, первых из нас они запрячут в сумасшедшие дома. Но я верю — энергия нашего замысла облучит и их во всем мире. Для успеха нашей миссии не надо никаких конгрессов, пресс-конференций и обществ дружбы. Каждый из нас в своей собственной стране потихоньку, про себя, умышленно теряет рассудок, но напоследок бросает в мир клич следовать его примеру. Всего несколько слов — но страстных, несуразных, таинственно неотразимых. И это и будет актом публичного оскпления разума.

Я беру на себя миссию сделать это в своей несчастной стране. Я знаю, на что поднимаю руку. Скорей всего, меня объявят саботажником, агентом иностранного государства. Но я ко всему готов. Они будут трясти меня, злобно, пытливо заглядывать в глаза. Но я буду уже далеко, я буду уже для них недосыгаем. И они уже ничего не смогут со мной сделать. Главное, друзья, — это умертвить в себе всякую мысль, ибо в ней и гнездится страх. За эту ниточку страха они обычно и вытягивают из нас все. А тут ниточки и нет. Несмышленные мы. Безмозглые. Бесстрашные. Свободные... — В глазах Паши сверкнули слезы. — Вот почему я говорю вам, обновленным: страха больше не будет, мы его победим. Вот вижу, Боже! Что вижу — прохожие замедляют шаг, озираются, они обходят нас стороной. Быстроглазый мальчик задержится на минутку, но дернет его за плечо родительская рука. Опустеет площадь, повиснет в воздухе мой одичалый клич, и из-за угла появятся они — три фигуры в белом. Прощайте! Это за мной. Опять эти огромные пальцы, господа. Залежи грязи под ногтями, сколько бактерий! Я задыхаюсь, я не могу дайте последнее сказать господа Аполлинарий дайте последнее...»

— Паш, дорогой, что с тобой, Паш?.. — услышал он сквозь рев трибун голос снизу и слева. Его теребили.

— Не надо, не надо. — Паша закрылся руками. Он захныкал, как маленький, сжался в комок. Но те наседали. И тогда у него остался один шанс к спасению — убежать в заросли орешника, принять вид жука-нарывника или богомола и затаиться там, а если они его найдут, то быстро упасть на спинку, прижать ножки к брюшку, замереть и притвориться мертвым.



Константин ВАНШЕНКИН

Поздние уроки

ИЗ КНИГИ «НОЧНОЕ ЧТЕНИЕ»

* * *

Российские интеллигенты! —
Из прошлого благая весть
И те мечты, и те легенды...
Они сегодня тоже есть.

Те удержавшиеся листья
Среди неслыханной зимы,
Исполненные бескорыстья
И долга... Вряд ли это мы.

Гамак

Когда-то с книжкой в гамаке
Уснула меж скрипящих сосен.
Смеялись дети вдалеке.
Но сон был долог и серьезен.

Он гнал со свистом под откос...
Она ж как роза в целлофане,
Порою привлекая ос,
Спала в цветастом сарафане.

Сентиментальное тепло
Копилось медленно по стенкам,
И время явственно текло
Уже с трагическим оттенком.

* * *

Ты умела, когда уезжала
Нагостившаяся родня,
Ни усмешки вдогонку, ни жала
Не позволить, свой образ храня.

Ты умела, над пыльной листвою
Из окна помахав с высоты,
Прислониться ко мне головою
И шепнуть, как соскучилась ты.

* * *

Затянутые крепом зеркала,
Перед которыми когда-то ты стояла,

Оглядывая всю себя сначала
И гребень вытащив, что из дому взяла.

Я стойко дожидался в стороне,
Пока ты управлялась с туалетом,
И как всегда была твоим ответом
Улыбка, обращенная ко мне.

* * *

Врачи не приходят в печали
На похороны пациентов,
Которым немало вручали
Советов глубоких и ценных.

Спешили, стремились, лечили,
Сочувствовали открыто.
Но те, к сожаленью, почили,
И все это словно забыто.

И люди оценят едва ли
Усилья, что были когда-то,
Однако в итоге не дали
Желаемого результата.

Траур

Траур — ленточку к рукаву
Прикрепляли вдовцы когда-то.
Но без этого я живу —
Не для взглядов моя утрата.

И в суровом своем краю,
Как бы сбившись на миг со счета,
До конца не осознаю —
Всё надеюсь еще на что-то.

Экспресс

Я с Галей и с Катей стою,
Смотрю напряженно,
Чтоб тень золотую твою
Заметить с перрона.

На нас накатившийся стресс
Мгновения длится.
Так быстро проходит экспресс,
Что смазаны лица.

Он вмиг исчезает из глаз,
Иль грезится это...
Ты, может быть, видела нас?
Но нету ответа.

* * *

У памяти осталось на примете:
Не только средь кромешной темноты,
Но при уже качнувшемся рассвете
Проснись и не пойму — где я, где ты.

Вся эта жизнь воспринималась нами
В такой острейшей общности одной,
Что я, сказать по правде, временами
Бывал тобой, а ты бывала мной.

Посетительница

Не болело и вдруг заболело.
Был покой, а возник непокой.
До чего уязвимое тело,
А защиты почти никакой.

В лучшем случае это таблетка,
В худшем случае это укол.
Возле койки стоит табуретка,
И пришедшая смотрит в упор.

На лице ее бледном забота,
Но повадка ее холодна,
И, по правде, не нравится что-то,
Как задумчиво смотрит она.

* * *

Бесконечны лица.
Но в толпе людской
Не с кем поделиться
Мне своей тоской.

Впрочем, среди лета,
Сквозь летящий дым,
Нужно ли мне это
И тем боле — им?

Поздние уроки
Жизни прожитой:
Лишние упреки
В адрес жизни той.



Ирина ОДОЕВЦЕВА

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ НА ВСЕГДА

РОМАН

Часть третья

Глава первая

— Нам надо с тобой серьезно поговорить, — сказал Волков. — Приходи вечером.

Теперь был вечер. Теперь происходил этот серьезный разговор. Луганов целый день ждал его с чувством, почти напоминавшим его прежний страх. И успокаивал себя. «Пустяки. Волков опять заведет речь о революции, о Великом Человеке. Ведь он разочарован, только не смеет себе признаться в своем разочаровании. И весь этот его монолог, в сущности, бесконечная тяжба с обманувшей его мечтой юности. Но пора бы ему понять, что мечта всегда обманывает. но на то она и мечта». А найти реальность, ту реальность, которую нашел он, Луганов, редко кому удается, редко кто живет в таком мире гармонии и покоя, как он теперь. Но в этом мире покоя и гармонии снова, как мышь, заскреблась тревога. О чем хочет говорить Волков? Не о Вере? Не о Вере ли?

Веру он с тех пор так и не видел. Устроить ее приезд было, по-видимому, не легко, иначе Волков непременно выписал бы ее сюда на несколько дней. Два раза в месяц приблизительно Луганов получал от нее письмо, однообразно-оптимистическое — «надеюсь, скоро увидимся», — однообразно-веселое, говорящее все о тех же ее балетных успехах. Иногда она писала: «У меня чудная новая шубка, тебе бы очень понравилась». Или: «Я заказала себе синий костюм у твоего портного». Но о новых знакомых, о поклонниках, о возможности как-нибудь по-новому устроить свою жизнь, хотя он постоянно просил ее считать себя свободной, не было ни слова никогда.

Он посылал ей письма через Волкова. Лучше Вере не получать письма на свой адрес от Луганова. Это могло помешать ей и ее карьере. Возможно, что за ее перепиской следили.

Может быть, это касается Веры? — сердце Луганова застучало громче. Казалось, было просто крикнуть: не томи! Куда ты гнешь? О чем? Но он по опыту знал, что Волков только зафыркает раздраженно и прочтет ему лекцию о том, что сразу в лоб ничего объяснить нельзя, что требуется для всего подготовка, логическая связь между причинами и следствиями, без которых ничего не удастся ясно понять. Все это было слишком хорошо известно Луганову, и все-таки он не сдержался.

— Ответь только — ты о Вере хочешь говорить?

Волков остановился на полуслове и заморгал, будто спросонок.

— Что? О Вере Николаевне? Разве я обещал говорить о ней?

— Нет, нет, — заторопился Луганов. — Я думал: не больна ли она, не случилось ли с ней чего?

Волков пожал плечами.

— Что им, этим балеринам, делается? Пляшут себе и другим на радость. Порхают от успеха к успеху.

— Так продолжай. Я слушаю. — Луганов удобнее уселся, закурил новую папиросу и стал следить за кольцами. Кольцо дыма долетело до лампы и медленно и бесследно растаяло в ее свете, растаяло, как его тревога о Вере.

Волков говорил, иногда характерным жестом поправляя ремень. Говорил отчетливо, то повышая, то понижая голос, то останавливаясь, будто делая паузу для аплодисментов. Теперь, успокоившись, Луганов слушал, наслаждаясь воскресшим из прошлого часом близости друга. Он закрыл глаза — ему показалось, что они перенеслись назад, туда, в их петербургскую квартиру, в их молодость. Мишук, блестя сине-черными глазами и характерным жестом оправляя студенческую тужурку, ораторствовал возле пыхтевшего самовара. Лампа низко спускалась над круглым, нарядно накрытым столом, освещающая тонкие руки мамы Кати, разливавшие чай в голубые гарднеровские чашки, ее ласковую улыбку, ее светлые вьющиеся волосы. Совсем такие же светлые и так же вьющиеся волосы, как у ее сына Андриана, сидевшего рядом с ней в черной бархатной блузе. «Так же ораторствует и я так же его не слушаю», — подумал Луганов и почувствовал, как сильно он любит Волкова.

Любовь... С любовью дело обстояло не совсем удовлетворительно. Любить дальних, абстрактных людей было легко. Но любить ближних — сотрудников газеты, встречаемых, толкавшихся на улице, хозяев квартиры — было не только трудно, но почти невозможно. Сколько бы он ни думал о любви, как бы ясно ни понимал, что без любви нет спасения, он не умел заставить себя полюбить их. И сейчас он с умилением чувствовал, что любит Волкова. В груди стало тепло, и счастливая дрожь пробежала по горлу.

«Чем я заслужил такого друга? — подумал он взволнованно и благодарно. — Такого, что его нельзя не любить?»

Он совершенно перестал слушать, он был занят собой, своими чувствами. Все, что говорил Волков, нисколько не касалось его. Но вдруг он прислушался.

— Война неизбежна! Самое позднее — через две недели будет война.

Война? Неужели? А он не знал. Он хотел верить, что России удастся избежать войны.

Волков сделал паузу. Нет, на этот раз не для аплодисментов, а чтобы дать слушателям освоить положение.

Луганов вытянул шею. От резкого движения его сломанное плечо заныло.

— Война? Ты уверен?

— Абсолютно уверен. То, что я хочу предложить тебе, слишком серьезно. Я бы не начал этого разговора, если бы не был уверен в неизбежности войны.

Он прошелся по комнате и остановился спиной к окну.

— Сто семьдесят немецких дивизий стоят на границе Союза, — начал он снова. — От нашего города до границы триста километров. Считай. Наступая на Францию, немцы шли по тридцать километров в день. У нас они, вероятно, будут двигаться еще быстрее. Красная Армия на первых порах будет «в порядке отступать», то есть бежать или сдаваться. Короче говоря, самое позднее через месяц в этом кабинете будет сидеть немецкий комендант. Я буду где-нибудь на фронте, а ты...

— А я? — Луганов тяжело привстал, опираясь на диван. — А я...

Волков раздраженно махнул на него рукой.

— Не перебивай. Дай мне все объяснить тебе по порядку.

Луганов молча смотрел на него. Война? Значит, правда, война? Нет, этому нельзя поверить, нет, он еще не верил. Волков постоял с минуту около окна, потом подошел к дивану, сел рядом с Лугановым и положил ему руку на колено.

— Да, — сказал он, — война. Да, — повторил он и покачал головой. — Ты не видишь жизни. С тобой нельзя говорить просто. Ты полон интеллигентских предрассудков.

Луганов нетерпеливо сбросил его руку со своего колена.

— Говори просто. Прямо и просто. Без этих твоих фокусов.

— Нет, прямо с тобой нельзя. Ни прямо, ни просто. Не понимаешь ты многого. Постараюсь тебе растолковать. Авось поймешь. Хотя и не поручусь, что поймешь. Голову на отсечение не дам. Нет, ты, Андрей, не понимаешь советской действительности и никогда не понимал.

Он снова встал. Стоя ему было привычнее говорить.

— Возьмем хотя бы твою историю. Ты проклинаешь день и час, когда сочинил эту эпиграмму.

«Откуда он взял? — подумал Луганов. — Я никогда не говорил ему. И уже давно не жалею, совсем не жалею. Это он, а не я не видит действительности. Или, вернее, ни он, ни я. Никто не видит. Каждый видит только то, что сам воображает. Каждый живет в своем собственном, им самим созданном мире. Оттого-то так и трудно понять друг друга». Мысли его приняли обычный ход, но он усилием воли прервал их и стал слушать. Ведь во всех этих разных мирах для всех живущих в них русских людей одинаково будет война.

— Ты терзаешь себя, — продолжал Волков, — зачем прочел эту проклятую эпиграмму. Ведь мог не сочинить, ведь мог не читать. И ничего бы не случилось. И был бы ты по-прежнему знаменит и счастлив. Нет, друг мой. Ошибаешься. Случилось бы. Все равно случилось бы. Не это, так что-нибудь другое. Не в этот день, так через месяц, через полгода. По другому поводу, в другой обстановке. Но твое падение было неизбежно. Непременно нашелся бы и повод, и подходящая обстановка. А этого ты не хочешь, не можешь понять.

Ведь твоя эпиграмма, в сущности, была невинная шутка. В Америке, во Франции такие шутки о президенте республики распеваются с эстрады и печатаются в юмористических журналах. И ты недоумеваешь, почему за такую невинную шутку Великий Человек обошелся с тобой так жестоко. А я считаю, что он еще мягко обошелся с тобой. Если знать советскую действительность и твердо учитывать момент, удивительно, что не воспользовались поводом и тебя сразу, без проволочек, не вывели в расход. То, что ты уцелел, что ты находишься здесь почти что на свободе, удивительнее, чем твой арест за невинную шутку. Но не строй себе иллюзий. Ты сохранил существование, но навсегда выпал из советской жизни. В советской жизни для тебя больше места нет. И никогда уже не будет. Не веришь?

Ну да, еще недавно такие люди, как ты, были очень нужны. С вами возились, за вами всячески ухаживали. Вы ели советский хлеб — белый хлеб, густо намазанный маслом. Вас отпускали в заграничные командировки. Вам платили огромные гонорары. Вас перевозносили в печати. У вас были особняки и машины. Обеспеченные, знаменитые, признанная гордость Советского Союза, вы почти не касались советской действительности. Вы жили личной жизнью. А личная жизнь, которой вы так широко пользовались, считая ее своим неотъемлемым правом, была еще большей роскошью, еще большей редкостью, чем особняки или автомобили. Вы ведь не были англичанами или французами, для которых личная жизнь действительно неотъемлемое право. Вы были советскими гражданами, а в Советском Союзе никто давно не имел личной жизни — кроме вас, никто не имел, — ни партия, правящая страной, ни скрученные партией в бараний рог советские граждане. Никто. Вам одним, людям искусства и науки, было позволено до поры до времени жить вне подневольного труда, недоедания и вечно го страха, в котором жила вся страна. Кстати, о страхе, которого не знали вы. Страх — шлак, отброс производства государственной машины. Ценный, нужный отброс. Отлично идет в дело. Удобряет почву. И одних вас не касалась и железная дисциплина партии. Но вы жили сами по себе под вашим стеклянным колпаком, как цветы в оранжерее, которым дела нет до непогоды. Вам позволялось очень многое, давно запрещенное рядовому гражданину. Даже легкая оппозиция вам разрешалась. Напиши ты свою эпиграмму лет десять тому назад, ты, конечно, мог бы лично прочесть ее Великому Человеку. Он бы не рассердился или, вернее, не показал бы вида, что рассердился. Напротив, мог бы даже пожаловать тебе лишнюю премию своего имени. «Луганов что-то будирует, Луганова надо приласкать. До поры до времени он нам еще нужен».

Вот как взглянул бы тогда Великий Человек на твою эпиграмму. Ты был нужен. Очень нужен. Не ты лично и даже не твой талант. Твой пре-

стиж, твое имя, твоя порядочность, твой интеллигентский независимый склад ума. То, что ты вернулся в Союз из-за границы, не пожелав бороться оттуда с советской властью, было нужно и ценно.

Дело было совсем не в твоих книгах. Не такие книги нужны партии. Впрочем, нужные партии книги писались и без тебя и тебе подобных — писались на все сто процентов.

Вспомни, кто из русской интеллигенции оказался сразу на нашей стороне, кроме членов партии, конечно. Даже Горький, старый друг Ленина, отшатнулся от нас и уехал за границу. Правда, как и ты, на время. Писатели, художники, ученые, примкнувшие к нам немедленно, были почти без исключения отбросами интеллигенции. Тогда, вначале, мы и их очень баловали. Они были нам очень нужны тогда. Одна из наших ставок вообще была на человеческие отбросы. Она оказалась беспроигрышной. Наши ряды сразу пополнились. У нас сразу завелись необходимые нам офицеры, юристы, дипломаты — почти все они были авантюристы, жулики, сбежавшиеся на запах жареного. В свое время они нам здорово помогли. И в свое время, когда грянет, наконец, мировая Революция, опять помогут. Не те, конечно. Те давно умерли от раздольной жизни, сифилиса или кокаина, а которые не догадались умереть, ликвидированы нами. Помогут подобные им в Европе. Они и теперь нам помогают, мы и теперь уже их подкармливаем. Они не ошибутся в расчете на власть, на деньги, на легкую, привольную жизнь, которая их всех ждет, когда мировая Революция грянет. Не рассчитывают они только на ликвидацию их, когда пройдет в них надобность. А ликвидируем мы их непременно.

Луганов вдруг шумно вздохнул и завозился на диване.

— Короче, — взмолился он, — короче! Зачем все эти отступления?

— Иначе не умею. Могу совсем замолчать. — В голосе Волкова слышалась обида.

— Нет, нет! — заторопился Луганов. — Но раз это меня касается, мне, естественно, хочется скорее знать, куда ты клонишь.

— Очень уж ты нетерпелив, Андрей. Без подготовки...

— Ну, хорошо, хорошо. Продолжай свою подготовку, свои экскурсии в прошлое. Я слушаю.

— Ты уж потерпи! — Волков коротко засмеялся. — Сам знаю за собой недостаток говорить пространно, повторять знакомые вещи. Сам над ними смеюсь, а не умею иначе. Привычка. Ты уж извини, уж потерпи. Для твоего же блага, Андрей.

— Ну, продолжай. — Луганов кивнул. — Обещаю — больше не буду тебя прерывать. Но не томи, если можно. Ты сказал — война.

— О войне потом. Теперь о тебе. Так вот. В огромной машине советской власти, окрепшей, но тогда еще не окончательно, участие такого Луганова было важно. Важно для страны. Важно для престижа за границей. Важно — представь себе — для самого Великого Человека. Он ведь тогда только исподволь, осторожно прибирал власть к рукам. У него были враги и какие враги — вся старая ленинская гвардия, все самые талантливые люди на партийных верхах. Все они стремились его уничтожить. А время устраивать показательные процессы изменников еще не пришло.

Имена друзей Великого Человека, теперь такие громкие, тогда еще никому не импонировали. Но Луганов импонировал. Мейерхольд импонировал. Есенин и Маяковский импонировали. И их баловали и берегли. Помнишь, как по всем участкам Москвы был дан приказ: когда пьяный Есенин устроит очередной дебош, будет бить зеркала и кричать: «Бей коммунистов, спасай Россию», — не составлять протокола, а мягко, бережно вывести Есенина под ручки и на автомобиле доставить домой? И Великий Человек, сам отдавший это приказание, при встрече с Есениным, смотря на него добродушно, как он один умеет смотреть, и отечески грозя ему пальцем, говорил: «Не снести тебе головы, скандалист. Ухлопают тебя по пьяной лавочке. Не тебя жалеть буду, талант твой жалеть буду». Что такое была бы, повторяю, тогда твоя эпиграмма? Шутка, вздор. Но годы шли, и все коренным образом изменилось. Ты не заметил этого, пока над тобой не грянул гром. У тебя ведь никогда не было чувства советской реальности, Андрей, не было и нет.

Вот у Есенина было. Подсознательное, конечно. Сознательно вряд ли он понимал. А бессознательно чувствовал и бессознательно правильно

поступил. Кричал: «Бей коммунистов». Пил. Плевал на все. Пил, плевал, скандалил оттого, что бессознательно понимал: сегодня еще можно, еще полная безнаказанность. А завтра, какой пайньюк себя ни веди, все равно попадешь под колесо. Тонко чувствующая, поэтическая была натура. Весь на интуиции, на вдохновении. Пил, хулиганил, а когда пришел срок — сделал самое правильное, что мог сделать, — повесился. Он, ты знаешь, на рассвете повесился. Выражаясь по-вашему, по-литературному, можно сказать — символистической была его смерть. Он покончил с собой, когда заря Великого Человека едва загоралась. Конечно, причины самоубийства нашлись — всякие там Айседоры и прочие жены — внучки Льва Толстого, непробудное пьянство и неудовлетворенность. «До свиданья, друг мой, до свиданья...», которое он кровью стихами написал, вместо: «Пришло время. Лучше уж я сам себя повешу, с собой покончу, чем вы меня прикончите».

Тогда солнце Великого Человека только всходило. Теперь оно стоит в зените. Под этим солнцем вашей породе независимых, свободолюбивых людей нет места на советской земле.

— Что ж, — снова перебил Волкова Луганов, — ты мне советуешь покончить с собой? Еще раз попробовать, но на этот раз удачно? А война тут при чем?

Но Волков только махнул на него рукой.

— Обещал молчать и слушать, так молчи и слушай. Не перебивай. Нет, не о твоём самоубийстве, я о твоей жизни хлопочу. Только не мешай, помолчи немного.

— Молчу, — отозвался Луганов с дивана, и Волков продолжал:

— Да, таким людям, как ты, нет больше места на советской земле. И вы исчезаете один за другим. Маяковский вот застрелился, оставив записку: «Любовная лодка разбилась о быт» — и так далее. Но что это значило? Это значило, что он, стреляясь, соблюдал приличие кодекса самоубийц: «В смерти моей никого не винить». А винить надо было и как еще! И Чека, и всю советскую власть, запутавшую Маяковского, доведшую его до этого. Не мог же он написать: кончаю с собой, пока меня не прикончила Чека. Он думал о своей биографии. А что более подходящее для объяснения самоубийства поэта, как неудачная любовь? Он правильно поступил, стреляясь, и правильно составил записку. Солнце Великого Человека всходило все выше.

А те, кто подобно тебе был самоупоен и нечувствителен к окружающему, не разбирался в том, что вокруг происходит и куда вас всех несет неизбежность, — что случилось с ними? Пильняк? Пильняк, отказавшийся когда-то принять поднесенный ему «Бенц» — не нравится мне эта марка, — и которому переменяли «Бенца» на «Паккард». Ты знаешь, как он кончил. А Мейерхольд? Знаменитость. Реформатор современной сцены. Правительство подарило ему не автомобиль, нет: «Паккард» или «Бенц» — мелочь. Правительство подарило ему театр имени Мейерхольда. Театр имени Мейерхольда — было высечено на фронте несокрушимо, рассчитано на сотни лет. Правда, надпись уничтожили в один день после его опалы. Кстати, кто из них раньше умер? Он или его жена актриса Райх? Ты ведь знаешь, ее не арестовали. К ее дому ночью подъехал автомобиль. И все в доме знали, что это значит, и дрожали. К кому? И когда из квартиры Райх понеслись стоны и крики, все остальные обитатели дома облегченно вздохнули: «Слава Богу, не к нам». Утром ее нашли мертвой, с выколотыми глазами, в разгромленной квартире. В «Правде» появилась заметка об очередном налете грабителей и убийстве ими актрисы Райх. Вот и все. Ни суда, ни следствия.

Телега с грохотом прокатилась по мощенной булыжниками мостовой. Первая яркая звезда блеснула в окне. Луганов молчал. Волков сделал паузу, подошел к дивану. Луганов крепко сжал челюсти. Если не мешать Волкову, он сейчас скажет, объяснит то, к чему он так издали ведет. Он сейчас скажет. Только бы не перебить его.

— Станный, странный вы народ, русские интеллигенты, — задумчиво сказал Волков после паузы. — Такие умные и в то же время такие отчаянные дураки.

Луганов отшатнулся. Так вот оно что. Пауза, отдых перед новым пробегом. И надо еще ждать.

— Отчаянные дураки, — голос Волкова окреп, — совсем, как те византийские мудрецы. Турки осаждают Константинополь, лезут уже на стены, а они спорят о Фаворском несотворенном свете. Перерезали их турки всех до одного. Так им и не удалось выяснить, какой такой несотворенный свет.

— Слушай, — перебил Луганов. — Это ты, кажется, сейчас о Фаворском свете споришь. Хватит, хватит! Не мучь меня, кончай. Ты начал о войне, потом обо мне. А теперь куда занесся? До Фаворского света дока- тился. Не мучь меня. Ведь у тебя доброе сердце.

Волков подошел к нему.

— Экий ты нервный, Андрей! Что значит человек за бортом. Разве ты раньше такой был? — Он покачал головой. — Вот ты говоришь, что у меня доброе сердце. А что ты подразумеваешь под этим? То, что я немного помог тебе выпутаться из грязной истории, которая называется «безвыходное положение знаменитого писателя в Советской стране»? Доброе сердце! Ты еще не знаешь, что я тебе предложу, но ты, конечно, уверен, что мое доброе сердце устроит твоё будущее. А сердце у меня, между прочим, совсем не такое, как ты воображаешь. Не доброе и не злое. Исправное сердце — вот какое оно у меня. Может выдержать любую нагрузку. Не забьется даже сильнее там, где твоё разорвалось бы. И сейчас, глядя, как ты корчишься от нетерпения и тоски, ты, мой единственный друг, стучит спокойно и ровно. В наше время, не спорю, это большое преимущество. Ты жил в советской оранжерее, откуда тебя выбросили на советскую помойку. Настоящей жизни ты не видел. Побывал бы ты, например, на раскулачивании... Вообрази только: вечером в деревне все, как всегда. Закат, стада идут домой, парни с гармошками, крестьянки в пестрых платочках, уютно, хозяйственно, свиньи хрюкают, коровы мычат. А наутро — бумажка. Привез ее прямо из Москвы какой-нибудь такой товарищ с исправным сердцем, вроде меня. Собирает он сход и читает бумажку. И сразу все летит к черту. Сразу — только он эту бумажку прочел — бабы ползают в грязи на коленях: не губите. Пожалуйста наших детей. Вой, вопль, крики. «Куда мы пойдём?». Не беспокойтесь, всем места заготовлены. «Никуда мы из наших изб не пойдём». Нет у вас больше ни изб, ни лежанок, ни печей, за которыми прячутся повсюду старые иконки. Проваливайте. Все это колхозное. Прикладами в шею мужиков, баб и детей. На грузовики, на подводы — и в товарный поезд. Пятнадцать, двадцать дней тянется такой поезд к месту назначения — на рытье каналов, строить советские чудеса где-нибудь в тундре. Половина прибывает уже трупами. Зимой — от мороза, летом — от тифа. Круглый год — от голода и жажды.

Только вот ты говоришь, что у меня доброе сердце. Представь себе только: вой, плач, бабы целуют сапоги. Товарные вагоны, набитые людьми, так что пошевелиться нельзя. Покуривал бы ты папироску спокойно, глядя на раскулачивание и покрикивая на подчиненных: «Живей! Что возитесь? Время не ждет!» Как бы твоё сердце чувствовало себя? А мое — как всегда. Билось, как ему полагается, ни сильней, ни слабей. работало на вверенном ему секторе, разгоняло кровь по артериям. И я тоже исполнял работу на вверенном мне секторе, больше ничего. И покуривал при этом. Не злой и не добрый, обыкновенный сознательный партийный работник. Хороший чиновник революции... Но в том и дело, что не совсем это так. И я доступен жалости. И как еще! И сердце у меня с царапкой, с червоточиной. Одним словом — брак. Никого не жалею на свете? Нет, неправда. Жалею. Тебя, Андрей, жалею. — Он вздохнул. — Значит, не такой я точный, выверенный аппарат, раз вот почти лирически расхныкался над тобой. Впрочем, не над тобой. Над прошлым. Есть и у меня такая иконка, что в моей памяти прячется. Никогда не влюблялся. А любил все-таки один раз в жизни, зато крепко, навсегда. Однолюб я, видно, хоть это и кажется смешно, не подходит ко мне. Полюбил я в десять лет маму Катю и так, несмотря ни на что, даже на ее смерть, продолжаю ее любить, будто она живая, только живет где-то далеко, за границей, что ли. Никому, никогда не говорил — стыдился. Романтизм какой-то. Не подходит мне совсем. А сегодня вот признаюсь, чтобы ты понял, поверил, что я тебе добра желаю. Что я это не для тебя, для нее...

Он оборвал, глядя перед собой. Луганова удивило мягкое, мечтатель-

ное и рассеянное выражение его обыкновенно таких внимательных, колючих глаз.

— Знаешь, она мне часто снится, — продолжал он почти шепотом, будто шепотом было не так неловко говорить о себе и своих чувствах. — Часто снится. И еще позавчера ночью снилась. И так странно. Я уже старый, такой, как сейчас, а она совсем молодая, как, помнишь, на портрете в гостиной. Совсем молодая и такая красивая, нарядная. И в волосах цветы. И платье шелковое, широкое, шуршащее. Обнимает меня, целует и все говорит что-то, быстро-быстро. Я слышу ее голос, а понять слов не могу. А она настаивает, просит, плачет. — Он провел рукой по лысеющему лбу. — Я хочу понять и не могу. Я проснулся и до утра уже не мог заснуть. Все думал — это она за тебя просила, конечно, за тебя. Ведь как она тебя любила!.. Тогда я и решил тебе предложить, тогда я и понял, что другого выхода нет. Верь мне, Андрей! Я тебя спасти хочу. Не для тебя только, а для нее. Верь мне! Даже своей карьерой рискну. Хотя вздор, карьера моя не пострадает. Пойми, поверь мне... Для нее это, для нее. Как она тебя любила, Андрей, как любила... — быстро и сбивчиво говорил Волков. — Поверь мне, другого выхода нет. Поверь!

За окнами совсем стемнело. Теперь все небо было в больших украинских звездах. «Тиха украинская ночь», — пропела в памяти Луганова пушкинская строчка. Там, в упитальной поэме, вслед за тишиной украинской ночи, за блещущими звездами на прозрачном, таком же, как сейчас, небе, тоже говорилось об ужасах жизни, о пытках, о невинно пролитой крови. И, как сейчас, на Россию тогда тоже надвигался враг...

Что там Миша толкует о советской действительности, о Великом Человеке, о писателях? Россию спасать надо. Всем, всем. Спасать, защищать от врага. Даже ему — со сломанным плечом, с рукой на перевязи. И сейчас, как и тогда, все для России кончится победой и славой. Все кончится еще небывалой победой и славой. Нет, рука на перевязи не мешает, и одной рукой можно защищать Россию, сражаться за нее, умереть за нее. Что он там вспоминает прошлое и маму Катю? Разве мама Катя — не часть той же России, того же русского прошлого, как Полтавский бой, как Пушкин? И разве, сражаясь за Россию, тем самым не сражаешься за память мамы Кати, и за эти звезды, и за пушкинскую поэму, за все прошлое, за все будущее России, с которыми он, Луганов, так тесно, так кровно связан? Ничего, что со сломанным плечом, с рукой на перевязи. И со сломанным плечом можно...

— Через месяц в этом самом кабинете будет сидеть немецкий комендант, — прерывая мысли Луганова, гулко и отчетливо прозвучал голос Волкова. — Через месяц, не позже. И я предлагаю тебе остаться здесь и перейти к немцам!

Луганов ждал, что Волков сделает ему какое-то предложение. Он был подготовлен почти ко всему. Но к этому, нет, к этому он подготовлен не был.

Ему показалось, что с потолка сорвался завиток лепного карниза и ударил его в лоб между глаз. И еще ему показалось, что он потерял сознание от этого удара. Но это, конечно, только показалось ему. Он продолжал сидеть на диване, в этом не было сомнения. Он по-прежнему видел ночное небо в окне и бледное лицо Волкова в волнах табачного дыма. Но все как-то странно переместилось, приблизилось и отдалилось, будто разрушилось чувство перспективы. Лицо Волкова, бледное и круглое, было где-то очень далеко, за окном, окруженное облаками, а здесь из табачного дыма, на фоне уныло-пестрых обоев, прямо перед Лугановым, мягким матовым светом светилась луна.

«Я пьян, — смутно и душно подумал Луганов. — Миша не говорил этого. Нет, я просто пьян». — Он нагнул голову, глядя на белевшую перед ним луну, и стал слушать. «Это кажется тебе чудовищным, — сказала луна, — перейти к врагу. Но помоги мне помочь тебе. Пойми».

Луганов шумно вздохнул и привстал. И луна, и лицо Волкова сразу поплыли перед его глазами и снова переменялись местами. «Я пьян, — повторил Луганов, — но ведь я ничего не пил», — вспомнил он снова и нагнул голову, исподлобья посмотрел перед собой. Но теперь перед ним был Волков, и это Волков, а не луна, говорил:

— Ты не хочешь перейти к врагу? Но ты только подумай, что будет

с тобой на Соловках или в солончаках Туркестана, а ты непременно попадешь туда или куда-нибудь еще хуже — в один из наших бесчисленных концлагерей. И я ничем не смогу тебе помочь. Я уже пробовал, всюду пробовал. Отказали. Единственное, что я могу для тебя сделать, это чтобы тебя эвакуировали в таких условиях, чтобы ты не умер по дороге. И даже это уже трудно. Но, скажем, ты доберешься живым до Соловков или Туркестана. А что с тобой будет там? Голод, цинга, вши. Восемнадцатичасовой каторжный труд. Словом, смерть в рассрочку. Ты будешь знать, что это — конец, что выбраться оттуда нет никакой возможности. Ты, Луганов, лучший русский писатель, заживо сгниешь, медленно, позорно, гнусно. Какой-то доктор сказал, что, если отрезать палец солдату и Блоку, — обоим будет больно, только Блоку — в тысячу раз больнее. И тебе будет в тысячу раз больнее умирать, чем твоим товарищам по лагерю. Последнее, что у тебя сохранится, — это сознание. Выпадут зубы, отвалятся отмороженные пальцы, ослепнут глаза. А мозг все будет жить и продолжать думать, думать, думать, мучиться, мучиться, мучиться. Да, так будет, если ты не послушаешься моего совета. Подожди! Не перебивай меня. Потом ответишь. Дай сказать. Ведь мне нелегко говорить это. Против себя, против всех моих убеждений — советовать тебе стать изменником. Но послушай, пойми. У нас разные точки зрения, мы должны различно рассуждать и видеть события. Если бы я был на твоём месте. Измена России? Вздор. Никакой измены России нет. Ты не России изменяешь, а только советской власти. И ты с своей точки зрения абсолютно прав, изменяя ей. Разве ты клялся в верности советской власти, разве ты приносил ей присягу? И даже если бы клялся, никакая клятва не устоит против того, что советская власть сделала с тобой. И за что? Ты был всегда лоялен по отношению к ней, честный, добросовестный попутчик, большего с тебя ведь и требовать не могли. А она с тобой вот что сделала. — Волков протянул руку к черной перевязи на груди Луганова. — И еще что собирается сделать? Ты прав, отрекаясь от советской власти и вступая с ней в борьбу. Прав! Стране своей ты останешься верным. И ты не только прав, но это даже твой долг. Твой долг поступить именно так. Твой долг перед Россией. Ведь ты, прежде всего, обязан сохранить свою жизнь, свой талант для России. Ты сам не раз говорил, что Толстой, Гоголь, Достоевский сделали для славы России больше, чем все полководцы, все выигранные сражения. И все-таки ты готов дать себя уморить, утопить, как шелудивого котенка, тебя и твой талант. Ты лучший русский современный писатель, и ты знаешь это. Тобой гордилась твоя страна, твои книги переведены на все европейские языки. Сколько ты еще можешь сделать для славы России, для ее настоящей славы! Но ты готов дать себя отравить, как крысу. Готов принять позорную, мучительную смерть. Из-за чего? Из-за душевной трусости, душевной близорукости, из боязни додумать до конца, нарушить нелепые, созданные средними людьми для средних людей законы морали. Но разве ты сам не смеялся над этими законами, разве ты средний человек, а не один из тех, которые создают законы, которые меняют представление о морали, которые могут провозгласить: дважды два пять и которым поверят? Нет, я не предлагаю тебе менять представление о том, что называется изменой своей стране. Я только хочу с тобой додумать до конца твое положение. Ты не хочешь изменить своей стране. А знаешь ли ты, чего хочет твоя страна? Не мечтает ли она сама об этой измене? Не будет ли шептать отец на ухо уходящему на фронт сыну: «Ты смотри, переходи к немцу. Немец нас от колхоза избавит». Другое дело, что мы таких шептунов — за ушко, будем расстреливать и будем правы со своей точки зрения. Но ты? Не окажешься ли ты как раз против своей страны, если безропотно покоришься дикой гибели, приговоренной тебе советской властью? Знаешь ты, чего хочет твоя страна? Не знаешь. Но ты, во всяком случае, должен знать одно — твоя страна хочет, чтобы ты жил. Ты обязан для России...

— Нет! — крикнул Луганов. — Нет! Я... никогда, что бы там...

— погоди, погоди, — властно перебил его Волков. — Дай мне кончить. Не предполагал я, что ты так косен, так весь во власти пустых формул и отживших принципов, что ты такой «преувеличенно-умеренный». «нормальный». Лучшего я был о тебе мнения, о тебе и твоём уме. Кругом такой вихрь закрутился, а ты со своей маленькой мерочкой «это можно,

этого нельзя» в хаосе хочешь разглядеть тропинку, ведущую прямо к добру. А ведь вокруг давно нельзя разобрать, где мрак, где свет, где добро, где зло, — все смешалось, как перед первым днем творения. Хляби под ногами — по твоей же Библии. И, творя добро, творишь зло и наоборот. Такая неразбериха пошла. А ты хочешь «нормально» поступить. Только нормы-то тут все уже разбиты, как старые кухонные горшки. Подожди! Помолчи! Ты русский. Ну, конечно, это непреложно. Русский — родился от русских родителей, на русской земле. И все-таки, прежде всего, ты русский интеллигент, а потом — просто русский. Принадлежность к интеллектуальному миру гораздо более характерна для тебя, чем твоя принадлежность к русскому народу. Ты прежде всего типичный интеллигент-западник. Твое место сейчас в Европе, где столько дорогих тебе могил и столько дорогих тебе единомышленников. Они, конечно, и по духу, и по мысли тебе гораздо ближе, чем я. Не говоря уже об остальных твоих русских современниках. Во Франции, в Англии, в Америке...

— Но ведь, — крикнул Луганов, крикнул оттого, что своим обычным голосом ему говорить сейчас не удавалось, — ты ведь советуешь мне врагу передаться, а не эмигрировать в Англию или Францию.

Волков пожал плечами.

— Подумаешь, разница уж не так велика. Передаться врагу? Конечно, немцы — враги. Вернее — твои враги по духу. Ты ненавидишь Гитлера не за то, что он враг коммунизма, а за то, что он отросток коммунизма. Но и в Германии далеко не все с Гитлером, и там много интеллигентов твоего толка. Ты только передашься немцам, ты только честно расскажешь им, откуда у тебя эта рука на перевязи. Засиживаться в Германии тебе нечего. Переберешься как-нибудь во Францию. А там и дальше. Брось твою душевную щепетильность, взгляни хоть раз правде в глаза. Тебе надо спасти свою жизнь. Это твой долг, повторяю. Твой долг перед Россией. А кто тебе поможет исполнить этот долг — безразлично. Ты не имеешь права дать себя уничтожить. Даже если для этого надо передаться немцам.

— Не могу, — хрипло крикнул Луганов, — не могу! С врагами против России. Всему изменить, друзьям изменить, всю русскую литературу изменить опозорить. Нет, нет! Чтобы мои друзья...

Волков подошел к дивану и сел рядом с Лугановым.

— Друзья твои? — Он улыбнулся вкрадчиво. — Серебряков, Багиров, Рябинин. Ты о них?

Луганов кивнул.

— Ты не можешь понять, что мы с ними были близки. Боюсь, что и так они за меня пострадали, но они теперь хоть могут жалеть меня, а если...

— Верил ты им очень? — перебил Волков, так же вкрадчиво улыбаясь. — А они тебе, конечно. Братья? Ближе, чем братья? А?

Луганов молчал.

— Па-ни-маю, — почти пропел Волков. — Не хотел я тебя огорчать, а придется, видно.

Он медленно, будто нехотя, встал, подошел к шкафу и раскрыл его.

— Эти твои братья-друзья, вот они где у меня. — Он достал с одной из полок тонкую папку. — То есть не они сами, а творчество их. Лучшее, священнейшее, заветнейшее, на что они способны. Не понимаешь, о чем я? А между тем это просто. О доносах я говорю. Вот они тут, их доносы, — он протянул папку Луганову, — их доносы на тебя. Не хочешь взять в руки, сам удостовериться? И так веришь? — Он пододвинулся к дивану, перелистывая папку. — Напрасно. Ведь любопытно. Все три друга-брата, каждый сам по себе, не сговариваясь с остальными, настроили на тебя донос.

— Неужели правда? — задыхаясь, спросил Луганов.

— Еще бы не правда! И даже обыкновеннейшая правда в нашем Советском Союзе. И как не донести? Ведь трое слушали, из троих-то один непременно донесет. Тогда и тем двоим крышка. Вот всякий и ловчится, чтобы не оказаться тем, которым крышка за недоносительство. А ты лакеев винил, соседей по столу! Все много проще — сами твои друзья-братья. И в каких еще выражениях! Почитать, что ли?

— Нет, ради Бога! Не надо. Не могу, не могу... — Луганов отвернулся и спрятал лицо в диванную подушку.

— Ну, ну, успокойся. Силой заставлять тебя читать не стану. Волков спрятал папку в шкаф.

— Не показывал тебе, знал, как тебе больно будет. Романтичен ты очень. В высокие чувства веришь. Но сегодня я, как хирург, операцию произвел. Надо было раз и навсегда твои иллюзии убить. Надо было, чтобы ты понял и согласился со мной. Ну что, ведь согласен теперь? А?

Луганов поднял лицо.

— Ты не торопись с ответом. — Волков протянул ему пачку папирос. Луганов закурил. Пальцы его тряслись. — Ты не торопись с ответом. Подумай за ночь. И завтра мне скажешь, чтобы я все приготовить успел. Ведь нешуточное дело.

Луганов подался грудью вперед, опираясь на здоровую руку.

— Не надо. Довольно. — Он как-то весь съезжился, болезненно морщась. — Довольно, ради Бога. Я хотел бы домой.

— Домой? Вот это правильно. Поговорили — и хватит на сегодня. Завтра ты мне свое решение сообщишь. Спорить с тобой я все равно не стал бы. Раз я вступаю в спор, я тем самым допускаю, что могу быть неправ. А я прав последней правотой, не допускающей сомнений. Последней правотой, — повторил он, повышая голос. — Непререкаемо! В особенности после того, как показал тебе доносы твоих братьев-друзей. — Он рассмеялся резким смехом. — А, черт, до чего договариваться приходится. — Он махнул рукой и крикнул: — Федоров!

Открыв дверь, он стал смотреть в коридор, ожидая шофера, будто стеснялся повернуться, увидеть белое, опустошенное лицо Луганова, будто сам хотел как можно скорее окончить это томительное «с глаза на глаз».

Шофер вошел и вытянулся перед Волковым.

— Отвезешь товарища Луганова, до комнаты доведешь и улечься поможешь. Нездоровится ему, — сказал Волков.

— Нет, — запротестовал Луганов. — Я здоров. Откуда ты взял?

Волков помог ему встать и ласково похлопал его по затылку.

— Ну, ну, больные, как пьяные, никогда не хотят сознаться. Известное дело. Подожди, я тебе веронал дам. Примешь на ночь. Я и сам бессонницей страдаю, знаю, какая это египетская казнь.

Он достал из кармана и протянул ему тубик.

— Две таблетки. Слон — и тот заснет. А утром на свежую голову все решишь. Впрочем, ведь и так решено. Другого выхода нет. Математика. Не поспоришь, Завтра придешь ко мне. Ну, спокойной ночи. — Он вышел проводить Луганова в коридор. — Спокойной ночи, — настойчиво повторил он, будто стараясь вложить в эти слова покой, которого желал для Луганова. — Спокойной ночи, Андрей.

Глава вторая

Но ночь оказалась беспокойной, несмотря на веронал. Это не была бессонница, это было много хуже бессонницы. Это был бесконечный дремучий сон, сон, происходивший в его комнате, сон, снившийся наяву. Дверь его комнаты открывалась, и в нее входила хозяйка квартиры с высоким шиньоном и лорнеткой на длинной золотой цепочке. Она на носках подходила к постели, к той постели, на которой спал Луганов, и, подняв ободки лорнета к близоруким глазам, осматривала постель, одеяло, простыни пустой постели, пустой постели, на которой спал Луганов. Она удивленно шуршала и вдруг начинала беззвучно смеяться, будто поняв, как и отчего постель оказалась пустой, несмотря на то, что в ней спит Луганов. За ней в комнату входил ее муж, бывший полковник, сохранивший еще военную выправку и отчетливость движений. Он, как с мороза, вытирал платком свои седые бакенбарды и откашливался. Они останавливались в углу и начинали быстро шептаться. «К немцам переходи, — шептал он, — к немцам! Немцы нас от большевиков избавят. Немцы нас спасут!» «Да, к немцам, к немцам, — отвечала она шепотом. — К немцам». Они шептали и шуршали в углу, как мыши. Луганов не видел их, а только их

тени на стене и тени германских касок, такие, как были в 14-м году, целые полчища германских касок двигались по стене. Дверь закрывалась и снова открывалась, и каждый раз Луганов просыпался, просыпался во сне. Но ведь это был сон наяву. Или это вообще не был сон. Граница между сном и действительностью вдруг исчезла, остались только эта комната и пустая постель, в которой, несмотря на то, что она пустая, лежал Луганов. Кто-то входил, кто-то выходил. Кто-то ходил по неизвестно откуда взявшемуся ковру. Тяжелые, тихие шаги, ноги, обутые в мягкие кавказские сапоги без каблуков. Туда и сюда, взад и вперед. От двери до окна, от стены до стены. «Up and down, to and fro», — вспомнил кто-то вместо Луганова.

...Шаги тихие, шелестящие по ковру, шелестящие шелестом старичков в углу. «К немцам переходи, к немцам»... И вдруг ритм шагов нарушался, будто теперь шагал кто-то еще. Но ведь дьявол был один, он один шагал up and down, to and fro по земле, по русской земле. Откуда же эти другие шаги, гулкие, будто подкованные гвоздями? Откуда?

Луганов приподнялся и увидел спину удалявшегося низкорослого, сутулого, шагавшего к двери. Лица его он не видел, но узнал его походку. Это был он. Но внимание его было отвлечено вторым, шедшим к окну, и Луганов увидел лицо того, второго. Лицо было ужасно. Оно было ужасно конвульсивно-разинутым ртом, беззвучно кричавшим что-то, безумным блеском широко раскрытых глаз, истерической неподвижностью застывших мускулов, будто превративших это лицо в маску ужаса. И главное — какой-то каплей комизма, чего-то издевательски-клоунского, делающего ужас совершенно непереносимым. Каплей комизма. Но что было комичного в этом ужасном лице? Усы! — понял Луганов. Да, усы, как у Чаплина. Ужас захлестнул его и смял. Он почувствовал, что весь обмяк, что шея его легко качнулась и голова проваливалась в подушках. Но шаги, перебивая друг друга, не перестали звучать разнорядно, взад и вперед, взад и вперед по русской земле. Все ближе и ближе, пока не зазвучали в его голове, в его груди. Это мое сердце, догадался Луганов. Это мое сердце. Мое сердце, моя кровь стучит оттого, что дьявол ходит по русской земле. Дьявол? Но отчего он не один, как на допросе в Кремле? Отчего их два? Отчего он раздвоился? Как мог он раздвоиться? И вдруг он понял. Дьявол раздвоился, чтобы вступить с самим собой в борьбу. Зло уничтожает зло, вспомнил он. Вступят в борьбу и оба погибнут в борьбе. Пожрут, уничтожат друг друга. Но он не мог смотреть больше, не мог перенести зрелища этой борьбы. Надо проснуться. Я должен проснуться. Я сейчас проснусь.

И он действительно проснулся. Это была та же комната. Но теперь никто не шагал по ковру, и никакого ковра не было, и никто не шептался в углу. Он лежал один в пустой комнате. И была ночь.

И, как всегда, теперь, когда он просыпался ночью, он почти машинально, стараясь не вспугнуть остатки сна, стал читать «Отче наш», отгоняя все мысли, все воспоминания, повторяя слова молитвы, включаясь в цепь, образуемую верующими, стараясь приблизиться к Богу, почувствовать Его присутствие.

«Да будет воля Твоя». Он остановился. Но в чем воля Бога? И что Бог требует от него? Он готов все исполнить, всему покориться. Но что ему делать?

Голос Волкова снова отчетливо проговорил: «Если ты не передашься немцам, тебя ждет медленная, мучительная, позорная смерть. Вывалятся зубы, потом отпадут отмороженные пальцы. А сознание все будет жить и мучиться. Ты представляешь себе, что такое восемнадцатичасовой каторжный труд?» Нет, когда он сидел в кабинете у Волкова, оглушенный, ослепленный предложением перейти к врагу, он ничего не мог себе представить. Но сейчас, в темноте и тишине ночи, он ясно увидел себя по колени в воде, с лопатой в здоровой руке. Он чувствовал, как зябнут мокрые ноги, боль в спине, в разбитом плече и в мозгу под черепной коробкой, почти не ощутимую, но тем более отвратительную, сладкую, тягучую тошноту.

Восемнадцать часов подряд. Голод, тиф, вши. Общие нары. Грязь, вонь, ругань. Чтобы в конце концов медленно, гнусно, позорно... О, если

бы можно было умереть! Здесь и сейчас умереть. Если бы он мог, как тогда в тюрьме... Но это было теперь совсем невозможно. Нет, о самоубийстве он ни на минуту не думал. Ведь тогда вся его вера оказалась бы одним воображением. Он восстал бы на Бога, отрекся от Него, он сам бы разрушил бессмертие и вечное блаженство, уготованное для него, как для всякого верующего. То бессмертие, по сравнению с которым личное бессмертие его как писателя было жалким и неосуществимым. Но передаться врагу было также невозможно. Выбора не было. Надо было покориться. Но когда Авраам заносил нож над Исааком, он все-таки верил, что Исаак ему будет возвращен. И Луганов верил, что, хоть и отвергает недостойный способ спасения, он все-таки будет спасен, избавлен от этой гибели. Чем, как спасен? Смертью. Другого спасения нет. Смерть должна избавить его от унижительных страданий. Смерть казалась единственным выходом, единственным спасением. Легкая, немедленная смерть. Для Бога все возможно. Раз я с Богом, значит для меня необязательны земные законы. Надо только верить.

«Отрекись от своего разума. Войди во тьму, где не светят ни разум, ни закон, но только тайна веры, которая с несомненностью возещает тебе, что ты будешь спасен, помимо и вне земных законов, во Христе», — сказал знакомый голос в его сознании, и второй, такой же знакомый голос продолжал: «Бог — это значит: зла нет, страданий нет и даже смерть неощутима. Надо верить и зависеть исключительно от Бога, полная зависимость от Бога освобождает от зла и страданий».

Знакомые голоса в его сознании, те же самые голоса, которые он уже слышал в тюрьме, перед тем как выбросился в окно. И опять два голоса заговорили, перебивая друг друга:

«Раз для него нет места на земле, Бог возьмет его к Себе».

«Живым на небо вознестись собирается? Помнишь, как Волков смеялся над ним в тюремной больнице?» «Нет, не живым. Нет, мертвым. Но грань между жизнью и смертью уже кажется уже ему такой определенной. Он уже неясно понимает, жив он или мертв... А может быть, жизнь и есть смерть, а смерть — жизнь, — как еще гимназистом часто повторял он. Теперь он действительно не сознает ясно, где жизнь и где смерть».

«Оставь, — сказал первый голос. — Это неважно. Важен переход. Важно перейти из настоящего состояния — безразлично, жизни или смерти — в следующее, безразлично — смерти или жизни. И Бог должен помочь ему в этом».

«Но подумай, — сказал второй голос. — Разве тебе не жаль его? Он — с его талантом, с его стремлением к добру. Разве он не имел права рассчитывать на то, что Бог любит его?»

«Может быть, Бог и любит его. Ведь Бог любил и гордился Иовом, а наградил его страданиями тяжелее песка морского. А может быть, Бог и не любит таких, как он. Может быть, самый гениальный, самый добродетельный человек и есть величайший грешник».

«Но ведь ты знаешь, что одному раскаявшемуся грешнику в раю радуются больше, чем тысяче праведников. А он ведь раскаялся во всем, во всех своих несотворенных грехах, во всей своей добродетели раскаялся».

«Это все пустые рассуждения. Это все — от разума. Он уже болен смертью. Незачем говорить ему о жизни. Теперь он должен только поддаться величайшему соблазну — поверить до конца, сделать последнее движение веры, понять, что для Бога возможно то, что для человеческого разума лежит вне предела возможности. Понять, что он будет спасен несомненно. Несомненно спасен — оттого, что спасение невозможно».

«Я не понимаю».

«Этого я и не предлагаю тебе понять. Понять этого все равно нельзя».

...Луганов лежал в темноте, сложив руки, и наивно, просто, чисто-сердечно просил Бога о смерти. Это не было восстание, это не было нежелание подчиниться воле Бога. Это была молитва, полная уверенности, что Бог услышит, Бог исполнит ее. Он лежал неподвижно и тихо ожидал смерти. Он не спрашивал, откуда придет смерть и какая она будет. Он был совершенно спокоен. Смерть будет легкой, безболезненной, незаметной. Бог возьмет его к Себе. Ему не пришлось в голову просить о продлении

жизни, он просил только о смерти. Он лежал и ждал смерти. Должно быть, это длилось долго, но он уже как будто потерял понятие о времени. «Может быть, я уже умер, — думал он, — умер и только не знаю». Понемногу прорези в ставнях стали серыми, потом запели петухи. Прошел первый трамвай, сонно скрипя и звеня.

Луганов лежал с открытыми глазами, смотрел прямо перед собой.

Голос Волкова снова проговорил над самым ухом: «Если ты не перейдешь к немцам»...

Луганов сбросил одеяло, давившее грудь, и застонал.

— Нет, — сказал он громко, — нет. Даже если Бог не даст мне сейчас смерти. Я не перейду к немцам. Нет...

Тихое отчаяние заволокло его сознание.

— Да исполнится воля Твоя, — прошептал он снова. — Все приму — и каторжный труд, и цингу, и все, все. Если иначе нельзя.

Он закрыл глаза. Полумрак успокоительно коснулся его усталых век и усталого сердца. Он не мог разобраться в том, что он чувствует, в том, что происходит с ним. Неужели это смерть? — радостно зазвенело в ушах. Легкий холод коснулся его лба, будто чья-то прохладная рука легла на его лицо. Он открыл глаза. Никого не было.

Слабый луч солнца пробрался сквозь прорези ставни и осветил кусочек стены, превращая в райскую розу цветок обоев. Луганов почувствовал, что улыбнулся. Он еще никогда не видел такого красивого, такого райского цветка. Но ведь это только грязный кусочек обоев. Только и всего. Он прислушался к звукам наступающего дня. Трамвай нежно и звучно перекликался с щебетанием проснувшихся птиц. И вдруг совсем неожиданно под окном запел нежный, воздушный детский голос. Звуки перекликались, сливались, расходились, превращались в розы на обоях, в солнечные пятна на полу. И все эти солнечные пятна и цветы собрались в одну охапку, в одну лучистую мелодию и легли на грудь Луганова, как цветы, положенные в гроб — на грудь покойника.

«Умираю, — радостно холодея, подумал Луганов. — Конец...»

Глава третья

Волков повесил телефонную трубку и тяжело сел в кресло у стола. Он вынул портсигар и достал из него папиросу. Ему казалось, что он думал, но думать он уже ни о чем не мог.

В дверь кабинета постучали. Он крикнул:

— Заня! Не беспокоить! — и только тогда увидел, что все еще держит папиросу и портсигар в руках. Он закурил и пересел на диван... Через час он вышел и прошел мимо столпившихся в прихожей просителей, ни на кого не глядя.

Шофер распахнул перед ним входную дверь. Волков спустился с крыльца и сел в автомобиль.

— К товарищу Луганову, — приказал он коротко.

Луганов еще спал глубоким утренним сном. Волков окликнул его, потом подул ему в лицо и сел к нему на постель.

— Вот ты спишь, а я тебе какую новость привез!

Луганов, моргая, смотрел на него бессмысленными глазами, еще полными обрывков сна.

— Какую новость? Зачем?

— Зачем? Сейчас поймешь, зачем. Только что опять с Москвой говорил, с самим Великим Человеком. Поздравляю тебя! Лучше, чем можно было мечтать. Ты опять всюду печататься будешь. И по радио говорить. Видно, там опять таланты потребовались. Сегодня же вечером выедешь в Москву!

— В Москву? — задохнулся Луганов. Он оперся на здоровую руку. — Ты не шутишь? Правда?

— Стану я такими вещами шутить.

— В Москву? — переспросил растерянно Луганов. — Как же так?

— Ну да, да. Пойми. Некогда мне по десять раз повторять. В Москву, в Москву! Сегодня ночью! Я сам заехал, хотел увидеть, как ты прыгать будешь, а ты как будто не рад совсем.

— Я еще не понимаю. Как же так вдруг? И Веру... Веру увижу?

— Конечно, она завтра тебя на вокзале встретит. Я уже распорядился, чтобы ее предупредили.

Луганов слушал его, не шевелясь.

— На тебя что, столбняк от восторга нашел? — Волков подергал Луганова за воротник. — Очнись. Ну, я бегу. Весь день занят. А вечером приходи. Поговорим на прощанье. Прямо от меня на вокзал поедешь. Приготовь вещи, Федоров заберет их.

Луганов вдруг ожил и задвигался.

— В Москву? Правда, в Москву? Знаешь, меня уже второй раз в жизни будят, чтобы сообщить о чуде. Первый раз — мама Катя с газетой, теперь — ты. Но это чудо еще гораздо чудеснее.

— Да, брат, — Волков встал. — Это чудо из чудес, всем чудесам чудо. Вот оно какое. А что вчера ночью говорили — забудь начисто. Теперь это ни к чему тебе.

— Ты знаешь, я твердо решил не переходить...

— Брось! Что об этом вспоминать! А приятно, черт возьми, счастливого человека увидеть. Дай на тебя еще раз посмотреть. Не каждый день удается.

Он нагнулся к Луганову и посмотрел ему в лицо долгим, внимательным взглядом. Потом выпрямился и легко толкнул Луганова обратно в подушки.

— Да, — сказал он, — не ожидал я, что так случится. — Он пошел быстро к дверям, на ходу оправляя гимнастерку. — До вечера! — крикнул он с порога и помахал рукой.

Луганов остался один. Он лежал, опрокинувшись навзничь. Теперь весь потолок и стены были пестрыми от солнечных полос, перебегавших с одной стороны на другую. В комнате было тихо и прохладно, хотя там, за закрытыми окнами, шумно и жарко хозяйничал июньский день.

Так вот оно какое, счастье. Вот как чувствует себя счастливый человек. Человек, с которым произошло чудо.

Никогда еще он не испытывал такой легкости, такой воздушности в теле и в мыслях. Будто он снова стал ребенком. Такая нежность и хрупкость были во всем вокруг и в нем самом. Он рассмеялся. Сколько времени прошло с тех пор, как он смеялся в последний раз? Он захотел подсчитать. Но это не удалось. Вспомнить было нечего — воспоминаний больше не было, прошлого не было. Он видел себя в прошлом, он сознавал, что прожил сложную, мучительную, длинную жизнь, но как это все происходило, он не помнил больше. Была его жена Вера, были книги, была когда-то мама Катя и были друг Волков и тюрьма, но как это связывалось в прошлое, принадлежавшее ему, Луганову, он не знал. Как будто все с ним делалось помимо его воли, все решалось за него. И, должно быть, по плану, из которого вдруг возникло это чудо, это счастье. Сорок пять лет его жизни, бывшие только подготовкой к чуду, и теперь, оттого что сами по себе все эти года ничего не значили, вдруг поблекшие, осыпавшиеся, как сухие листья с дерева. Мертвый, ненужный ворох шуршащих воспоминаний, который ветер уже уносил из его сознания, наполняя его легким солнечным светом и теплой тишиной.

Все сначала, подумал он. Новая жизнь. Новая жизнь, начавшаяся с чуда. К Иову вернулось его богатство — и ослицы, и верблюды, и сыновья — в удвоенном количестве. А ко мне вернулось больше. Еще гораздо больше. Мне вернулось мое детское сердце, мне вернули мою молодость...

От Луганова Волков не поехал прямо домой.

— Куда хочешь! Хоть к черту на рога! — крикнул он, садясь в автомобиль. — Жарь всюю!

Гул ветра в ушах. Это было как раз то, что ему было нужно. Это мешало думать. Он открыл глаза.

Автомобиль мчался по знакомой дороге на узловую станцию, где Волков так часто садился в московский экспресс. Он узнал ее, лицо его перекопилось, и он яростно ткнул шофера в спину.

— Волван! — крикнул он. — Морду разобью, скот. Поворачивай назад, живо!

Пока оторопевший шофер поворачивал автомобиль, Волков сидел,

закусив губу, и щека его дергалась. На этой самой дороге... Сегодня ночью... Ничего изменить нельзя...

...Гортанный голос с грузинским акцентом сказал по прямому проводу из Кремля:

— Понял? Под твою ответственность.

Возражать было невозможно. И он не возражал. Он покорно ответил:

— Будет исполнено.

Снова гул ветра. Но теперь он больше не мешал думать.

Выходя из автомобиля, Волков велел шоферу идти за ним в кабинет, и там, заперев дверь и не глядя шоферу в лицо, вполголоса отдал ему приказание:

— Понял? Под твою ответственность.

И шофер покорно ответил:

— Будет исполнено...

Часть четвертая

Глава первая

Вера проснулась и прислушалась. Все было тихо. Значит, еще очень рано и надо еще спать. Рано еще просыпаться, рано. Новый день еще не начался. Вот она сейчас заснет, глубоко, спокойно заснет и проснется очень поздно. Она повернулась к стене. Но заснуть не удалось. Каждое утро повторялось одно и то же. Каждое утро она всеми силами старалась удержать ускользающий сон, продлить ночь, отодвинуть подальше наступающий день.

Отчего это случилось с ней, именно с ней, а не с какой-нибудь другой женщиной, более стойкой, более подготовленной прошлым к горю? «Ты создана для счастья, — говорил ей когда-то Андрей. — Как раз по мерке, на заказ. Счастье на земле для таких, как ты». Она соглашалась. Она и сама была уверена, что ей никогда не удастся «избежать счастья». Да, она так пышно и безвкусно выражалась тогда.

Но оказалось, что она сделана «как раз по мерке, на заказ» не только для счастья, но и для горя. Иначе как бы она могла перенести все, что стряслось с ней?

Она прежде не знала себя, она многого не знала. Она прежде даже не догадывалась, как безрадостно, тесно и изнурительно живет большинство москвичей. Она не подозревала о выстаивании в очереди, ожидании всегда переполненных трамваев, о всей мышиной суете жизни. Она всегда жила в замкнутом, привилегированном мире — до замужества в балетной школе, где она, как и остальные ученицы, была занята только танцами, экзаменами, успехами и мечтами. Годы замужества были годами «исполнившихся мечтаний», когда она жила своей любовью к Андрею и своей карьерой, когда она была глуха и слепа ко всему, кроме себя, мужа и театра. Тогда ей это казалось мудростью. Теперь она видела, что была просто глупа. Думать отвлеченно о себе, о своем месте в мире ей прежде было некогда. Но теперь, когда она стала чувствовать тяжесть времени, давившую ее необходимостью изжить каждый новый скучный день, каждую новую страшную ночь до конца, она стала думать. Прежде она больше чувствовала, чем думала. Она постоянно ощущала радость, она восхищалась миром и собой, она смеялась, она танцевала. Теперь, когда она стала думать, ее поразило, что она совсем не знает себя. Кто же она на самом деле? Что составляет ее суть, ту суть, которая скрыта от других непроницаемой оболочкой ее тела. Что там, у нее внутри? Она знала только, что основной чертой ее была легкость, с которой она тогда воспринимала жизнь. Она считала прежде, что это было свободой души. В легкости ей чудился божественный отблеск.

А ее совершенная, бессмертная любовь к Андрею? Теперь она знала, что никакой любви не было. Любовь была только самообманом. Такие, как она, должно быть, не могут любить бессмертной, совершенной любовью. Она напрасно отыскивала свою настоящую сущность, свое «я». Ее «я» оказалось уродливым и бессмысленным. Она с отвращением душевно

отшатнулась от себя. Ей хотелось снова подальше спрятать в темную духоту подсознания все, что она узнала о себе. Но знакомство с собой уже состоялось. И результатом его было то, что она перестала себя любить, что она перестала даже жалеть себя. Я глупа, я подла, я труслива, объясняла она себе со злорадством. И все-таки это была она, Вера. И разве она была так виновата, так виновата, что не заслуживала снисхождения?

Ей хотелось понять, как она дошла до теперешнего горя. Но сколько она ни оглядывалась назад, в прошлое, она ничего не понимала, не могла разглядеть, где была дорога, приведшая ее к горю. Она не видела этой дороги, не знала, когда она ступила на нее. Но всех своих воспоминаниях она видела только отдельные мгновения, как картинки в раме остановившегося времени. Но связи между этими мгновениями, между иллюстрирующими их картинками не было. Текучести времени не было в ее воспоминаниях. Того, что меняло жизнь, и ее самое, и события, она не умела проследить. Она вспоминала только разрозненные, остановившиеся минуты, свои желания и радость, что ей удавалось добиться исполнения желаний. Всегда удавалось. Успех и чувство радости неизменно повторялись во всех картинках. Вот она вылетает на сцену, и вот уже театр звенит и гремит от рукоплесканий. И вот она вдвоем с Андреем на пляже в Крыму, и вот она в шляпном магазине, и вот она в новой шляпе едет с Андреем по Москве в автомобиле. И все всегда чудесно. Все, даже усталость, даже простуда, когда лежишь целый день в мягкой, теплой постели и Андрей от беспокойства еще нежней, еще влюбленней.

Но где же дорога, приведшая ее к горю? Где настоящая действительность, обернувшаяся горем? Она ускользала от нее. Она отсутствовала в ее празднично разукрашенных воспоминаниях. Она не могла разглядеть ее, не могла понять, как это все случилось и почему.

Не думать... Если бы можно было не думать, не вспоминать. Но из моря памяти волнами уже подымались воспоминания — те, после катастрофы. Воспоминания, готовые, как волны, смыть ее, сбросить на самое дно отчаяния. Гибну. Тону, иду на дно! О, скорее бы, скорее достичь этого дна, чтобы всему наступил конец!

Но дна отчаяния не было, как и конца жизни не было, как и самой жизни не было. «Застрелите меня, — сказал ее голос из прошлого. — У вас есть револьвер». И память сейчас же услужливо иллюстрировала эти слова. Она, Вера, лежит, скорчившись на этой самой кровати. И все опять оживает. В воспоминаниях после катастрофы все связано, все последовательно и вытекает одно из другого... Это настоящая реальность, это жизнь, которую нельзя заставить превратиться в прошлое. Это настоящее, которое надо снова и снова переживать, которое нельзя изжить.

...Она возвращалась с рынка с клетчатым мешком в руках. Шел дождь. Он, как назло ей, начался, когда она уже прошла мимо трамвайной остановки. Возвращаться и ждать трамвая под дождем не было смысла. Еще больше промокнешь. Мешок был тяжелый. У нее были слабые руки, типичные руки балерины, привыкшие всегда к одним и тем же классическим, условным жестам, грациозные, тонкие руки бездельницы.

Но теперь этим рукам приходилось стирать, чистить картошку, мыть полы, таскать мешок с рынка. Они не привыкли. Они не желали. Их надо было заставлять. Они болели, они дрожали.

Дрожь была хуже всего. Даже хуже боли. Когда, наконец донеся мешок домой, она взмахивала руками, они дрожали. Они дрожали мелкой, отвратительной дрожью, как в утро после ареста Андрея. Она сознавала, что сейчас их дрожь вызвана не страхом, а усталостью. Но ведь и от страха они дрожали совсем так же. Эта дрожь могла быть вызвана безотчетным, вечным страхом, отравляющим даже ее сны. Она смотрела на свои дрожащие руки и уже не могла противиться страху. Дрожь проникла в ее кровь, дрожь принималась хозяйничать в ее теле, подкатывалась шариком к горлу. Ей было страшно. Но чего? Она не знала и не спрашивала. Это был абстрактный страх, возникающий из ничего. Страх, похожий на головокружение.

Она сжимала руки в кулаки, она ложилась на постель и ждала, пока сердце успокоится, начнет снова правильно биться.

Я отдыхаю, уговаривала она себя. Я устала, мне необходимо поле-

жать. И сейчас, идя под дождем, она старалась перехитрить, обмануть страх. Я устала. Я приду и сейчас же лягу. Я даже не взгляну на свои руки. Пусть себе дрожат, это меня не касается.

Она шла теперь мимо цветочного магазина. Цветы всегда казались ей еще не созданными ангелами. Зачатками, проектами ангелов, мечтой об ангелах. Они были, как обещание, как надежда. Пока на свете еще цветут цветы, горе не может быть окончательным. Нет, нет, — это только остановка поезда после катастрофы, это только скобки, в которые вписали столько горя. Но поезд снова пойдет, скобки закроются. И все будет, как прежде. Блаженное легкомыслие, — всплыло из глубины сознания. Правда ли она, что так осуждает себя? На каких весах она взвешивает себя? Какой меркой мерит? Правильны ли эти весы и эти мерки? Может быть, то, что людям кажется важным, ровно ничего не значит, а ничего не значащее имеет огромное, решающее значение. Вот сейчас она, даже не заметив, наступила на какого-нибудь жучка и раздавила его. Ей это кажется пустяком, а происшедшая с ней катастрофа — необыкновенно важной. Но в иной перспективе может оказаться, что раздавленный жучок гораздо важнее жизни Веры, важнее не только Веры и ее жизни, но и войны, и мировой катастрофы, происходящей теперь. Гибель жучка важнее гибели Веры и даже гибели миллионов солдат? «О чем это я? — подумала она. — Это от одиночества, от молчания такой вздор лезет в голову».

Она еще раз взглянула в окно цветочного магазина, по которому стекал дождь. Если такие цветы цветут на земле, конечно, нельзя быть безжалостной. Раздавленного жучка надо пожалеть и ее, Веру, тоже. Бедная, бедная!.. Как она устала, и ноги совсем мокрые. Вот она сейчас вернется и переменит чулки, а потом ляжет отдохнуть.

Она взошла по лестнице, она прошла по коридору. Сейчас, сейчас. Только дверь открыть. И она открыла дверь.

Посредине комнаты стоял Волков. Он смотрел прямо на нее. Выражение его лица заставило ее остановиться. Ей показалось, что сердце ее перестало биться. Андрея расстреляли. Он пришел сказать ей это. Оттого у него было такое лицо. Она не смела спросить. Она ждала. Она пробормотала только:

— Михаил Леонидович...

Его рот дернулся в сторону, он сжал челюсти так сильно, что кожа побелела на скулах, и шагнул к ней.

Она стояла перед ним, все еще держа мешок в руках. Сейчас, сейчас он скажет, что Андрея расстреляли. Она ждала, что он заговорит, и он действительно заговорил.

— Убить вас мало! — отчеканил он. — Дрянь! Сволочь!

Его губы снова дернулись. Ей показалось, что он сейчас плюнет ей в лицо. Она выпустила из рук мешок. Картошка рассыпалась по полу. Она слышала стук, но даже не взглянула. Стараясь защититься, она подняла локоть балетным условно-грациозным, единственным движением на все случаи танцев и жизни. Но он не плюнул ей в лицо. Он отступил на шаг и глубоко засунул руки за ремень.

— Избил бы вас, изуродовал бы с наслаждением.

Он сделал еще шаг назад. Теперь он снова стоял посреди комнаты. Ей было ясно, что он борется со своим желанием избить ее, изуродовать ее.

— За что? — спросила она совсем тихо.

Это было чудовищно. Еще более чудовищно, чем обыск, чем допрос Штрома. Ведь Волков был лучшим другом Андрея. Неужели и он стал врагом, неужели он пришел арестовать ее?

— Я ничего не сделала. Я ничего не знала. Андрей никогда ни о чем мне... — Ее голос сорвался. — Клянусь. Я ничего не знала, я...

Он не дал ей докончить.

— Сколько вам заплатили за то, что вы предали Андрея?

— Предала? Но ведь я не предавала его. Что же я могла сделать для него? Что?

Он снова шагнул вперед.

— Что? — спросил он звонким шепотом, наклоняясь к ней и близко глядя в ее глаза. — Что сделать? Сдохнуть. Сдохнуть должны были, а не губить такого человека.

— Но ведь я не губила его...

— Не губили? — Он злобно рассмеялся. — Нет, невинная птичка, вы не губили, не предавали его. Нет. Вы только показали, что он всю ночь перед арестом жег неизвестные вам бумаги. Только это. Только это, погубившее его.

— Но Штром сказал, что Андрей сознался. Я думала, он говорит правду...

— Лягушек на бумажку ловят. И вас Штром, как лягушку, поймал.

— Штром грозил мне тюрьмой, пытками. Я бы под пытками еще и не то бы показала...

Он махнул рукой.

— Никаких пыток нет. Все басни. Ну, и посидели бы в тюрьме. Подумаешь, важность какая. Сотня бы таких, как вы, в тюрьме пропала бы за него, и то мало. Вы себе представляете, кто вы и кто он?

— Значит.. — начала она, — я действительно предала, погубила Андрея? — Она все еще не понимала, не могла понять.

— Еще бы не действительно! — крикнул он. — Если бы вы хоть мне дали сейчас же знать. Ведь я до вчерашнего дня не подозревал. Он выбросился из окна тюрьмы. Хотел покончить с собой.

— Жив? — прошептала она, задыхаясь.

— Сломал плечо. Калекой останется.

Она, согнувшись пополам от неизвестно откуда взявшейся боли в животе, медленно прошла мимо него, добралась до постели и упала на нее ничком. Она не думала о том, что Волков еще тут, что он видит. Она спрятала голову между рук и, тычась лицом в шершавое одеяло, заскулила, как собака. От боли, от страха, от жалости к Андрею и к себе.

Волков говорил что-то, но она не слушала, не понимала.

Вдруг она приподнялась и оглядела его. Взгляд ее остановился на его кобуре.

— Револьвер, — сказала она внятно. — У вас есть револьвер. Застрелите меня, пожалуйста. Я не могу больше жить.

Он нагнулся к ней и тряхнул ее за плечо.

— Бросьте! Не ломайтесь. Вы не на сцене.

— Нет, — сказала она так же внятно, — я не могу жить после этого. Ведь вы правы. Это я его предала. Я его любила больше всего на свете. Застрелите меня, пожалуйста.

— Ищите себе другого убийцу. Или сами кончайте с собой! — Голос его звучал жестко. — А меня избавьте от таких просьб. Избавьте меня от ваших комедий. Я к вам по делу пришел. Андрей просил принести ему вашу английскую Библию. Тут она у вас?

Она кивнула.

— Тут. На этажерке.

Он подошел к этажерке.

— Хотя это удачно. Ведь Андрей думает, что вы на прежней квартире. Он беспокоится, как вы живете одна. Он не догадывается, что вы предали его. И не я ему об этом скажу. Сказать — значило бы зарезать его.

Она молчала. Он порылся в книгах и нашел Библию.

— Он хочет вас видеть.

— Видеть? — Она села на постель. Она забыла про боль в животе, она не чувствовала ее больше. — Нет, нет! Я не могу. Я не могу его видеть. Нет. Я сама признаюсь ему, что погубила его. Ради Бога, ради Бога придумайте что-нибудь. Хотя что я умерла, только... только не заставляйте меня идти к Андрею.

Она соскользнула на пол и протягивала к нему руки.

— Вы еще подлее, еще гаже, чем я думал. — Рот его искривился от отвращения. — И подумать, что вы жена Андрея.

— Ради Бога, ради Бога, — повторяла она, всхлипывая. — Я не могу.

— Заткнитесь вы с вашими богами! — крикнул он грубо. — Конечно, если вы ему такую комедию разыграете, если в вас нет ни на грош выдержки и самообладания, лучше вам к нему не ходить. Но что же я ему скажу?

Она, согнувшись, тихо плакала и скулила. Потом подняла голову и посмотрела на него сквозь слезы.

— Все наши поехали в балетное турне. Скажите, что уехала с ними, что я уехала, что я только через месяц вернусь в Москву. Через месяц я, может быть, смогу.

Он постоял над ней в сомнении, качая головой.

— Попробую. Постараюсь устроить. Но если он будет настаивать, ревите, не ревите — силой сволоку. — Он прошелся по комнате. — Через неделю я увезу его на Украину.

— На Украину? — задыхаясь, переспросила она.

— А что вы думали? Расстреляют его? На Соловки сошлют? Только оттого, что его стерва жена нагала на него.

— На Украину, — шепотом повторила она. Ее рот наполнился прохладой и покоем, воздух легко и нежно проник в ее иссохшее горло, будто это был воздух украинских вишневых садов, а не московской затхлой комнаты. На минуту она почувствовала себя почти счастливой. «Как лягушка, которую долго мучили, долго кололи булавками и жгли на огне, а потом, наконец, дали капельку воды. Как лягушку, которую поймали на бумажку», — подумала она и закрыла глаза.

— Спасибо, — сказала она тихо.

Он стоял над ней, с брезгливостью глядя на нее сверху вниз.

— Я постараюсь устроить это. Не для вас — для него. Но, если он захочет, придется вам идти.

— Спасибо.

— От вас благодарности не принимаю.

Он вышел, дверь за ним захлопнулась.

Это было почти два года тому назад, но ей казалось, что это было вчера, сегодня, только что. Она лежала в кровати. Ей хотелось встать, заняться уборкой или стиркой, чем-нибудь, чтобы скорее дать выход скопившейся за ночь тоске. Но нельзя было. Надо было ждать, пока из одной из шести комнат квартиры не подадут сигнала: «Тишина больше не обязательна. Новый день начался!» Начать первой шуметь ей не разрешалось. Сейчас же за стеной раздался бы крик: «Взгромождается тоже ни свет, ни заря. И куда, подумаешь, спешит?»

Да, спешить ей было некуда. У нее не было ровно никаких дел. Ни дел, ни интересов. Жизнь, заключенная в тесные рамки необходимости есть, пить, содержать себя в чистоте. Жизнь просто для жизни. «Жизнь сама по себе уже благо», — учили ее когда-то в школе. И вот ей на опыте пришлось убедиться, что это, как и многое другое, чему ее учили, оказалось неправдой.

У нее больше не было часов. Она не знала, долго ли придется лежать так, выжидая. Часы она сломала еще зимой. За починку с нее требовали так дорого, что она предпочла просто продать их. Ей они не были необходимы. Ей нигде не надо было быть вовремя, она вообще нигде не бывала. Она научилась обходиться без часов. По вставанию, возвращению со службы, по обедам и ужинам, по вечерним выходам в кино соседей можно было точно определять время. Все было до минуты рассчитано в программе их дня, они постоянно торопились, боялись опоздать, перекликались: «Уже два, а обед не готов. Безобразия!» Или: «Черт знает что, опять в театр опоздаем! Пять минут девятого, слышишь, уже пять минут девятого».

Да, без часов легко можно было обойтись днем. Ночью это было сложнее и мучительнее.

Вере надо было вести себя осторожно. Такой, как она, нельзя было позволить себе будить других. Она здесь последняя, и комната ее — самая худшая: между ванной и кухней.

Конечно, два года тому назад, до катастрофы, все эти жильцы и мечтать не смели познакомиться с Верой или ее мужем. В те счастливые времена они простаивали полдня в хвосте перед кассой, чтобы только купить билет на балет, в котором танцевала она. Они срывали себе голоса, вызывая ее, они отбивали себе ладони, чтобы заставить ее лишний раз выбежать перед уже спущенным занавесом и улыбнуться своей знаменитой улыбкой. «Улыбка нашей Назимовой, красота нашей Назимовой, талант нашей Назимовой...» — говорили москвичи, гордясь Верой не меньше, чем метро, а метро они чрезвычайно гордились. В те дни открытки с ее портретами украшали собой стены вот таких убогих, как эта, комнат. И жалкая обительница такой вот комнаты, глядя на портрет Веры, переносилась мечтой

в мир удачи и счастья, в котором царила эта прелестная, талантливая, улыбающаяся Назимова. Ведь она была не только знаменитой балериной, но и женой Луганова. Двойной круг их знаменитости окружал ее ореолом, защищая и огораживая от грязи, скуки и низости, в которой копошились обыкновенные люди. Но вот судьба толкнула ее в спину, и она упала и разбилась на куски. С высоты страшнее, с высоты больнее падать. Падать, действительно, было очень страшно, очень больно. Но самое мучительное было — повторность этого падения, то, что оно не желало улететь в памяти, то, что ей постоянно приходилось переживать его сначала. Бал, которым оно началось, все во всех подробностях, во всем блеске — и музыке, и смех, и разговоры, и люстру, отражавшуюся в паркете, как фонарь во льду катка... И опять, опять все сначала... Все сначала... Она застонала, закусила зубами простыню и повернулась на спину.

Сейчас можно будет встать... Сколько унижительного труда уходит на то, чтобы продлить эту никому не нужную жизнь. Но еще унижительнее труда было чувство голода, постоянно присутствовавшее во всех ее ощущениях и мыслях. «Есть хочу». Тоненький отросток мысли, укол, легкая тень голода, от которой никак и ничем не отделаешься. Есть хочу. Есть. Но не эту пресную кашу, не черный хлеб, не картошку, а вкусные, умело приготовленные блюда. Намазывать икру на поджаренный хлеб, пить кофе со сливками, есть виноград и персики.

Соседки готовили разнообразные кушанья, комната Веры наполнялась запахами кухни. Она открывала окно, она старалась не думать о том, что там, на кухне, жарится такая вкусная баранина, что ей так хочется съесть кусочек этой баранины. Но ей ли, такой несчастной, такой потерявшей все на свете, мечтать о вкусной еде?

— Приходите к нам пить чай, — приглашали соседки друг друга. — Муж принес горячие калачи и ветчину.

Нет, это приглашение не относилось к Вере. Веру не звали ни на именины, ни на торжества, устраиваемые вскладчину всеми квартирантами. Ее просто не замечали, с ней не считались, с ней не здоровались даже. А толкнув ее, не извинялись. Иногда Вере казалось, что она стала невидимой для других квартирантов. Она входила в кухню, неся свой чайник или свою кастрюлю, но ни одна из хлопотавших у примусов женщин не оборачивалась к ней. На кухне часто происходили ссоры и споры, доходившие почти до драки. И ссорившиеся квартирантки старались переманить на свою сторону каждого, входившего в кухню, но Веру никто не переманивал, никто не кричал ей, приглашая ее в судьи.

— Нет, вы только посмотрите, до чего наглость доходит! Нет, полюбуйтеся — заняла весь стол, а я жди... — Никто не искал в ней союзника. Перебранка продолжалась, будто Веры тут не было вовсе. И только, когда она вплотную подходила к ним, обе, до этой минуты ссорившиеся квартирантки, как по команде, брезгливо и поспешно отодвигали свои кастрюли и примусы.

Значит, все же видят меня. Значит, я все-таки существую, думала Вера. Ей хотелось, будто нечаянно, обварить соседок кипятком, вывернуть на пол их сковородки с яичницей. Но она знала, что никогда не посмеет. Она старалась двигаться как можно осторожнее, никого не раздражать, не задевать.

И когда какая-нибудь, еще не остывшая от схватки квартирантка говорила в сторону, как актер в старинной пьесе: «Те, которые не спешат на службу, могли бы, кажется, и подождать со своим завтраком», — она, ничего не отвечая, уносила свой чайник и ждала, пока утренняя спешка немного уляжется и для нее найдется место на кухне.

Она даже не сердилась на соседок: ведь они, в сущности, были вправе так обращаться с ней. Ей некому было пожаловаться, ее никто не защитит, а они, если захотят, могут выгнать ее из этой комнаты, подав коллективное заявление или написав на нее донос. Какой? Не все ли равно какой? Всякий донос сделает свое дело. И куда она тогда денется? А тут все-таки крыша над головой. Крыша. Это очень много. Но как тяжело дойти до сознания, что и крышу надо ценить, оттого что другой крыши для нее во всем мире уже нет.

За стеной кто-то звонко зевнул, потом что-то упало, и разговор, начавшийся сонным бормотанием, перешел в крик. Там, за стеной, жили мо-

лodgeжены, и переход от холостой к супружеской жизни, по-видимому, давался им нелегко.

— Ангела из терпения выведешь! — крикнул женский голос.

— Напрасно, мать моя, в ангелы метишь, — перебил мужской. — С хвостиком ангел. С хвостиком и рожками.

Вера старалась не слушать. Она не догадывалась прежде, сколько ненависти, злобы и грубости пряталось в человеческих отношениях, сколько ненависти, злобы и грубости таилось в каждой из семей такой квартиры.

Она отбросила одеяло и стала босиком на пол. Коврика перед кроватью не было. Следовало бы сделать хоть несколько балетных упражнений. Ложась, она каждый вечер обещала себе: завтра непременно сделаю двенадцать приседаний. Но наутро становилось очевидно, что она уже все равно нигде и никогда танцевать не будет, — и напрасно утомляться. И так возни много с уборкой комнаты, с одеванием. Сколько возни. Она никогда не училась стирать, гладить, штопать. Она не умела начистить туфли до блеска, она криво пришивала белый воротничок к порывевшему от солнца платью. Она старалась одеваться как можно аккуратнее. Она даже старалась причесаться помоднее. Но из прически ничего не получалось. Волосы почему-то потускнели и перестали виться. Сколько она ни расчесывала их щеткой, они оставались пыльно-бурыми и прямыми. Цвет лица тоже испортился. Без кремов, без косметики веснушки снова проступили на бледной коже. Они, как пятна грязи, темнели вокруг глаз и около рта. Она смотрела на себя в зеркало. Я? Неужели это я? Почему это я? Разве я была такая прежде? Нет, конечно, она прежде не была такая. У нее теперь было совсем другое, усталое, некрасивое лицо. Оттого, что она очень похудела, глаза и рот казались больше, слишком большими. Вздор, что большие глаза красят. Большие грустные глаза придавали лицу жалкое, голодное выражение. И она стала казаться гораздо моложе. Ей было уже тридцать лет, но сейчас ей нельзя было дать больше двадцати, такая она казалась угловатая, худая, застенчивая. Она снова стала походить на себя — на ту, какой она была после тифа. Она казалась гадким утенком. С ней случилось как раз обратное тому, что было в сказке. Она из сияющего, гордого лебедя превратилась в гадкого утенка. До чего гадкого! Она огорченно отворачивалась от зеркала, проводила по нему рукой, будто стараясь стереть свое изображение.

Нет, она не делала больше балетную гимнастику. Зачем? Ведь ее выгнали из балета. Два года тому назад, когда настал день возвращения труппы в Москву, она отправилась в театр. Как она радовалась, как волновалась, что опаздывает! Три переполненных троллейбуса прошли мимо нее. Уже в маленьком артистическом подъезде ее охватил милый, родной воздух. Она снова почувствовала себя частью того неповторимого, волшебного совершенства, которое называется «Русский Балет». Она с радостным сердцебиением прошла по коридору и вошла в уборную. Наконец-то, наконец! Она ждала, что сейчас со всех сторон на нее с криком: «Верочка, Веточка, Ветерок», — налетят розовые пачки, что десятки рук обовьются вокруг ее шеи и щеки ее будут сплошь замазаны красной губной помадой радостных поцелуев.

— Наконец-то, ласточка! Как я скучала по тебе, белочка! Без тебя все не то, Ветерок...

Но вот она стояла на пороге общей уборной. И никто из одевавшихся, смеявшихся и суетившихся танцовщиц не поднял головы, не взглянул на нее, не побежал навстречу. Все казались глубоко занятыми своим делом — кто завязыванием тесемок розовых атласных туфельек, кто застегиванием лифа, кто прикалыванием искусственных цветов к завитым волосам. На Веру никто не смотрел, будто она не стояла здесь на пороге. Но ее все-таки увидели, ее присутствие не было незамеченным. Режиссер подбежал к ней: «Пожалуйста к директору». «Зачем, Павел Павлович?» «Там объяснят». — Он сухо поклонился и открыл перед нею дверь к директору. Ей оставалось только войти. И она вошла на ногах, ставших вдруг длинными и тонкими, как у цапли. Ей казалось, что все видят, что она вдруг превратилась в цаплю. Так отчего они не смеются? Она огляделась. Никто не смеялся, никто даже исподлобья краешком глаза не взглянул на нее.

В конторе ей дали жалованье за месяц вперед и заявили, что пока не

нуждаются в ней. Что роли на этот сезон уже распределены и участие Веры в них не предвидится. Вера спросила:

— Но я все-таки могу приходиться упражняться?

Ей ответили вежливо и твердо:

— Это не совсем удобно. Раз вы перестали принадлежать к балету...

— Я перестала?

— Ну да, вы уволены в отпуск без сохранения содержания.

— Но почему, почему?.. — начала Вера и оборвала. Совершенно ясно, что все вопросы и просьбы напрасны.

— Будьте добры оставьте свой новый адрес. На всякий случай.

«На какой такой случай?» — хотелось ей спросить, но она только молча записала в книге свой адрес. Она все еще не уходила. Может быть, сейчас сюда войдет директор и радостно протянет ей обе руки: «А, божественная! Солнышко наше! Заждались вас...»

Но директор не появлялся. Она постояла минуту в конторе, чувствуя, что ей здесь больше не место, что надо уходить. Уходить из театра. Совсем. Но разве это возможно? Ведь ей было только девять лет, когда ее привезли в балетную школу. Ведь театр больше, чем ее дом. Ее нельзя выгнать отсюда. Нельзя. Но ее уже выгнали. Она уже шла по улице...

— О чем плачете, хорошенькая гражданочка? — участливо крикнул ей с подводы молодой рабочий.

Плачете? Разве она плакала? Этого она не чувствовала. Этого она не помнит. Нет, она не плакала ни по дороге, ни вернувшись в свою комнату. Она была слишком несчастна, чтобы плакать. Ведь для того, чтобы сохранить место в балете, она развелась с Андреем. Шторм потребовал, чтобы она развелась. «Жена государственного преступника не может танцевать в балете». И она развелась. Но танцевать ей все-таки не позволили.

С того дня она и стала жить так, как сейчас. Одинок, тоскливо, бесцельно, равнодушно. Не мучась больше ни предчувствиями, ни надеждами. Надеяться теперь было не на что. Ничто не спасло ее. Даже развод. Все было напрасно, напрасно. «Очищается горе от всякой надежды».

И все-таки она продолжала жить. Она, всегда такая хрупкая, такая слабая, теперь умудрялась никогда не болеть. Как будто болезни, как и радости и надежды, были не для нее, не хотели замечать ее. Она больше никому не была интересна. Даже смерти. Ей казалось, что все будет продолжаться так без конца, что даже в будущем, в далеком, туманном будущем, нет смерти для нее. Нет смерти, как и жизни нет. Одна тоска и одиночество. Вечно.

Она подошла к окну и открыла его. Какое восхитительное утро! Как тепло, как хорошо! «Хорошо?» — переспросила она себя. Ничего хорошего не было для нее в этом голубом июньском утре. Напротив, оттого, что все кругом сияло, она чувствовала себя еще более несчастной и опозоренной. Этим нежным, сияющим воздухом ей было трудно дышать. В дождь, в слякоть, в стужу ей все-таки было легче. Несчастливым всегда легче в слякоть и стужу. Они не чувствуют себя такими выброшенными из жизни. Лучше бы уж круглый год были осень, дождь, туман, слякоть. Лучше бы никакого солнца не было, подумала она. И все-таки она не могла не сознавать, что для других — не для нее — это было началом чудесного дня. Для других. Но ее ничто не связывало с этими другими, как ничто не связывало ее с этим небом и этой землей. Она выпала из гармонии мира. Она была одна. Чужая всему. Навсегда одна со своим горем.

Одиночество. Нет ничего страшнее одиночества, подумала она. Никто не постучит в мою дверь, не войдет, не заговорит со мной. Я буду молчать, молчать, молчать. Но я не могу больше молчать... Я сейчас закричу, завою, если не постучат в мою дверь...

Она стояла у окна и смотрела на уличную жизнь. На живых людей, спешивших по своим делам — на службу, на вокзал, за покупками. Пусть им тоже плохо и тяжело. Пусть и им совсем не весело, как большинству в Москве, в России. Но ведь они живы. А она? Разве она живая? Разве это можно назвать жизнью? Может быть, она уже перестала жить и только притворяется живой, плохо притворяется. И оттого ее толкают на лестнице и в коридоре. Не видят, вернее, не всегда видят. Может быть, она умерла и не заметила сама, как умерла. Думала, что смерти для нее нет, а смерть уже наступила.

Мертвые страха не имеют — ни страха, ни стыда. Нет, значит она не мертва. Ей стыдно, ей страшно. Если бы она действительно была мертва, она не стыдилась, не боялась бы так. Всегда. Ночью и днем, днем и ночью. Даже во сне. Стыд и страх. Стыд, переходящий в страх. «Но чего тебе еще бояться? Нечего тебе бояться, нечего тебе стыдиться. Что еще может случиться с тобой? Ничего тебе больше не страшно, и прошлого тебе стыдиться нечего. Не страшно? — спросила она себя. — Так отчего, скажи, у тебя опять дрожат руки? Нет, нет, довольно. Я больше не могу, не выдержу. Если сейчас не постучат в дверь... Если не постучат...»

И в дверь действительно постучали. Громко постучали. Это было так невероятно, что у нее не хватило голоса сказать «войдите». Она только открыла рот и вздохнула, глядя на дверь. Никто не вошел.

— Вас требуют к телефону! — крикнули из-за двери и, подождав немного, не получая ответа, еще громче: — К телефону вас!

К телефону? Она не поверила, не поняла. Не может быть. Ее никто никогда не требовал к телефону. Кто мог позвонить ей? Кто?

Она заметалась по комнате, потом выбежала в коридор. Это ошибка. Конечно, ошибка. Спутали номер, спутали фамилию. Это ошибка. Конечно, не ее...

Снятая телефонная трубка лежала на столе. Трубка была холодная и липкая. Вера прижала ее к уху. Конечно, ошибка.

Но это не была ошибка. Ее вызывали из НКВД. Очень вежливо «просили заехать».

Она задохнулась, будто захлебнулась воздухом.

— Сейчас приеду. Сейчас.

Она постояла, еще держа трубку у уха, испуганно и бессмысленно глядя на стену, всю расписанную разными номерами. 240-93 было дважды подчеркнуто красным. Что могло значить это 240-93?

«240-93», — повторила она. Но ведь ей этот номер был ни к чему, ведь ей звонил не 240-93.

Она повесила трубку и бегом вернулась в свою комнату.

Одиночество. Так ли страшно, как ей только что казалось, было одиночество? Теперь она сознавала, что есть вещи и пострашнее одиночества. И с одной из этих, еще более страшных вещей ей предстояло столкнуться сейчас.

Она только что думала, что с ней уже ничего не может случиться. Она ошиблась. Может и еще как может! Она только что стояла у этого самого окна и в почти блаженном неведении будущего думала, что все страшное уже позади, в прошлом. А машина судьбы уже снова была пущена в ход. Ее рычаги и колесики уже двигались и крутились, готовые переломать, перемолотить, раздробить, уничтожить все, что еще осталось от нее и ее жизни. И, как всегда, когда она спешила и волновалась, все вещи начали исчезать. Берет, где ее берет? Она перерыла комнату, заглянула даже в комод, хотя никогда не прятала туда берет. Ничего, можно и без берета. Она вспомнила сквозь спешку и волнение рассказ о том, как осужденного ведут на казнь и он, совсем как она сейчас, сбивается с ног, ища свою шляпу. И смущенные слова часового: «Ничего, можно и без шляпы. Ничего...»

Она оглянулась. Рассказ. Чей это рассказ? Читала она его когда-то или придумала сейчас? Не все ли равно? Она взглянула на стену и увидела берет, висевший на крюке. А может быть, лучше, вместо того чтобы ехать в НКВД, просто повеситься на этом крюке?

Она не успела заштопать перчатки. Дырявые. Если держать руку сжатой в кулак, незаметно. А если и заметно, не все ли равно? Она по привычке взглянула на себя в зеркало, надев берет. И по привычке, перебивая страх и сердцебиение, навстречу из зеркала, будто подпись под ее отражением, выплыла мысль: «Я? Почему это я? Разве я прежде была такая?»

Нет, она не была такой прежде. Даже пять минут тому назад, до телефонного звонка, она все-таки не была такой раздавленной, такой покорной, такой готовой ко всему и на все.

Глава вторая

...Этот стеклянный широкий подъезд, этих часовых, эту лестницу, покрытую ковром, этот пустой, тихий коридор она хорошо знала. Через этот порог она уже не раз переступала такими же похолодевшими, тяжелыми ногами, с такой же подкатывающейся к горлу тошнотой.

Кабинет. Зеленый колпак зажженной лампы. Опущенные шторы. Штром повернулся к ней, сияя лысиной и улыбкой, и, не вставая, протянул ей руку.

— Присаживайтесь. Давненько мы с вами не болтали.

Нет, так не могла начаться глава нового несчастья. Это еще не гибель. Отчего не могла? Оттого, что Штром улыбался? Но и в то утро он улыбался совсем так же, такой же восточной, лукавой, сияющей улыбкой.

Она подала ему руку. Он пожал ее долгим притворно-сердечным пожатием.

— Ну как? Все хорошеем?

Он взглянул ей в лицо, и его зоркие блестящие глаза удивленно расширились.

— Вы больны?

— Нет.

Она покачала головой.

— Но вы были больны? — настаивал он.

— Нет, — повторила она. — Я ни разу не хворала за этот год. Я совсем здорова.

Он поправил галстук, взглянул в угол кабинета и притушил лампу.

— Конечно, жить не всегда легко. Досадно, да что поделаешь! И я ведь предлагал вам, помните, заняться вами? Не захотели, гордая испанка.

Он отряхнулся и снова заулыбался, давая понять своей улыбкой, что на большее сочувствие к несчастью Веры он неспособен. Большого с него получить нельзя.

Потом протянул портсигар, зажег ее папиросу и закурил сам.

— Теперь побеседуем о деле, — начал он по-прежнему весело. — Я попросил вас приехать оттого, что вы мне очень нужны. Ведь, насколько я помню, вы хорошо обучены английскому языку. Фундаментально и с добавочным выговором? А? Ну, так вот.

Дело оказалось простым. В Москву прибыл американец — доктор — на несколько дней. Но беда в том, что он и журналист вдобавок, а мы этого не знали. Любопытный черт. Все ему видеть надо, всюду свой нос сунуть. Наши сотрудницы, как на подбор, все заняты. Некому с ним возиться, а одного его тоже оставить не годится с его любопытством. «Вот мне и пришлось в голову приспособить вас временно. Услуга за услугу. Я в долгу не останусь».

Он бросил в пепельницу папиросу и закурил новую.

— Сдам его вам под расписку. Не отпускайте его ни на шаг. Куда он, туда и вы. И переводчицей в разговорах. Впрочем, лучше поменьше посторонних разговоров и, главное, клиник и лечебниц. Очаруйте его. Вы ведь умеете. И всякие там загородные прогулки, виды и пейзажи, театры, ночные кабаки, цыгане.

Вера встала с места, подошла к столу и повернула рефлектор, освещая всю себя.

— Вы, должно быть, еще не посмотрели на меня? Видите, на что я стала похожа. Мне ли очаровывать? Вы смеетесь надо мной.

Она стояла перед ним, вытянувшись, нисколько не скрывая, а, напротив, подчеркивая, выставляя напоказ свой жалкий, усталый вид, и порванные перчатки, и сношенные туфли, и грошовый берет. Он, наклонив зеркально-лысую голову, оглядел ее серьезно и критически, будто взвешивая и оценивая.

— Да, — сказал он наконец, — экипировочка, действительно, подгуляла. И парикмахерский ремонт тоже спешно требуется. И, конечно, наводка красоты на фасад. Но все это пустяки. — Он протянул руку вперед, освобождая из-под манжеты большие круглые золотые часы. — Теперь без десяти одиннадцать.

Вера сжала руки в разорванных перчатках.

— А если я не захочу? А если я не соглашусь?

— Не согласитесь? — Он казался искренно удивленным. — Как так не согласитесь? — Глаза его вдруг блеснули хищным, пустым, стеклянным блеском. — Вы уже раз не согласились. Но тогда это касалось чувств, а в вопросах чувств я не допускаю ни малейшего принуждения. — Он вдруг рассмехался, весело и раскатисто, потом, вынув платок, вытер им глаза. — Ну, и рассмешили вы меня, дорогая. Давно так не смеялся. Отказываться все же не советую. Так вот, теперь без десяти одиннадцать, а в половине второго мы с вами завтракаем с американцем в «Метрополе». — Он протянул руку к телефону. — Сейчас вами займутся. Отделают вас под орех. Красавицей, как прежде, станете. Не извольте беспокоиться. И нарядят соответствующе. Не узнаете себя.

И, не дожидаясь ответа Веры, он снял трубку телефона.

В половине второго рыжеватая молодая женщина в белом костюме, с модной белой сумкой через плечо, в маленькой шапочке на свежесвитых волосах, вышла из автомобиля и вошла в отель «Метрополь».

Вера видела, как она, переставляя свои золотисто-шелковые ноги, прошла мимо швейцара и растерянно оглянулась на своего спутника, и тот одобрительно и ободряюще подмигнул ей.

Вере казалось, что она все еще стоит у окна своей комнаты, что еще не постукали в ее дверь, еще не крикнули: «К телефону вас». Ей казалось, что она из окна видит, как эта элегантная молодая женщина входит в отель. И чего она так волнуется? Бедная, бедная. Если она будет так волноваться, она споткнется, она упадет перед всеми этими людьми, загроможденными холл отеля и глядящими на нее, будто она на сцене. Будто она танцует на сцене, а они зрители. Но где уж ей танцевать, только бы дойти до стула, только бы сесть. Отчего все они с таким любопытством, так настойчиво смотрят на эту бедную элегантную женщину? Или это ей только кажется оттого, что она так давно нигде не бывала и так одиночала?

Надо успокоиться, взять себя в руки. Штром шел за ней. Она сознавала, что он здесь, за ее спиной, и его ненавистное присутствие действовало на нее успокоительно. Без него она совсем потерялась бы.

Прямо на нее, на них с Штромом уже шел американец. Это был тот самый американец. Такие не бывают русскими. Таких в Москве нет. Она не успела разглядеть, что в нем было такое особенное. Она только почувствовала: американец.

Штром уже здоровался с ним. Уже знакомил его с ней. Американец, улыбаясь, дружелюбно потряс ее руку — он действительно казался очень рад знакомству с ней или это была только американская манера знакомиться. И она, не задумываясь, ответила: «How do you do», — будто ей часто приходилось здороваться по-английски, будто она не разучилась вообще здороваться.

Теперь они сидели в ресторане за угловым столиком. Штром весело и суетливо составлял меню, советуясь с ней, с американцем, с метрдотелем, желая всем сразу угодить. Чтобы окончательно успокоиться, чтобы не смотреть на американца, Вера стала стягивать длинные замшевые перчатки со своих только что приведенных в порядок рук. Вид коралловых блестящих ногтей с непривычки все-таки удивил ее: уже больше двух лет она не лакировала ногтей, и теперь эти белые руки с красивыми ногтями казались ей чужими, такими же чужими, не принадлежавшими ей, как перчатки, которые она только что сняла. Но показывать удивление было нельзя. По дороге сюда Штром наставлял ее:

— Главное — помните, что вы снобка. Вас ничем не удивишь. Вы все видели. Вы избалованы. И плевать вам на Париж или Нью-Йорк. В Москве все лучше. Подчеркивайте это. Но вежливо, любезно. Ведь он гость, а мы, москвичи, славимся гостеприимством. Не нарушайте его представления о нас. О себе все врите и попышнее. Кроме, конечно, что вы знаменитая балерина. Это я ему уже сообщил.

— Бывшая балерина, — перебила его Вера. — Бывшая знаменитость. Все в прошлом.

— Где кончается прошлое, где начинается будущее? Попроще, Вера Николаевна. Без философии. Улыбайтесь очаровательно и молчите, если не знаете, что сказать. Предоставьте ему самому истолковать ваше молчание. Всегда в вашу пользу истолкует.

Хорошо, что можно было молчать, что Штром разрешил ей молчать. Штром говорил и за нее и за себя. Очень весело и бойко. Он объяснял, забавно гримасничая, что его уэйтчепельский выговор и странный подбор слов объясняются тем, что он во время войны 1914 года сидел в Лондоне в тюрьме за пацифистскую пропаганду. Два года просидел там и научился английскому языку; это ему потом очень помогло в его дипломатической карьере. Он весело смеялся, и американец смеялся так же весело. Ей тоже следовало бы рассмеяться, но она чувствовала, что это никак не удастся ей. «Улыбайтесь», — вспомнила она приказание Штрома, но и в своей улыбке она не была уверена. Осторожно, чтобы не получилось гримасы. Она ведь совсем разучилась улыбаться. Лучше проверить перед зеркалом, прорепетировать. Она открыла чужую белую сумку и, порывшись во множестве чужих предметов — карандаш для губ, пудреница, портсигар, золоченая зажигалка, — вынула зеркало и наклонилась над ним. Из чужого зеркала выглянуло чужое лицо. Будто НКВД, снабдив ее чужим костюмом, сумкой и шляпой, снабдило ее также и чужим лицом. И постоянный вопрос при виде себя в зеркале: «Я? Почему это я? Разве это я?» — прозвучал сейчас совсем по-новому. Ответ возможен только один: «Это не я. А если это все-таки я, то «я» — ложь и обман. Просто ложь и обман: «я» вовсе не существует». Ей захотелось додумать до конца, как же это так, понять что-то очень важное. Но она уже выпила вина, и ее мысли стали ускользать от нее.

Она осторожно приоткрыла подрисованные красные губы. Так вполне сносно. Чужая улыбка. Но другой, не чужой, улыбки и быть не могло на этом чужом лице. Вполне сносно. Ведь все — только ложь и обман. Как раз то, что нужно, — эта улыбка. Она захлопнула сумку и посмотрела кругом, по-новому улыбаясь. Только веки лучше опускать, чтобы не были видны ее глаза. Ее глаза — это она еще утром видела в зеркале — были, как два пятна горя, и совсем не подходили к улыбке, хотя бы и лживой.

Как часто она прежде бывала в этом ресторане с Андреем. И все здесь совсем по-прежнему, ничего не изменилось в этом большом ресторанном зале. Тот же бобрик, тот же аквариум, те же красные шторы в окнах, те же зеркала и хрустальные бра на стенах. Все тут статично, навек окаменело в свете лакеев и смеющихся посетителей. Те же лакеи, те же посетители. И только двое — Андрей и она... Нет, об этом ей сейчас совсем нельзя было вспоминать. Она выпила еще стакан вина. Ей начало казаться, что все здесь совсем не так уж статично, не так окаменело в неизменности. Нет, время изменило и этот ресторан. Только в чем это изменение, чего оно коснулось? Конечно, не стен, не штор, люстр, аквариума, столиков и лакеев. Нет, не место изменилось, не внешность, а содержание. Изменился воздух, изменилось настроение, изменилась душа этого места. Изменились посетители, дело было в них, это они создавали настроение, это они были душой этого ресторана. Но ведь они были прежние, эти посетители. Они бывали тут и два, и три года тому назад. Она узнала в лицо многих из них. Мода, сообразила она, мода переменилась. Не та женская мода, предписывавшая женщинам носить сумки, как почталыоны, через плечо, стягивать талии в рюмочку, ватировать плечи костюмов, завивать волосы над лбом. Нет, мода более глубокая и менее бросающаяся в глаза. Мода раздоров, жестов, мода настроений, чувств и мыслей. Мода характеров. И мода эта была на простецкость, на жизнерадостность, на хамоватость. Рубаха-парень, душа нараспашку — вот, должно быть, идеал этой моды. Подчеркнутое довольство своей судьбой и своим положением в своей стране.

За соседним столиком сидел когда-то знакомый с Верой и ее мужем «знатный человек страны», знаменитый инженер. Он говорил очень громко и звонко, горловым голосом, и собеседник отвечал ему так же. Будто для публики, чтобы все слышали, о чем они говорят. Подчеркнуто: «Секретов нет. Ничего не скрываем». Они сопровождали слова стуком по столу кулаком с поднятым вверх большим пальцем. Оба. Это тоже, должно быть, был модный жест. Прежде Вера не видела его. Кулак с опущенным большим пальцем — жест императора, означавший смерть побежденного гладиатора-раба. Обратный жест побежденных рабов — не значит ли он: жить, во что бы то ни стало жить? Напрасно поднимают — жить все равно не дадут. Какой вздор, о каком вздоре я думаю! Ведь я здесь по приказанию Штро-

ма. Мне следует теперь заговорить с американцем. Но слов для разговора еще не находилось. Лучше молчать и улыбаться, раз это разрешено.

Она снова посмотрела на притворно самодовольного и самоуверенного «знатного человека». И чего он так старается? Захотят сослать или расстрелять — сошлют или расстреляют. Стучи, не стучи кулаком с поднятым вверх пальцем.

Он повернул к ней голову, и лицо его сразу потеряло все самодовольство, всю самоуверенность. Глаза стали косящими, и взгляд их трусливо убежал в сторону. Но только на мгновение. Глаза, вспыхнув радостью узнавания, уже снова возвращались к Вере и открыто и радостно остановились на ее лице.

— Вера Николаевна! Вы ли это? Сколько лет, сколько зим...

Вера поняла. Он увидел Штрома. Если она со Штромом и к тому же так элегантно одета, значит ее не только можно, ее непременно нужно узнать.

Она кивнула ему.

— Как поживаете?

— А-атлично, — ответил он преувеличенно радостно. — А как же можно у нас в Москве поживать? Небось, сами знаете.

— К сожалению, нет, не знаю. Я была почти два года больна и только теперь начинаю поправляться.

— Ай, ай, ай, нехорошо! — «Знатный человек» покачал головой. — То-то я смотрю — похудели будто. Поправляйтесь скорей. Жить стало веселей, а-атлично стало жить. За ваше здоровье! — Он выпил рюмку водки и закусил, крикнув, как извозчик. — Удивительно приятно стало жить!..

Ну, как кому. Да и вам — долго ли будет приятно? До первой катастрофы, до первого расстрела. Но этого, конечно, Вера не сказала. Это она только подумала.

Штром положил ей еще спаржи.

— Вам надо хорошо питаться.

И он сейчас же принялся объяснять американцу, что Вера была больна и только недавно стала снова выходить...

Ложь, ложь, обман. Она старалась не слушать. Но есть тоже не могла. Она, постоянно мучившаяся голодом, мечтавшая о таком вот рябчике, о такой вот спарже, теперь, когда этот рябчик и эта спаржа очутились на ее тарелке, только брезгливо отворачивалась от них. Но ведь она была тут не для того, чтобы есть. Она исполняла приказание Штрома, и это мешало ей есть. Ее горло от волнения сузилось, и жевать стало утомительно. Но пить можно было, и она пила. От вина становилось спокойнее, легче. Штром зорко наблюдал за ней своими блестящими, веселыми глазами. Она не могла догадаться, доволен ли он ею или нет. Он улыбался. Но ведь в то утро он тоже улыбался той же самой вкрадчивой, ласковой улыбкой. Она вздрогнула. И американец сейчас же озабоченно спросил:

— Вам нездоровится? Вам холодно?

— Нет, нет. Я чувствую себя отлично.

Вот и она уже поддалась общей моде. Вот уже и она говорит «отлично», скрывая за этим «отлично» свой страх: поняла, что теперь необходимо чувствовать себя отлично или по крайней мере притворяться, что чувствуешь себя так.

Как давно она не пила крепкого черного кофе! С коньяком. Вкусно, и сердце начало тепло и гулко стучать в груди: «Я тут, я тут, я тут. Не бойся, нечего тебе бояться. Нечего».

Разве нечего? Может быть, правда, ей нечего больше бояться.

Может быть, все страшное уже позади.

Но и это была ложь, но и это был обман. Все — ложь и обман. Даже стук собственного сердца.

Штром закончил вымышленный рассказ о ее болезни и уже успел перейти к тому, что интересовало его, к чему он вел рассказ. И американец пошел ему навстречу. Так просто и естественно. Раз Вера сейчас ничем не занята, раз все ее время свободно, почему бы ей не быть такой бесконечно милой и не сделаться гидом американца по Москве?

— Давайте попросим ее вместе, — предложил Штром.

— С восторгом! — Американец, безусловно, был искренен. Ему, без-

условно, очень хотелось, чтобы Вера шпионила за каждым его шагом. — Но как мне вас попросить? Как?

Упрашивать совершенно не требовалось, ведь Штром уже приказал ей. Она уже согласилась, иначе бы она не была здесь. Она только не смеет показать американцу, что она согласна. Не надо торопиться.

Она, рассеянно улыбаясь, смотрела на американца. Она уже овладела улыбкой. Нет, смотреть на него все-таки не надо. Глаза могут ее выдать. Она стала следить за дымом папиросы.

— Я собиралась хорошенько отдохнуть. Ни с кем не видется, лежать целыми днями. Мне надо окрепнуть перед поездкой в Крым. Я, право, не знаю...

— Вера Николаевна, — настаивал Штром, — вы ведь не только очаровательны, вы еще и добры. Ну, ради нашей старинной, верной дружбы. У вас так много друзей, но все-таки один из самых преданных...

Ложь, издевательство. У нее нет ни одного друга на свете. Только враги. И этот американец, конечно, тоже враг.

Вере хотелось плеснуть Штроду кофе в лицо. Она сознавала, что немного пьяна. Не настолько, чтобы, действительно, плеснуть кофе, достаточно, чтобы поколебаться — не плеснуть ли?

— Если бы вы согласились, — голос американца звучал наивно и просяще, — вы бы так скрасили...

Она продолжала курить, улыбаясь и следя за дымом.

— Согласиться? Но я так устала. А вы ведь захотите осмотреть всю Москву, все увидеть, со всеми поговорить. Это очень утомительно.

— Нет, я не утомлю вас. Вы сами составите программу, вы повезете меня только туда, куда захотите, — уговаривал американец. — И вы сделаете доброе дело.

Доброе дело! Ей совсем не хотелось заниматься добрыми делами, но и зла ей тоже делать не хотелось. Ни добра, ни зла. Ей приказали, и она слушалась. Только и всего, и нечего этому американцу так благодарить, так радоваться.

— Вы не можете себе представить, каким я чувствовал себя одиноким в Москве.

Штром поднял брови на зеркальном лбу.

— Не может быть! Одиноким в Москве? Но ведь у нас никто не чувствует себя одиноким, не правда ли, Вера Николаевна?

И Вера ответила:

— Конечно, у нас в Москве даже бездомные кошки не чувствуют одиночества. Одиночество. Какое забавное слово! Я даже не вполне понимаю, что это значит. Но, по-видимому, что-то очень неприятное. Оди-но-че-ство...

Глава третья

Прощаясь после завтрака, Штром сердечно пожал руку американца.

— Гора с плеч! Теперь, когда у вас такой гид, я спокоен за вас. А то — непорядок: приехал иностранный гость и скучает в Москве. У нас в Москве всем должно быть весело и хорошо... Так до скорого...

И, улыбаясь, он быстро пошел к выходу, довольный результатами завтрака, уже занятый новыми делами, уже не думая ни о Вере, ни об американце. Он ведь все предусмотрел и устроил, и дальше все покатится правильно, по заранее намеченному плану.

Но ничего правильного не вышло. И никакого движения тоже не было. Все сразу остановилось, как только Штром исчез в дверях. Разговор оборвался.

Они еще остались допивать кофе. Штром сказал:

— Вы народ свободный, вам торопиться нечего. А я, рабочая кляча, завидую вам, да надо идти работать. Если бы вы только знали, какой я лентяй. А известно, что из лентяев всегда выходят самые отъявленные труженики.

Может быть, поговорить о лени. Прочитировать: «*Za paresse est de*

lices de l'âme?» *. Но вряд ли он понимает по-французски. И это, наверное, слишком тонко для него. Что сказать ему? Что?

Чувство неловкости все сильнее охватывало ее. Ей казалось, что она успела успокоиться, привыкнуть к американцу и к своей роли за время завтрака. Но без Штрома она чувствовала себя потерянной. Подумать только — потерянной без Штрома! Мысль, что Штром хоть на минуту мог быть ей нужен, была настолько чудовищной, что разогнала даже неловкость.

— Что же мы теперь будем делать? — спросила она, пользуясь тем, что смущение немного отпустило ее горло.

— Что хотите. Я готов, не споря, всюду следовать за вами.

Куда везти его? Об этом она еще не успела подумать. В сумке лежал список дозволенных мест, данный ей Штромом. Но нельзя вынимать списка.

Она молчала. Он тоже молчал. Молчание, по-видимому, совсем не тяготило его. Она знала, что англичане могут молчать часами, что они говорят только, когда им есть что сказать. Может быть, и американцы тоже. Но ее учили, что молчание вдвоем невежливо, что надо во что бы то ни стало разбивать его первыми попавшимися словами, не давая молчанию перейти в натянутость и недовольство друг другом.

Первые попавшиеся слова. Но никакие слова не попадались. Если бы вспомнить, с чего начинается список. И вдруг память, сжалившись над ней, подсказала: «С музеев».

Музеи. Как просто! Как умно. Лучше ничего и придумать нельзя. Она повезет его в Третьяковскую галерею. Она будет водить из залы в залу, пока у него не разболится голова и он не захочет отдохнуть у себя до вечера. А вечером она повезет его на концерт или в театр. Конечно, она тоже устанет в музее, у нее тоже разболится голова. Но ничего, пусть.

— Вы уже были в музеях?

— Нет, но я должен сознаться — я не очень интересуюсь картинами и статуями. И это, наверно, слишком утомительно для вас.

— Раз я ваш гид, я должна исполнять свои обязанности.

Он рассмеялся.

— Не вздумайте только слишком серьезно относиться к ним.

— Но наши музеи...

— Верю, верю. Одни из лучших в мире. Я был прошлой весной в Италии и на всю жизнь наглядился. Откровенно говоря, надоели мне музеи.

— Что же тогда?..

Она совсем растерялась. Но он неожиданно предложил сам:

— А что если просто поехать за город покататься? Сегодня такой чудный день.

Да, конечно, чудный день. Она забыла, что сегодня именно то, что другим кажется чудным днем. Чудным днем для загородных прогулок. Штром ведь советовал прогулки и пейзажи. И чудный день — тоже тема, благодатная тема. Англосаксонцы вообще очень много говорят о погоде, гораздо больше, чем русские. Она сумеет поговорить о погоде, о весне, о зиме. Любите ли бегать на лыжах? Я прекрасно плаваю, а вы?

Она кивнула.

— Да, очень приятно покататься. Хотите, поедem на Воробьевы горы?

— Надо сказать лакею, чтобы он нашел такси.

— Нет, зачем? Меня ждет моя машина.

Она сама удивилась, как уверенно она произнесла «моя машина». «Моя» — это значит машина НКВД...

Но заявление о «ее» машине, по-видимому, его несколько не удивило. Что удивительного, если у знаменитой балерины своя машина? Не может же знаменитая балерина вечно трепаться в такси. А что если бы признаться ему, что у нее и на трамвай не всегда хватает, что даже трамвай, уже не говоря о метро, для нее роскошь?

Они вышли вместе из отеля. Они сели в автомобиль НКВД.

Американец сидел слишком близко к ней. Она отвыкла, она разучи-

* Лениность — душевное наслаждение? (франц.)

лась сидеть так близко. Очень тягостно такое близкое соседство в этом калящемся маленьком ящике.

— Опустите, пожалуйста, окно, — попросила она.

— А вы не простудитесь?

— Нет. Жарко.

Сквозняк — это именно то, что нужно. А так она чувствовала, когда он поворачивал голову к ней, его дыхание на своей щеке. И это было отвратительно.

Она сидела неудобно, в натянутой позе на краю сиденья, плотно прижимая локти, чтобы только не коснуться американца.

Неужели и она любила когда-то так кататься? Отвратительно. До чего отвратительно! Если бы можно было открыть дверь, выскочить на всем ходу, спрятаться в одном из подъездов. Спрятаться от американца, от Штрома, от судьбы. Но и это желание было неисполнимо, как и все ее желания. И не стоит думать о нем.

— Как я благодарен милому Штрому, что он познакомил меня с вами! Теперь, рядом с вами, я готов верить, что Москва прекрасный город и здесь никто не грустит и не скучает. А сегодня утром, — он наклонился к ней, — вы, конечно, еще спали в десять часов и вам даже не снилось, что вы сегодня же станете добрым самаритянином, пожалевшим бедного чужестранца.

— В половине десятого ко мне приходит массажистка, — неожиданно для себя ответила она, как будто время перенеслось на два года назад, когда новый день, действительно, начинался не ругаными соседней за стеной, а приходом массажистки. Добрый самаритянин? Что он такое сделал? Что-нибудь библейски-похвальное, но что именно? Она не помнила, хотя когда-то ее мать читала ей эту самую английскую Библию, которую Волков отнес Андрею в тюрьму. Нет, об Андрее сейчас совсем нельзя было вспоминать.

Американец продолжал:

— Разве я смел мечтать о таком гиде, как вы? Подумать только: знаменитая балерина, избалованная обожанием поклонников...

Она слушала. Неужели это о ней? И она кажется ему избалованной. Значит, он совсем слеп и не видит ее.

— По этим улицам я проезжал сегодня утром. Мне было невыносимо скучно. Прохожие казались мне угрюмыми и злыми и Москва — несчастнейшим городом на земле. Оттого, что я был так одинок. Такое одиночество надо самому испытать, иначе не поверишь.

Да, надо самой испытать. И она не верила, пока сама не испытала, какое бывает одиночество на свете и какое горе.

Она слушала, глядя в окно. Вот уже и московская окраина. Как давно она не была здесь, не видела этих провинциальных домиков, покосившихся под нежным натиском лет, этих палисадников и выглядывающих из них подсолнухов. Неужели и тут горе? Все то же русское горе, без края, без конца. Девочка в голубом платочке, завязанном под подбородком, играет с пушистым котенком. Она машет рукой автомобилю. Неужели и эта голубоглазая девочка будет такой же несчастной?

Вере казалось, что она когда-то очень давно, еще голубоглазой девочкой, видела в последний раз эту горячую пустыню колышущихся полей, это плоское, добела раскаленное небо и дальше, совсем далеко, будто за горизонтом, зубчатую цепь леса. На повороте дороги одинокое дерево вдруг протянуло к ней ветви с таким сочувствием, так приветливо, что ей на минуту показалось, что она любит и понимает природу и природа любит и понимает ее. Но нет. И это было неправдой. Она никогда не любила и даже почти не замечала природы. Ей раньше было не до природы. Но и теперь природа ничем не могла утешить ее. И дерево, родственно-приветливо протягивающее ей ветви, и васильки, мелькающие среди ржи, и прозрачное облако, прелестно погибающее на безжалостно раскаленном небе, — все это было не для нее. Все это было раз и навсегда чужое. Не стоило даже смотреть. И она обернулась к американцу.

Но на него, без сомнения, действовала природа. Его душа всколыхнулась и, конечно, просила выхода в словах. И слова нашлись.

— Когда я был ребенком, — начал он...

Вера всегда удивлялась, до чего люди ценят и даже переоценивают

свое детство и как до самой смерти не умеют по-настоящему отделаться от него. Они вырастают, потом стареют, лысеют, теряют зубы, но не становятся взрослыми. Не могут вычлестись от своего детства, забыть его. Вот и американец заговорил о своем детстве. Пусть. Так гораздо спокойнее. Слушать легче, чем говорить. Надо только казаться внимательной и время от времени: «Продолжайте, продолжайте, это так интересно».

Но ей совсем не было интересно. Ей ровно никакого дела не было до его американского детства. Детство как детство, похожее на десятки других, читанных ею в книгах. Прежде, когда она еще могла читать, когда она умела еще интересоваться чужой судьбой. Славный,мышленый мальчик, в меру шаловливый, добрые, нежные родители (а у кого они не добрые и не нежные?), и сестричка, и скай-терьер Джой. Ладный, но банальный рассказ о детстве. Но разве он рассказывает про американскую жизнь? Нет, она не так представляла себе Америку. Тихий городок, весь в садах. Двери даже на ночь не запираются — воров нет (а гангстеры?). Все знакомы друг с другом и любят «нашего доктора». Он идеалист, бесребреник (это американец-то?!). Он лечит даром бедняков. Но бедняков мало, все живут благополучно. Дедушка каждый день выходит на прогулку в поисках приезжих, чужих, в городке и приглашает их к себе пить чай. Он знает, как скучно без друзей...

Вере казалось, что американец смеется над ней. Разве это Америка? А где погоня за долларами, звериная борьба за существование, вечная спешка, *time is money* и все то, что известно в России каждому?

Автомобиль катился по шоссе, телеграфные столбы нежно гудели от жары, ласточки чернели на проводах, как ноты на нотной партитуре. Вера слушала; теперь становилось ясно, что он не ограничится одним детством, что он хочет рассказать ей всю свою жизнь. Пусть.

Вот, наконец, и Нью-Йорк. Как он любит его, как гордится им! «Каждый небоскреб — памятник американской изобретательности», — говорит он.

В Нью-Йорке он стал журналистом. После того, как кончил медицинский факультет. В семье был скандал — отец хотел передать ему свою клинику. Мать плакала. Дедушка отрекся от него. Ведь четыре поколения были врачами. Но он настоял на своем и уехал в Нью-Йорк. Без денег (вот, наконец, и знаковый *self made man*). Через два года он поехал навестить своих уже в собственной машине, набитой подарками. И даже дедушка примирился с ним — ведь он преуспел. Но судьба сыграла с ним странную штуку. Наследственность — не пустые слова. Голос крови. В первое же воскресенье в клинику привезли умирающую женщину. Ее надо было немедленно оперировать, а ассистент отца был за городом, уехал на *week-end*. Отец попросил его заменить ассистента. Ведь у него был диплом. Операция. Борьба со смертью, длившаяся больше суток. Он не отходил от больной, и наконец победа. «Это ты спас ее», — сказал ему отец. Он никогда не испытывал такой гордости. И он бросил писать, и теперь он доктор. То есть он иногда еще пишет, но больше в медицинских журналах. В газетах редко. Вот когда вернется, он, конечно, опишет все, что видел здесь. «Я восхищен многими, что видел здесь, что узнал ваши удивительные больницы»... Значит, он совсем слеп. Не только слеп, но и глуп. Нет, он не глуп, он просто доверчив. Ведь он видел показательные больницы, специально устроенные для таких вот слишком любознательных иностранцев. Обман, ложь. Настоящую действительность ему помешает увидеть она, Вера, представленная к нему Штромом. О, Господи, какой слепой, какой наивный! В больницах больные мрут, как мухи, нет даже хины и аспирина. Всюду грязь, беспорядок. В квартире, где она живет, она слышала жалобы одного из соседей, побывавшего в государственной больнице, — хуже тюрьмы.

А американец продолжал:

— В вашей прекрасной стране, где после веков гнета все наконец стали равны...

Равны? В чем равны? В несчастье и горе? Нет, даже в несчастье не все равны. Она, например, умудрилась быть незаслуженно счастливой среди общего несчастья. Впрочем, исключения подтверждают правило. И притом исключение длилось так недолго. Теперь и она уравнена в несчастье с остальными, на ее плечи навалился даже избыток горя, почти непереносимый избыток.

А он все рассказывал о себе. И понемногу, как когда-то, когда она еще читала книги, персонажи его рассказа стали оживать.

Она видела его мать, расчесывающую перед сном волосы серебряными щетками, и веселую тонконогую сестричку с теннисной ракеткой в руке, и отца, и дедушку, и даже серого скай-терьера. Она видела их всех. Она видела почву под их ногами, такую устойчивую, твердую, и высокое, чистое небо над их головами, небо лучезарное, как надежда.

На повороте мелькнул куст розового шиповника. Она взглянула на него. Но автомобиль уже пронесся мимо. Ей показалось, что розовый куст шиповника цвел не тут, у подмосковной дороги, а там, в рассказе американца, и оттого он такой пышный, розовый и прелестный.

— Как хорошо! — сказал американец. И это, по-видимому, относилось не только к его воспоминаниям, но и к действительности сегодняшнего дня.

Хорошо? Да такому, как он, всегда было и будет хорошо. Он может откровенно и правдиво рассказать всю свою жизнь. Ему нечего скрывать. Он даже не догадывается, что ему лгут, его обманывают. Он не верит, что на свете существует зло. Мир разделен прямой чертой на «можно» и «нельзя». Всякому ясно, что можно делать и чего нельзя. Ни у кого не возникает даже сомнения.

Можно не послушаться родителей, уехать из дому, работать по восемнадцать часов в сутки и голодать. Оттого, что в конце концов те же родители будут вынуждены гордиться своим сыном, сумевшим стать известным журналистом. Как просто. И как им, должно быть, легко жить в Америке. И они ничего не боятся. Чего им бояться?

Он кончил. Теперь можно было помолчать. Он рассказал ей всю свою жизнь — это должно было их сблизить. Он, наверно, доволен ею как собеседником. Она знала, что слушатель — лучший собеседник. Прежде и она очень ценила слушателей — ей всегда хотелось говорить самой. Но теперь ей решительно нечего было сказать.

Он молчал недолго.

— Мне кажется, что у вас было удивительное детство. Вы, вероятно, были восхитительной девочкой, такой, какие получают призы на конкурсах у нас в Америке.

Удивительное детство? Ну да, он уверен, что оно было, как в кинематографе, — «детство маленькой княжны в пожаре революции». Сказочно богатый князь-отец, фрейлина-мать, балы, пиры, жизнь во дворцах, пока не сожгли дворцов, не расстреляли папу-маму и княжна не стала беспризорницей.

Но сочинять рассказ из 1001-й революционной русской ночи или какую-нибудь «Алису-Веру в стране чудес» ей было совсем не под силу.

Она опустила веки и вздохнула.

— Ах, мое детство было таким грустным! — и отвернулась к окну. Это было как раз то, что нужно. То, что без слов рассказало о великолепии и нищете ее сказочного детства. Она открыла сумочку и достала носовой платок.

— Ради Бога простите меня. — Американец казался растроганным. — Это было ужасно, должно быть.

— Гораздо ужаснее, чем вам кажется. — Ее голос дрогнул. Она думала не о своем детстве, а о том, что случилось с ней два года тому назад. Ей было приятно, что она может сказать правду. — Это было так ужасно, как в сказке.

— Бедная маленькая девочка, — прошептал он.

Он сочувствовал ей. В его коричневых глазах заблестели желтые точки. Да, он сочувствовал ей. Но не тому, что она пережила после ареста Андрея, а несуществующему горю не существовавшей никогда девочки. И разве дети бывают уж так несчастны? Это все выдумки о безутешности, о безысходности детского горя. Теперь ей, действительно, хотелось заплакать. Не о прошлом, о настоящем. Она не знала, что сочувствие может быть неприятным. Непонимающее сочувствие. Оно еще больше подчеркивает ложь и обман. Нет, между ней и американцем не может быть ничего общего. Никто не может ей сочувствовать. Она даже сама себе не сочувствует.

Она тряхнула головой.

— Не надо больше воспоминаний.

Он молчал. И она не старалась прервать молчание. Она понимала,

что ее молчание заменяло длинный, подробный рассказ о ее жизни, ее детстве, что оно сближает их и ему кажется, что она была с ним так же откровенна, как и он с ней.

— Вы не устали? — спросил он вдруг. — Я ведь должен помнить, что вам нельзя утомляться.

Да, она устала. Она очень устала. И она запуталась в противоречивых впечатлениях этого дня. Она даже не знала сейчас, так ли ей противно, так ли ей отвратительно сидеть в автомобиле, так ли ее тяготит близость этого американца.

— Я гид, я не вправе утомляться.

— А обедать вы со мной будете? — спросил он.

— Конечно, буду. Это входит в обязанности гида.

Он казался очень довольным.

— Тогда вам лучше вернуться и немного полежать перед обедом.

А он что будет делать? Ведь Штром приказал: «Ни на шаг не отлучайтесь. Куда вы, туда и он».

Он вернется в «Метрополь». Ему надо написать письма домой. Пока он не знал ее, ему было так тоскливо в Москве, что даже писать не хотелось.

— В Лоскутку, — приказала она шоферу, и автомобиль плавно завернул.

Те же поля, леса и дома. Теперь они казались более воздушными и легкими от прозрачных теней, скользящих по ним. Неужели уже скоро вечер? А она и не заметила. Она подняла голову и посмотрела вверх, на небо. Небо было теперь совсем голубое, чистой глубокой голубизны от края до края. Оно казалось таким благодатным, таким счастливым. Но ведь этого не может быть. Это тоже обман, ложь. Небо только прикидывалось. Не может быть счастливого неба над несчастной страной.

— В Лоскутку, — сказала она шоферу. Штром предупредил ее, что на время «работы» ей будет отведена комната в 5-м Доме Советов, в прежней Лоскутной гостинице.

— Я заеду за вами в восемь. Не слишком рано, не слишком поздно?

Для чего рано? Для чего поздно? Все слишком поздно. Все слишком рано.

Она покачала головой.

— Нет. Как раз хорошо.

Для чего хорошо? Что может быть хорошего, когда все навсегда непоправимо плохо? Когда все ложь и обман. Слова ничего не значат. Они, как ветер, как гул телеграфной проволоки на столбах, как звон трамваев.

— Мы чудесно прокатились. Я надеюсь, вы не слишком устали. Вы сегодня сделали доброе дело.

Голос американца звучал убежденно.

Доброе дело. Злое дело. Направо — добро, налево — зло. Все ясно, просто и понятно. Для него. Не для нее. Ей никогда не разобраться, где добро, где зло. Вернее, для нее все — зло. Никакого добра нет. Нет и быть не может.

Автомобиль остановился. Американец помог ей выйти. Она подала ему руку.

— До вечера.

— Какого цвета платье вы наденете?

Какого цвета? У нее вообще нет платьев, кроме единственного синего, выгоревшего. Но ведь не об этом платье он спрашивает ее... Комната на Лубянке, открытый шкаф, в котором, как радуга, переливаются вечерние платья. Она стоит перед большим зеркалом. На нее надевают что-то, обдергивают, подкалывают, советуются между собой, к лицу ли ей. Ее мнения не спрашивают, и она не смотрит на себя в зеркало. Ей все равно. Ей не до того. Кажется, отобрали несколько платьев. Какого цвета? Нет, она не знает. Не обратила внимания.

— Цвет моего платья?

Она прищурилась и посмотрела вдаль.

— Я еще не знаю. Это будет зависеть от цвета моего настроения. До вечера еще далеко.

Неужели есть женщины, говорящие такой вздор? Но американцу ее ответ, по-видимому, понравился. Именно так и должны говорить москвички.

Снова холл гостиницы. Она уже успела освоиться, привыкнуть к своей роли. Роли обеспеченной, праздной, элегантной женщины. За полдня она привыкла к ней больше, чем к той, которую ей пришлось играть эти два года. Ее уже не удивляет, что портье почтительно подает ключ от ее комнаты — № 32 — третий этаж, что мальчик у лифта сгибается перед ней почти пополам, отворяя перед ней дверь.

Ее комната. Светлая, нарядная, с ванной и телефоном на ночном столике. Ее вещи — чемоданы, данные на Лубянке, уже тут и даже уже распаксованы услужливыми руками. Но разве это комната? Это тюремная камера, куда ее заперли. Ничего, что нет решеток на окне, что ключ торчит в двери, что телефон поблескивает у кровати. Все это только декорация.

Она брезгливо сняла чужой костюм и блузку, сбросила чужие туфли, чужое белье. Ведь все это не принадлежало ей, а было дано только на время. Это было орудие производства, не больше.

Она легла. Кровать была мягкой и удобной. Как давно она не спала в удобной кровати! Да, в такой кровати можно уснуть. Несмотря ни на что, уснуть. И она, действительно, уснула.

В дверь постучали. Сейчас крикнут: «К телефону вас». И все опять начнется сначала. Весь кошмарный день повторится в кошмаре сна. Но крика «к телефону вас» не было. Дверь тихо отворилась, вошла горничная в кружевном переднике, неся белые розы. Она положила розы Вере на кровать.

— Вам прислали. Уже половина восьмого.

Вера, недоумевая, смотрела на розы. Вот почему он спрашивал о цвете ее платья. Белые розы идут ко всему. Как смешно — белые розы ей. Она протянула руку и потрогала хрустящие, свежие лепестки. Розы ей. Как смешно. Она села и засмеялась. Но ведь за завтраком ей было так трудно смеяться, она пробовала, не удавалось. А теперь она смеялась гулко, широко, и смеяться было легко, смеяться было увлекательно. Еще и еще. И не хотелось останавливаться. Как смешно. Нет, до чего смешно! Розы ей!..

Но разве смеются так, даже если очень смешно? Так длительно, так иступленно-звонко. Может быть, это истерика? У нее никогда не было истерики. Нет, нет, она смеялась просто оттого, что смешно, безумно смешно. Подумать только... И она захлебывалась новым смехом.

Горничная поднесла стакан воды к ее губам.

— Выпейте. Вам дурно?

Зубы стучали о край стакана. От смеха. Она, давась, выпила глоток холодной воды, и смех вдруг оборвался.

Вера устало перевела дыхание.

— Нет! — Она отстранила стакан. — Мне совсем не дурно. Я видела такой забавный сон.

Горничная поставила стакан на ночной столик. Она не спросила, какой забавный сон снился Вере, какой сон может заставить так смеяться. Ее профессионально-вежливое лицо не выразило ни удивления, ни недоверия. Она, конечно, тоже служила в НКВД и была великолепно вышколена.

— Полежите еще минутку, пока я напущу вам горячую ванну. Горячая, хорошо для нервов.

И сейчас же из ванной послышался водопадный шум. Горничная вскоре вернулась, щелкнула выключателем и достала из шкафа черное тюлевое платье.

«Цвет моего платья будет зависеть от моего настроения». Нет. Она ошиблась. Нет, ее настроение сейчас совсем не было черным. Черное — это тоска. Но она сейчас не испытывала тоски. Конечно, тоска была тут, она только спряталась на несколько минут, испугавшись смеха. Конечно, она где-то тут, и она скоро опять почувствует ее. Она повернулась на спину и легко вздохнула. Это только пауза, передышка. И все-таки как приятно. Смех лучше сна успокоил и освежил ее. Истерический смех — ведь это, конечно, было начало истерики. Она знала, что после истерики чувствуют себя больными, разбитыми. Отчего же ей стало так легко, так весело?

Горничная поставила на коврик перед кроватью парчовые домашние туфельки и подала ей розовый шелковый халатик.

Это уже было слишком. Этого она не ожидала. Дневные, вечерние платья, чулки, башмаки, сумки, все, что видят другие, все, что является

«орудием производства». Но зачем на Лубянке заботились о халатике, о домашних туфлях? Она откинула стеганое одеяло, встала и с удовольствием надела халатик. И вдруг, покраснев, поняла. Там, на Лубянке, все предусматривают. Ведь американец может пожелать прийти к ней. Прислали на всякий случай...

Чувство легкости бесследно исчезло уже в ванне, растаяло в горячей воде. И, когда пришло время надевать черное платье, оно оказалось как раз под цвет ее настроения.

Она еще раз оглядела себя. Нет, решительно она не нравилась себе. И разве это была она? Разве это была Вера Назимова? Разве она была такая прежде?

Глава четвертая

За обедом она чувствовала себя натянута и неловко. Слишком глубокий вырез ее платья смущал ее. Она поежилась. И американец сейчас же забеспокоился.

— Вы не простудились во время прогулки?

— Нет. Но здесь свежо.

Он встал и набросил на ее плечи накидку. Под накидкой сердце забилось ровнее.

Он был всецело занят ею. Будто она здесь главное лицо. Она совсем забыла, как приятна такая заботливость. Вернее, она никогда не видела такой — американской — заботливости. Даже Андрей, несмотря на всю его любовь к ней, не умел быть таким заботливым. Это их национальная, американская черта. У них полагается так заботиться о женщине, с которой обедаешь, как полагается посылать ей цветы.

— Я еще не поблагодарила вас за ваши чудные розы. Они доставили мне такое удовольствие.

Удовольствие? Разве? Этот ее смех вряд ли можно назвать удовольствием.

— Я выбрал белые розы. Вы ведь сами похожи на белую розу.

На белую розу. Она знала, что англосаксы, как правило, не делают никаких комплиментов, кроме разве самых банальных, классических. А что могло быть более банально и классично, чем сравнение женщины с белой розой?

И все-таки как смешно: ее — с розой. Она почувствовала смех, снова подступавший к горлу. Нет, здесь нельзя смеяться, нельзя. Она торопливо выпила стакан вина.

— У вас волосы, как у моей сестры. Такие же бронзовые и блестящие, будто на них всегда светит солнце.

Такие же. Вряд ли. Этот бронзовый оттенок и блеск им придали сегодня утром в парикмахерской НКВД, а до этого они были тусклые, бурые. Но об этом она ему, конечно, никогда не расскажет, как и обо всем остальном.

Ему хотелось поехать в театр, в котором она танцевала. Очень хотелось. Она кивнула. Отчего бы и нет? Балет стоит в списке, данном Штромом. И вообще все театры. Невинное времяпрепровождение. Рекомендованное.

Но она не думала, что ей будет так больно входить в Большой театр. За все это время она ни разу даже близко не подходила к нему, отворачивала голову, чтобы не видеть его, когда ей приходилось быть на Театральной площади. Никогда не смотрела на афиши.

И вот после двух лет почти. Нет, она не думала, что ей будет так больно.

Они опоздали. Фойе было пусто. Седой капельдинер подходил к ним. Его тупое лицо выражало удивление — ведь и ему, как и всем здесь, было отлично известно, что Назимову выгнали из балета.

— Предупредите директора, что я приехала с американским журналом.

Она протянула капельдинеру ордер на места во всех театрах, подписанный Штромом, и капельдинер, униженно согнув свою старую спину в дореволюционном поклоне — не перед ней, перед ордером, — отпер двери, и они вошли в ложу.

Театр был полон. И это удивило Веру. Ей как-то не приходило в голову, что театр по-прежнему переполнен. Для кого все эти зрители пришли, раз она, Вера, больше не танцует? Конечно, она сознательно никогда не представляла себе, что театр пустовал оттого, что она больше не танцевала, но ощущение недоумения и обиды все-таки зыбко расплывалось в сумерке ложи.

На сцене шла «Жизель», уже второй акт «Жизели». Вера равнодушно и рассеянно скользила взглядом по зрителям. То, что происходило на сцене, не касалось ее. Не касалось и не интересовало. У нее больше не было никаких отношений с балетом. Она сидела здесь только оттого, что так захотел американец, что Штром велел ей исполнять желания американца.

Она перевела скучающий взгляд на сцену. «Скоро кончится, — подумала она с облегчением. — Я скоро уйду отсюда. Скучно». Нет, это не была скука. Она только притворялась скучающей и рассеянной. Ей было больно. Она чувствовала, как неразрывно, как кровно она связана с прошлым.

...На сцене белели кресты и надгробные плиты, освещенные зеленоватой бутафорской луной, бумажные цветы шуршали таким восхитительным, таким знакомым шорохом. Все было то же, все было прежнее — как при ней. И музыка... Эта музыка... Даже мертвая, Вера услышала бы и узнала ее. Даже мертвая, она проснулась бы в гробу, услышав ее. Проснулась бы. И она действительно просыпается. Одна из могильных плит поднимается, и из гроба, из прошлого, из музыки встает она, Жизель, — Вера. Она в узком бархатном корсаже и пышной белой юбочке, с по-детски причесанными волосами. Как тихо, как грустно под музыкой и под луной. Она танцует. Но разве этот восторг, это блаженство можно назвать танцем? Нет, это полет над землей и жизнью, это превращение в музыку, в лунный свет. Это — воскресение из мертвых...

Удар грома. Удар грома рукоплесканий. Небо, обрываясь, падает, отделяя Веру от крестов, луны и музыки, от блаженства вдруг воскресшего прошлого. Нет, это не небо, это упал занавес. Это просто упал театральный занавес.

Вера растерянно заморгала, еще не понимая, что с ней случилось, уже догадываясь, что ничего не случилось.

— Вы тоже танцевали Жизель? — спросил американец, наклоняясь к ней.

Она кивнула, изнемогая от волнения. Она еще не могла говорить, совсем как когда она, запыхавшись, выбегала со сцены, почти падая от усталости и счастья.

— Как вы, должно быть, чудно танцевали Жизель! Я смотрел на эту балерину и все время представлял себе вас вместо нее.

— Это была моя первая большая роль.

— Как жаль, что я не увижу, как вы танцуете! — Он помолчал немного. — Я бы очень хотел пройти за кулисы. Это возможно?

Конечно, отчего бы нет? Ведь за кулисы пойдет он, американец, племянник знаменитого сенатора, бывший журналист, с которым полагается быть любезным и предупредительным. Вернувшись в Америку, он, наверно, напишет и о своем посещении Государственного балета. И необходимо, чтобы он написал лестно. Вот если бы она одна вздумала пройти за кулисы... Но такого безрассудного желания у нее не могло явиться. Она слишком хорошо помнит, как ее выгнали отсюда. А как гид, как проводник американца — почему бы и нет? Милости просим.

Они вышли из ложи. И опять, как в ресторане, она почувствовала на себе взгляды толпившихся и гулявших по фойе людей. Может быть, ее узнали. Нет, на нее смотрели оттого, что на ее спутнике единственный в театре смокинг.

— Осторожно, ступенька.

Капельдинер открыл перед ними узкую дверь. Теперь они шли, как по подводному царству, между громоздящимися коралловыми рифами декораций и свисавшими, как змеи, канатами. Вера вдохнула воздух, пахнувший краской, пылью и пудрой, восхитительный, навеки потерянный для нее воздух кулис.

— Я хотел бы взглянуть на вашу уборную, — объяснил американец свое желание побывать за кулисами.

У нее давно не было никакой уборной. Но об этом пусть ему скажет директор. Пусть выпутывается, как знает..

Она толкнула последнюю дверь.

Нет, балет был не там, на сцене, балет не то, что они только что смотрели. То было другое, тому она не знала имени. Балет был здесь, за кулисами, и начался он сейчас же, как только они с американцем перешагнули порог.

Конечно, здесь уже были предупреждены и их ждали. Со всех сторон к ним слетались розовые балерины, группами и парами, грациозно простирая объятия, будто в заранее срепетированном движении. И вот в сольном номере выскочила Зиночка Кранц, а все остальные расступились, давая ей место для выражения радости встречи. Ведь Зиночка считалась лучшей подругой Веры Назимовой еще в школе, и она, понятно, не могла ограничиться пируэтом и поцелуем воздуха. Она высоко подняла свои худые набеленные руки и обвила их вокруг Вериной шеи. Вера слегка отшатнулась, и накрашенные губы Зиночки оставили малиновый след на Верином подбородке. Зиночка Кранц ликовала и праздновала радость возвращения Веры, а кругом воздушным розовым облаком наплывал кордебалет.

Вдруг по диагонали, прорезывая колышущееся розовое облако, слегка подпрыгивая от спешки, прокатилась серая овальная фигура директора и встала перед Верой.

— Солнышко. Божественная, спасибо, что вспомнили нас.

Балет продолжался. Директор отвесил низкий поклон Вере и, отскочив на шаг, такой же поклон американцу. Конечно, Штром предупредил его, и он уже знал, что это важный гость. Он потряс руку американца.

— Переведите ему, что вы наша слава. — И, не дожидаясь, постарался сам объяснить, указывая широким жестом на Веру: — Notre gloire — voilà! Может быть, его шампанским угостить?

— Он хочет посмотреть мою уборную, вернее, то, что когда-то было моей уборной.

— Но ведь она и сейчас ваша. Ждет вас, как и мы все. Только временно, за недостатком места, ею пользуется Петровская, — волновался директор.

В ее прежней уборной все было переделано и даже мебель переменена. Вера насмешливо прищурилась.

— Действительно, все, как при мне.

Петровская встретила ее с той же притворной радостью — Верочка еще красивее стала! И до чего шикарна! И он. Какой интересный. Познакомь меня. Теперь по всей Москве хвастать буду, что с важным иностранцем за руку здоровалась. И еще в двубортном смокинге.

Но американца не интересовали ни балерины, ни директор. Он деловито осмотрел уборную, будто вымерил ее всю взглядом, потом пощупал венки на стенах, осмотрел фотографии.

— Какой интересный! — шептала Петровская. — И сразу видно, влюблен в тебя по уши. Я завидую тебе, Верочка.

— Завидуешь? — Вера удивленно взглянула на нее. На загримированном лице Петровской сияла та самая улыбка бессмысленного восторга, с которой она проделывала свои самые трудные па на сцене, но в подведенных глазах мелькало что-то искреннее, неподдельное. И это была зависть.

Нет, Вера ошиблась. Нет, это не могла быть зависть. Нет, ей только показалось. Она оглянулась на остальных, живописно столпившихся в дверях, на их нагримированные, искусственно и восторженно улыбающиеся лица, на их подведенные глаза, в которых пряталась та же зависть, что и в глазах Петровской.

Завидуют ей. Но разве это возможно? Разве они не понимают? Разве не знают, что в Москве никто, кроме сотрудников НКВД, не посмеет показываться с иностранцем?

И все-таки единственным настоящим в этом балете, изображающим радостную встречу, была зависть.

Вера взяла американца под руку.

— Сейчас антракт кончится. Ну, веселитесь, девочки.

Один небрежный кивок им всем и директору, и вот она уже шла обротно, уводя американца.

Розовое облако потянулось за ними по коридору, хор звонких голосов пропел прощальные слова. Вера не обернулась и ничего не сказала в ответ.

Они снова шли по фойе. Вот она и побывала в «Потерянном раю». Лучше бы не бывать. Разве лучше? Она не знала. Она не могла разобраться в себе и в своих чувствах. Все было так спутано, так противоречиво. Только одно было бесспорно: она испытывала удовольствие.

Но откуда могло взяться удовольствие? Ей было отвратительно, ей было стыдно. Она шла, опустив голову, соображая, откуда могло взяться удовольствие. И вдруг поняла. Удовольствие возникло из зависти. Из зависти, с которой все эти подлые твари смотрели на нее. Да, несмотря на все ее горе, на всю грязь, в которой она барахтается, ей завидовали.

— Вы знаете, как дрессируют кроликов? — спросила она неожиданно для себя. — Кролик — самый трусливый зверек на свете. Ему стараются внушить, что он не самый слабый, что и его кто-то боится. И если кролик поверит...

Она оборвала. Что за чепуха? При чем тут дрессировка кроликов? Он подумает, что она заговаривается.

Американец наклонился к ней.

— Как очаровательно вы улыбаетесь!

Разве она улыбалась? Она не чувствовала, что улыбается. От удивления она остановилась и подняла голову.

Прямо перед ней, на белой стене фойе, висел ее портрет. Большой портрет Веры Назимовой. Той, прежней, Веры Назимовой — до катастрофы. Во весь рост, улыбающаяся, с поднятой головой. В пышном тюлевом платье, с розами на груди. Но разве был такой портрет? Кто и когда нарисовал его? И как он мог попасть сюда, в фойе театра?

Она не помнила, не помнила. Она, не отрываясь, смотрела на портрет. Фон портрета вдруг зашевелился и ожил, и на портрете, над улыбающимся лицом прежней, прелестной Веры Назимовой, показалась голова американца.

Глава пятая

Телефон загудел. Вера сняла трубку.

— Это вы, Рональд?

— Так он для вас уже Рональд! Нет, красавица моя, это только я, Штром. Слушайте внимательно. Во-первых, поздравляю, вы выше похвал, а во-вторых, хорошенького понемножку. Пора и честь знать нашему иностранному гостю. Не такое нынче время. Говорил он вам, когда уезжает?

— Нет, не говорил.

— Тогда вам самой придется намекнуть ему. Придумайте что-нибудь, ну, что уезжаете в Крым, съездите даже в крымский экспресс. Или что хотите. Только чтобы завтра его духа в Москве не было. Понятно? Будет исполнено? А?

— Постараюсь. Хотя что же я могу...

— Ну, можете вы многое. Вы молодец. Так я на вас рассчитываю. Пусть катится шариком, шариком. Сегодня последний день. До скорого, до приятного... Пока...

Вера повесила трубку.

— Сегодня последний день, — повторила она, подняла руки, зажав ими уши, чтобы не слышать. Но слышать было нечего, все было тихо. И ведь это не Штром, а она сама сказала здесь, в комнате: сегодня последний день.

Она опустила руки, оглянулась и прислушалась. Так, должно быть, чувствует себя лунатик, которого внезапно разбудят, подумала она. Нет, не на краю крыши, а когда он бродит по залитой лунной спальне и ему не грозит опасность упасть с крыши и сломать себе шею. Но как больно, как тяжело очнуться. Сегодня последний день. Конец, повторила она.

Конец лунатическому состоянию, в котором она так безрассудно-смело балансировала над прошлым, проходила у самого края готового поглотить ее будущего, не отдавая себе отчета в опасности, не замечая ее, забыв об ужасах прошлого, не думая об ужасах будущего. Сегодня последний день. А сколько их было всего, этих дней? Теперь, когда она очнулась, она с удивлением поняла, что их было только три. Неужели только три? Ей ка-

залось, что со знакомства с Рональдом прошли недели, месяцы, годы, а на самом деле прошло только три дня. Понятие о времени было так же относительно, как понятие о правде и справедливости.

Рональд знаком с ней лишь три дня, и он, наверное, сознавал, что их именно три. А для нее это было три дня и кусочек вечности. И этот кусочек вечности нельзя было измерить. Но вот она очнулась и подсчитала — три дня, и никакого присутствия вечности. Три дня, которые она провела, как лунатик, гуляя по краю крыши, высоко над горем прошлого, далеко от горя будущего. И нельзя было больше лукавить с собой. Было совершенно ясно, что она влюблена в Рональда.

А как насчет разлуки,
Насчет душевной муки,
Насчет измены как? —

прожужжала издевательски на окне большая зеленая муха. Эти строчки Вера слышала когда-то на концерте, она забыла, кто был автор. И не все ли равно? Но сейчас вопрос был поставлен ей. А как насчет разлуки? Только измены ведь не было. И в жужжании мухи сейчас же слово «измена» подменилось словом «обман».

Насчет обмана как?..

Теперь вопрос требовал ответа. Муха на окне жужжала все настойчивее.

Вера, уже одетая и причесанная, легла на постель и уткнулась в подушки лицом. Она не плакала, она ни о чем не думала. Она лежала неподвижно, тепло, ровно дыша в подушку.

Телефон снова загудел. На этот раз это был Рональд, и он уже ждал ее в холле. Нетерпеливо ждал, у лифта. Здороваясь с ней, он с недоумением взглянул ей в лицо, будто стараясь понять, в чем перемена, происшедшая в ней за ночь.

— Что случилось?

Она покачала головой.

— Ровно ничего.

— Но у вас такой усталый, грустный вид. Пожалуйста, не грустите. Улыбнитесь скорее. Я совершенно не могу переносить вашей грусти. Мне необходимо сейчас же утешить вас, защитить от грусти.

Он взял ее под руку, и они пошли к выходу.

Утешить, защитить ее? Нет, это невозможно. Никто не может ни утешить, ни защитить ее. Даже он.

Она отвернулась, чтобы он не видел ее лица.

— Я действительно немного устала. Я все утро укладывалась. Я завтра еду в Крым.

Она чувствовала сквозь рукав пальцы, сжавшие ее локоть. Нет, лучше этого не замечать, и она спокойно объяснила:

— Я получила телеграмму из санатория. Освободилась комната, и я должна занять ее не позже, чем послезавтра. Иначе придется ждать еще три недели в этом московском пекле.

— Но разве вы не можете поселиться в отеле или на частной даче?

— Нельзя. Никто комнат не сдает.

Это была неправда, но ведь он не знал, не мог проверить.

— Какие дикие порядки! — Он казался возмущенным. — И неужели вы им подчиняетесь?

Она пожала плечами.

— А вы разве не заметили, что в России, как в греческой трагедии, люди не столько действуют сами, по своему желанию, сколько подчиняются? Исполняют волю рока или, по-нашему, необходимости.

— Но ведь в трагедии герой непременно обречен на гибель.

«Конечно. И мы, русские, все это сознаем и ждем гибели», — хотелось ей ответить. Но она сказала:

— Тут сходство останавливается. Если не считать вообще жизнь любого человека любой страны трагедией, оттого что она непременно кончается смертью — гибелью. А вы когда уезжаете? — спросила она.

— Уезжаю?.. — Она видела, что ее вопрос удивил его. — Это будет зависеть...

Она не решилась спросить: «Зависеть от чего?» Она знала, что он от-

ветит «от вас». Но ведь от нее уже давно ничего не зависело. Даже ее собственные слова.

— Красиво в Крыму? — спросил он. Она растерянно заморгала. Она не помнила, не знала, она совсем забыла. Прежде, когда она бывала в Крыму с Андреем, ей казалось, что красиво. Но ведь это сейчас не имело никакого значения для них. Ни он, ни она никогда не поедут в Крым, так зачем же заниматься обсуждением его красоты?

— Очень, — сказала она рассеянно и добавила, вздохнув: — Душно, верно, гроза будет.

За завтраком Вера много пила и мало ела. Душевное равновесие ее было нарушено, и она никак не могла его восстановить. Вино не помогало. От вина становилось только еще грустнее, еще безнадежнее. Последний день. И как он быстро проходит, как быстро, как бестолково, как томительно, в пустых словах, в мелькании лакеев от столика к столику по красному ресторанным ковру. Ей хотелось плакать. Но ведь она так редко плакала. Даже тогда, два года тому назад, она не плакала. Она сжала руки под скалкой и стала смотреть на потолок, мешая слезам.

— О чем вы думаете? — спросил он.

О чем? О том, чтобы не заплакать, о том, что она несчастна. Еще несчастнее, чем до встречи с ним, о том, что она влюблена, и вот уже пришла разлука, и вот уже пришел конец.

— Я ни о чем не думаю. Я просто грущу без причины. И это меня сердит. Я ненавижу себя.

Да, это была правда, она ненавидела себя. Как хорошо, что он ничего не знает о ней и никогда не узнает, что она превратится для него в прелестное московское воспоминание. «Она знаменитая балерина, — будет рассказывать о ней, — она четыре дня была моим гидом».

Ей хотелось попросить кого-нибудь о помощи. Но кого? Не Бога же! Она давно перестала молиться Богу. И Бог все равно не услышит молитвы предательницы. Разве Иуда мог молиться, мог рассчитывать на помощь Бога? Иуда был ее духовным предком, ее единомышленником. Тридцать сребреников. Она не получила даже и тридцати сребреников. Но ведь и ему они не пошли на пользу.

Она вздохнула.

— Я так нервна сегодня. Все меня раздражает.

Он кивнул.

— Это гроза. Женщины и кошки чувствуют приближение грозы.

— Я так несносно впечатлительна. Я чувствую даже облако, пролетающее сейчас над крышей. — Она вздохнула. — Ах, мне очень тяжело. Очень!

Этот глупый разговор, эта притворная чувствительность, это облако, которое она будто бы чувствует. Все это было совсем не то, что ей хотелось и следовало ему сказать. Но она не знала, что именно она хотела, что именно следовало ему сказать.

— Так когда же вы уезжаете? — снова докучливо спросила она. — Я — завтра утром. И это последний день нашей дружбы.

Он покачал головой.

— Нет, мне не кажется, что последний. Непохоже как-то, чтобы последний.

— Отчего непохоже? И разве бывает похоже? Все всегда непохоже. Все всегда бывает иначе. Я уже давно заметила.

— Нет. — Он снова покачал головой. — По-моему, как представляешь себе, так все и случается. Всегда.

— Хотите, поедемте покататься после завтрака? — предложила она.

Он, конечно, хотел. Немногие дни знакомства они катались после завтрака, и это уже стало привычкой. Не менять же привычек в последний день?

Ей снова хотелось понять, что именно ей следовало сказать ему, но понять нельзя было ничего. Она выпила чашку кофе. Волнение увеличилось, сердце застучало быстрее, и мысли стали путаться, перебивая друг друга. Но куда спешить? Куда? Вперед ведь только конец. Она поставила локти на стол, уперлась ногами в покрытый красным бобриком пол. Нет, она не желает спешить. Это последний день. Пусть он проходит медленно, грустно и торжественно. Ничего, если ему, Рональду, будет немного скуч-

но. Теперь это уже не имеет значения. Теперь уже ничто не имеет значения.

Но ему не было скучно. Он смотрел на нее, и лицо его выражало живое, напряженное внимание, будто то, что он сейчас видел, непременно надо было запомнить навсегда. Они пили кофе и молчали. Ведь он не был русским, его не тяготило молчание.

Я влюблена в него, думала она. Он еще здесь. Он сидит здесь, рядом со мной, со своей невероятной честностью, доверчивостью и нежеланием знать зло. Он представитель свободной, счастливой страны, где в тюрьмы попадают одни преступники, где люди вольны жить и делать, что им хочется, а не дрожать в вечном страхе за свою жизнь. Я еще могу поднять глаза и посмотреть на него. Но я не смею. Я смотрю вниз — на пятно на скатерти. Даже не на окружающих. На пятно. Пятен очень много на обоях комнаты на Басманной, в которую я завтра вернусь. Пятен очень много в жизни, в которую я завтра вернусь. Самых обыкновенных пятен грязи...

Она закурила папиросу. Ей не хотелось вставать, но и сидеть здесь бессмысленно и бесцельно ей тоже не хотелось.

Она взяла перчатки. Новые перчатки, надетые утром в первый раз. Завтра их придется все вернуть на Лубянку. Те, что она носила, и те, что еще не успела надеть.

Он сейчас же встал и помог отодвинуть ее кресло. Она надела сумку через плечо. Когда я буду потом вспоминать Рональда, подумала она, я буду, наверно, ясно представлять себе его лицо, гораздо яснее, чем сейчас, когда я могу еще посмотреть на него. Если даже я посмотрю на него сейчас, я увижу свое отчаяние, свою влюбленность, а не его лицо. Но она смотрела в сторону, она не решалась встретиться с его взглядом. Она только чувствовала его взгляд на себе, и это было тяжело. Но завтра, когда он больше не будет смотреть на нее, ей будет еще тяжелее. Лучше не думать о том, что будет завтра, и она пошла вперед к выходу из ресторана, к тупику будущего, к вонцу, к отсутствию будущего. Будущего больше нет и не будет. Только настоящее. Последний сегодняшний день, но и он так быстро, на глазах отцветал, съеживался и блек. Совсем маленький лоскуток, лепесток жизни, только несколько часов. И даже ими не удастся воспользоваться из страха перед тем, что завтра уже ничего не будет.

Они снова сидели в автомобиле, и автомобиль снова катился. Все снова двигалось в пространстве и времени суетно и бестолково. Чувство невозможности остановить это движение было мучительно, как укол иголки в висок.

Она прижала руки ко лбу.

— У вас болит голова?

Разве это называется «болит голова»? Она кивнула на всякий случай. Ей было больно, очень больно.

— Посидите так, с закрытыми глазами, вам станет легче, — посоветовал он.

Она вздохнула и послушно закрыла глаза. Но легче не стало. Сухой, горячий ветер врывается в окно. Она чувствовала его на своих веках, в своих волосах. Она больше не слышала ни звона трамваев, ни гудков автомобилей. Они, должно быть, уже выехали из города. Ей было безразлично. Она не открывала глаз.

Удар грома раздался совсем неожиданно. Она вскрикнула и схватила Рональда за рукав.

— Не бойтесь. — Он обнял ее за плечи. — Это ничего, это только гроза.

Он торопливо стал закрывать окно автомобиля.

По стеклу потекли потоки воды. Небо было почти черное, и все-таки все вокруг блестело и сверкало от яростного дождя. На шоссе сразу образовались лиловые озера, разлетающиеся брызгами под колесами автомобиля. Все казалось насквозь промокшим, размокшим, тающим, как сахар в воде. Дома и деревья потеряли четкие очертания, стали оседать, набухать, как губки, становиться прозрачными.

Сквозь занавес дождя одинокое дерево у дороги гнулось и шумело, то высоко вздымая к небу ветви, то склоняясь в земном поклоне. Ветер гнал несущиеся вскачь разорванные облака. Все вокруг было полно смя-

тения и страха. Молния вдруг перечеркнула огненной ломающейся чертой весь этот мрачный пейзаж, будто навсегда зачеркивая и уничтожая его. Второй удар грома был еще сильнее первого. Автомобиль остановился, как если бы молния пришила его к месту.

— Не бойтесь, не бойтесь, — повторял Рональд. Он все еще осторожен держал ее за плечи. Она отвернулась от окна и взглянула на него.

— Я не боюсь, — сказала она спокойно.

Это была правда. Она не боялась больше. Совсем не боялась. Впервые за два года она не чувствовала ни малейшего страха. Ни страха перед грозой, ни страха прошлого, ни страха будущего. Она была совсем спокойна. Ей было хорошо. Нет, она не принимала участия в трагическом смятении и переполохе природы. Чувство ясного покоя, неожиданно возникшее в ней в грохоте грома и сверкании молнии, удивляло ее. Ведь она с детства боялась грозы. Отчего же она так спокойна?

Его рука все еще лежала на ее плече, защищая ее от страха, одиночества и тоски, наполняя ее легким, нежным покоем.

Дождь прекратился. Солнце засияло над мокрой землей. Вера, улыбаясь, смотрела на Рональда. Теперь она видела его. Ничто не мешало ей смотреть на него. Она видела его так близко, так ясно — его рот, его подбородок, его лоб. Она смотрела в его глаза, и глаза его вдруг стали прозрачными для нее. Она могла теперь просто, как сквозь чистое стекло, заглянуть в его мысли и чувства. Она не только понимала, она видела их. И это нисколько не удивляло ее.

Она молчала. Говорить не надо было. И без слов все было понятно. Последний день. Нет, это не последний, а первый день.

— Голова прошла? — спросил он.

Она кивнула.

— Очень хорошо.

Это «очень хорошо» относилось и к ней, и к нему, и к мгновению, в котором они сейчас жили. К мгновению, вполне, до конца исчерпанному. За ним, за этим исчерпанным до дна мгновением, ей вдруг почудился просвет, превращающий «теперь» и «сейчас» в «навсегда». Это была полнота жизни, то почти невозможное ощущение настоящего, длящегося сейчас мгновения, возникающее только от столкновения с таким горем или таким счастьем, к которому, несмотря на весь свой опыт, человеческая душа все-таки не подготовлена. Вера уже пережила раз в жизни вот такое до конца исчерпанное мгновение. В тот день, когда Волков объяснил ей, что она предала мужа. Но сейчас она не узнала знакомых ощущений. Ей казалось, что она впервые чувствует эту длящуюся сейчас минуту, чувствует ее так ясно, так естественно и осязаемо, будто держит ее в сжатой руке и видит, как она медленно, как снежинка, тает на ее ладони.

Они уже въезжали в Москву.

— Мне кажется, вам лучше всего отдохнуть, полежать, чтобы мы могли вечером повеселиться как следует.

Она согласилась. Она согласилась бы решительно на все, что бы он ни предложил ей. Ей совсем не было жаль, что она должна расстаться с ним до вечера. Разлука больше не пугала ее. В том состоянии воздушного покоя и радости, которое все еще длилось, разлуки больше не существовало.

— Вы обещаете, что ляжете отдохнуть?

— Обещаю.

Они улыбнулись друг другу. Все было ясно и просто. Он помог ей выйти из автомобиля, он довел ее до входа в ее отель.

— Решено, что вы завтра едете в Крым? — спросил он.

Она почувствовала, что краснеет. У нее больше не было сил лгать ему.

— Я еще не знаю. Там видно будет.

— Где там?

Она помахала рукой.

— Ну, там. Там, где мы сегодня ночью будем. Решим вместе. Или, может быть, я решу во сне.

Опять эти глупые, ничтожные слова, которые она употребляла как щит для самозащиты.

— Лучше решим вместе, — сказал он. — Я не очень доверяю вашим снам. Мало ли какие у вас там могут найтись советники.

Она рассмеялась. Ведь он старался попасть ей в тон и быть остроумным.

Она вошла в крутящуюся стеклянную дверь. Она с удивлением чувствовала, как ей легко идти, каким нежным и податливым стал пол под ее счастливыми ногами. Таким, совсем таким бывал пол сцены, когда она выбегала на нее в сиянии прожекторов и музыки. Она отперла дверь и вошла к себе.

Окно осталось открытым, и тюлевая занавеска надувалась как парус. Вера вдруг увидела перед собой голубое море и белый парус на горизонте. Белый парус яхты, на которой плывут они с Рональдом.

Она сняла костюм и туфли и, откинув одеяло, бросилась в раскрытую постель, как в волны.

— Спать, спать. Сплю, — сказала она себе и сейчас же заснула.

Сон не разгушил чувств воздушного, нежного покоя, наполнившего ее. Казалось, ничто уже никогда не сможет справиться с ним. Стоило ей прижать руку к груди, чтобы услышать совсем новый, легкий, счастливый стук своего сердца, такой ровный и спокойный, что она не могла не улыбаться. Прежде ей казалось, что радость и любовь всегда были связаны с волнением. Теперь она впервые поняла, что счастье — это покой.

Глава шестая

После обеда, после оперы, после долгого восхитительного вечера они оказались здесь, в кабаре, в подвале на Тверской. После восхитительного вечера наступила восхитительная ночь. Все было восхитительно, именно таким, как должно было быть. Таинственный, притушенный веселый свет освещал силуэты женщин и мужчин в другом конце узкого, затянутого коврами помещения. Казалось, они были посажены здесь только для украшения, для удовольствия глаз Веры и ее спутника и сами по себе не существовали. Вера и Рональд были здесь одни, и это для них бегали и кланялись лакеи, рассыпался струнный оркестр, искрилось шампанское. Только для них. Все остальное было обстановкой, украшением, фоном, на котором разворачивалось их счастье. Все было только фоном и музыка тоже. Она подымалась волной и снова падала, увлекая за собой Веру. Вера чувствовала, как она качается на звуках, и в памяти вновь возникла яхта, на которой они плыли — будут плыть по Тихому океану. Ей захотелось рассказать Рональду о надувшейся парусом занавеске и о белой яхте, но она не знала, как. И разве надо рассказывать? Когда-нибудь, когда они действительно будут плыть вдвоем на белой яхте, она скажет ему, что уже видела в московской отельной комнате эту яхту, и их вдвоем на ней, и даже этот синий шарф с белым якорем вокруг его шеи. Нет, конечно, Рональд не удивится. Ничего удивительного нет, что она предугадала будущее. И сейчас, если она захочет, музыка поднимет угол завесы, отделяющей сегодня от завтра, и в ее звуках возникнет будущее Веры и Рональда, их восхитительное будущее. Но она не хочет. Пусть все остается покрытым неизвестностью и музыкой, ведь все равно ее будущее будет восхитительно, раз они навсегда вдвоем и он увезет ее в свою счастливую страну, где не верят злу.

Теперь на эстраду толпой вышли цыгане, цыганки в пестрых шالях, с блестящими серьгами, спускающимися вдоль щек, цыгане с гитарами. Они долго рассаживались, будто устраивались на ночлег табором, поудобнее и побезопаснее, переговариваясь взволнованными гортанными выкриками. И, наконец, запели для них. Только для них с Рональдом. Цыганам не было дела до остальных ушей, слушающих их. Они пели для Веры, для Рональда. Как хорошо пели:

Время изменится,
Все переменится,
Сердце усталое
Счастье узнает вновь...

Ну да, конечно, конечно. Вера, улыбаясь, кивала. Это было именно то, что нужно. Обещание, подтверждение. Все хорошо, и то ли еще будет.

Шампанское обостряло зрение и слух, помогало еще яснее разбираться во всем, что происходило сейчас, и правильнее оценивать это невероятное, это великое, чудесное событие ее жизни. Когда-нибудь, через пять, через десять лет, она будет с недоумением спрашивать себя: как могло случиться, как могла она, опозоренная, нищая, всеми брошенная, опять стать невероятно счастливой? И все это будет тогда казаться ей загадкой и тайной, и она никогда не перестанет удивляться своему чудесному превращению. Но все это будет потом, а сейчас это таинственное превращение кажется ей совсем естественным — иначе и быть не могло. Удивляться она будет потом, сейчас она только восхищалась. Как и он. Ведь он испытывает те же чувства, что и она. Ей захотелось, чтобы он взял ее руку, лежавшую на столе, и он сразу взял ее своей теплой рукой. Ей захотелось еще пить, и он уже наливал ей шампанское.

— Теперь нам надо серьезно поговорить. — Он поставил бутылку обратно в никелированное ведро, и квадратики искусственного льда загремели мерзлыми голосками: «Да, да, да, надо».

Она взглянула на него. «Серьезно» не встревожило ее. Ведь все было очень серьезно, восхитительно серьезно. Способность видеть его мысли и чувства насквозь не изменила ей. Она видела, что ничего, кроме добра, она не могла ждать от него и от их будущего.

— Нам надо решить вопрос, — продолжал он, — едем ли мы вместе в Крым или сразу домой, в Нью-Йорк?

Она даже не удивилась. Иначе и быть не могло. Она сидела тихо, не шевелясь, и слушала его.

— Правильнее было бы сразу ехать домой и из Нью-Йорка поехать на какой-нибудь морской курорт, но если ваше здоровье...

Она покачала головой.

— Мое здоровье — пустяки. Но, чтобы уехать, нужно разрешение, а его мне ни за что не дадут.

— Ну, жене американца вряд ли могут отказать в праве выезда. А мы завтра же повенчаемся в нашем посольстве. У вас бумаги в порядке?

Если назвать порядком, что в ее трудниге написано «разведенная». Она кивнула.

— Да.

— И мы еще вернемся в Москву, — говорил он.

Пение то заглушало, то заставляло звучать его голос громче, будто он нырял среди светлых сугробов тишины.

— И тогда мы поедем в Крым. Я еще утром решил, что мы непременно должны вместе побывать в Крыму. И всюду, где проходило ваше детство.

Она ничего не сказала. Что он знал о ее детстве? Что он знал о ней? Нет, покой не был таким плотным и защищающим, он вдруг разорвался, как облако, и куски его уже неслись полосками дыма над ее папироской, уже плыли где-то под потолком, уносимые цыганскими голосами. И эти цыганские голоса. Что они теперь пели? Ее сердце остановилось от тревожного недоумения.

Обидно, досадно до слез и до рыдания,
Что в жизни так поздно
Мы встретились с тобой.

Поздно. Разве? Разве слишком поздно? Ей не приходило в голову. Может быть, действительно, уже слишком поздно.

А он говорил:

— Ваше сказочное трагическое детство. Всю его прелесть и весь ужас его вы никак не можете забыть. Но я постараюсь вылечить вас от воспоминаний.

«Прощай на вечную разлуку!» — пели цыгане. Для нее, для них. Она слушала голос Рональда, он говорил о ее лжи и сливался с отчаянными гортанными цыганскими рыданиями о разлуке, о прощании.

«Милый друг, мы с тобой не пара», — пели цыгане.

Это было невыносимо. Нет, она больше не могла слушать. Ей хотелось встать, уйти. Бежать, бежать. Она чувствовала, что не должна здесь больше оставаться, что ей надо бежать отсюда, спастись.

— Уйдем, — сказала она растерянно. — Мне не нравится, как они поют.

Он сейчас же согласился и поднял руку, подзывая лакея. Но лакей не видел, и открывшаяся перед ней, как дверь, возможность спасения хлопнулась в горьком цыганском выкрике.

Нет, ему не хотелось уходить отсюда. Он, нагнув голову, взглянул на нее просительно и робко.

— В сущности, здесь очень приятно, и ведь еще очень рано. Или, вернее, совсем не поздно.

Для чего рано? Для чего поздно? Она растерянно мигала, соображая. Ведь цыгане пели: «Что в жизни так поздно»... Ах, действительно: «До слез, до рыдания»... Ей вдруг захотелось плакать. Ей хотелось плакать, но она улыбалась. Она позволила уговорить себя. Она малодушно поддалась соблазну. Она осталась.

Вместо того чтобы спросить счет, он заказал еще бутылку шампанского. Если бы не эта бутылка...

«Уходи, уходи, — звенели гитары. — Уходи». Но она уже не могла уйти. Она понимала, что не следует больше слушать цыган. Но она была захлопнута в мышеловке. Как это говорил Волков? Мышей на бумажку лоят. Нет, она путает, не мышей — лягушек. Ах, все равно. Она, кажется, пьяна.

Я просто устала, уговаривала она себя. Я слишком устала, и я слишком счастлива. И я пьяна.

Она поставила локти на стол и оперлась подбородком о ладонь. Так она чувствовала опору своей тревоге. И ей стало легче.

Рональд говорил:

— Мы полетим на аэроплане. Иногда полеты бывают мучительны.

О, нет, для нее это будет как полет в рай. О, скорей бы только улететь. Навсегда. Америка. Разве существует Америка, такая Америка, в которой Вера будет счастлива?

А он продолжал:

— Это очень странно. Вы знаменитая балерина и вы так красивы, а у меня, глядя на вас, сердце сжимается от жалости. Несмотря на двойной блеск вашей красоты и знаменитости, вы постоянно кажетесь мне маленькой девочкой, заблудившейся в лесу. Бельничкой, почти прозрачной, пугливой девочкой, крестящей большие черные деревья, чтобы они не сделали ей зла. Мне постоянно хочется защитить вас от волков и разбойников в лесу, отвести вас домой, закупить вам игрушек и конфет. Я никак не могу забыть, что вы были таким несчастным ребенком.

— Разве я рассказывала вам о моем детстве?

Она не помнила, может быть, она и нагала ему какую-нибудь фантастическую историю.

— Нет. Но я знаю все о вас. Оттого, что я люблю вас.

Логично. Может быть, такая упрощенная логика годится в Америке, но не здесь, в Москве.

— Что же вы знаете обо мне?

Нет, этого вопроса не следовало задавать. Он прозвучал как вызов.

И он принял его как вызов. Он тряхнул головой, и лицо его вдруг стало мальчишеским и отчаянно смелым.

— Все знаю. Все. Отвечайте: был ваш отец князь? Был он близок к царю? Воспитывала вас английская nurse? Расстреляли большевики ваших родителей. Остались вы одна на свете. И не было ли чудом, что вы, наконец, попали в балет. Ведь все это правда. Отвечайте.

Отвечайте... Но он был так уверен в правоте своих слов, он так ликовал, так гордился своей пронизательностью, что она могла бы просто вздохнуть и наклонить голову или улыбнуться и промолчать, и это было бы принято им за подтверждение.

— Ваше трагическое, волшебное детство...

«Молчи, молчи», — советовали гитары. Но как молчать? Разве можно молчать? Ведь он любит не ее, а несуществующую маленькую княжну с расстрелянными папой и мамой. И все только ложь и обман. Та же ложь и тот же обман. Она вдруг увидела перед собой огненную ломающуюся линию, перечеркивающую ее будущее. Молния, вспомнила она. Тогда, несколько часов назад, когда она смотрела на молнию из автомобиля, ей со-

всем не было страшно. Но сейчас она оцепенела от страха. От страха перед тем, что она сейчас сделает, не может не сделать.

Молчи, молчи... Это не гитары, это стучит ее испуганное сердце. Молчи. Опять эта молния. В ее ослепляющем блеске она видела все свое прошлое, все прошлое, которое непременно надо было рассказать. Не когда-нибудь потом, а здесь и сейчас сознаться во всем до конца. Без этого будущее невозможно, оно будет зачеркнуто обманом и ложью.

В сознании единственное спасение. Она уже за завтраком смутно чувствовала, что надо сознаться. Все рассказать, чтобы настало полное понимание, полная райская близость. Нет, нет, она ничего не скажет. Она под скатертью крепко сжала руки, крепко сжала колени — не скажу. Буду молчать. Она понимала, что сжимает свои руки и колени, но она больше не чувствовала их. Их не было, они исчезли. Она хотела держать свои губы крепко сжатыми. Но они против ее воли уже раскрывались, они уже произносили какие-то слова. Сквозь шум в ушах и стук сердца и цыганское пение она прислушалась к своему голосу.

— Это все неправда. Мое детство не было ни трагичным, ни волшебным. Нет, мой отец не был князем. Он был обыкновенным доктором, даже не лейб-медиком. Петербургским доктором с большой практикой, но никакой роскоши у нас не было. Моя мама до замужества была учительницей английского языка, она со мной всегда говорила по-английски. После революции жить стало трудно, но никто не преследовал, не расстреливал моего отца. Он погиб вместе с мамой в железнодорожном крушении. Тогда моя тетя отдала меня в балетную школу.

— Но ведь это в тысячу раз лучше. Ваш отец был доктором, как я, как мой отец? Я, конечно, мирился с вашим княжеским происхождением, но я, в сущности, терпеть не могу аристократов. — Он рассмеялся. — Теперь, когда я знаю, кто вы на самом деле...

Она вздохнула и покачала головой.

— Нет, вы еще ничего не знаете обо мне.

— Самое главное я знаю. Остальное не так важно. Вы расскажете мне все ваше прошлое, когда мы будем плыть на пароходе. Мы будем лежать на палубе и смотреть на океанский горизонт. У нас будет столько времени для рассказов о прошлом.

Цыганские гортанные рыдания снова потрясли ее совсем обессиленное, совсем беззащитное сердце тоской по последней откровенности, последней искренности. Осторожней, осторожней, звенели гитары. Ты рассказала то, что можно было. Ни слова больше. Молчи, молчи. Но гитары напрасно звенели, напрасно советовали молчать.

Рональд улыбался. Она взглянула ему в глаза, и ей опять показалось, что она видит его всего насквозь, со всеми его мыслями, всей его любовью к ней. В нем не было ничего неясного, скрытого. Никогда еще ни с кем она не испытывала этого. Никто не умел отодвинуть заслонку, отделяющую его от остального мира, и дать ей, Вере, заглянуть в себя, как это делал он.

Но необходимо, чтобы и он видел ее насквозь, чтобы он знал о ней всю правду. Сквозь ложь и обман он не видит ее, не может понять ее.

— Детство — совсем не самое главное. Может быть, там у вас, в Европе, в Америке... А у нас в России самое главное — горе. У нас человек начинается не с детства, а с горя.

Лицо его стало озадаченным.

— С горя? Разве у вас было горе? Вы так избалованы судьбой, вы знаменитая балерина, все вас обожают...

— Ложь, — перебила она. — Ложь и обман. Слушайте все, все...

Она, торопясь, боясь, что не успеет рассказать ему всю правду, стала быстро говорить. Но выходило совсем не то и не так. Слова попадались приблизительные, неточные, фразы путались и обрывались. Она так ясно видела свое прошлое, но не умела, не могла его передать. Она думала только о том, чтобы рассказать все как можно правдивее, без преувеличения и прикрас, не жалея себя, не рисуясь, — всю правду. Для того, чтобы раз навсегда освободиться от прошлого, уничтожить его. Вот, она признается, и тогда настанет торжество правды и счастья. Но как тяжело, как стыдно признаваться.

Она сидела, глядя прямо перед собой на ковер на стене, но она не

видела ни ковра, ни стены. Ее взгляд был устремлен внутрь, туда, в прошлое.

Подробности... Нет, их надо отбросить. Неважно, что ей было холодно в то утро, когда ее везли к Штрому, и она дрожала. Она и сейчас дрожит, ей и сейчас холодно. Но она не протягивает руку за накидкой. Она говорит. Без выражения, отрывисто, тихим голосом, будто не о себе, а рассказывает содержание пьесы, виденной на сцене когда-то.

Но он поймет, он все поймет. Опять подробности, как невыносимо молчать, как трудно жить в перенаселенной квартире, как отвратительно, как тяжело мыть пол. Вонючая тряпка, грязная мыльная вода, не только свой пол, но и часть общего коридора. Нет, этого не стоит рассказывать, а вот это надо. Приход Волкова и как она узнала, что она предала Андрея. «В тот вечер я решила умереть. Но ведь очень трудно убить себя. Я не смогла, не хватило сил. Я осталась жить». И дальше о том, что она назвала «остаться жить». До звонка Штрома и приказа следить за американцем. Как ее наряжали в чужие тряпки, как ее подкрашивали и завивали волосы в парикмахерской, как Штром вез ее в «Метрополь» и как они там познакомилась. Нет, о том, что Рональд сразу понравился ей, не надо. Все. Теперь все. И совсем правдиво. Без прикрас и жалости к себе. Она вздохнула, и ей показалось, что ее прошлое отлетело от нее вместе с этим вздохом. Она, не решаясь еще повернуться к нему, краем глаза взглянула на Рональда. Но разве это был Рональд? Разве это он сидел рядом с ней на ковровом диване? Она не узнала его. Он казался даже непохожим на Рональда. Она не понимала, в чем перемена, она чувствовала только — это не он. Сердце стукнуло и остановилось. Цыганское пение ворвалось во вдруг образовавшуюся тишину. Гитары все так же звенели, но теперь они ничего не советовали, они рассыпались в отчаянно-веселом плясовом мотиве.

Она смотрела на него широко открытыми, непонимающими глазами. Он протянул руку и вынул из никелированного ведра бутылку, и квадратички искусственного льда снова зашептались мерзлыми голосками. Он наполнил ее стакан.

— Выпейте. — Он улыбнулся уклончиво и прибавил: — Да. Очень интересно.

Интересно? Она ждала все, что угодно. Только не это «очень интересно».

Она, не отрываясь, не мигая, глядела на него. Что случилось с ним? И вдруг поняла. Он замкнулся от нее. Она больше не может взглянуть внутрь его. Он захлопнул форточку, отделяющую его от остального мира. Он стал герметически закупоренным сам в себе. И чрезвычайно, подчеркнуто вежливым. Вежливым и холодным. «Как он это сделал?» — подумала она. Но разве было важно узнать «как»? Нет, важно не как, а «почему». Почему? Почему? Почему? Значит, он не понял?

Он вежливо пододвинул ей стакан. Он вежливо наклонил голову.

— Выпейте. А потом поедем. Теперь уже действительно пора. Поздно.

И он, не дожидаясь ее согласия, поднял руку, подзывая лакея. Пока лакей подходил, он успел сказать что-то о цыганах. Но она не разобрала, не поняла что именно, но слова «цыганское пение» мелькнули дважды. И, залпав, он все еще продолжал говорить, помогая ей встать с дивана, идя вместе с ней к выходу. Как будто не она, а он не переносил теперь молчания.

— Осторожно, тут ступенька. — Он вежливо взял ее под руку, но это была не его рука, не его прежняя манера поддерживать ее под локоть, так нежно и заботливо, с такой скрытой готовностью вести и поддерживать ее всегда, всю жизнь. Он просто помогал женщине, с которой шел, не споткнувшись. Эта женщина не была она, Вера, это была просто женщина, какая-то женщина, не имевшая с Верой ничего общего. Он был очень вежлив с этой женщиной, он занимал ее разговором. И в автомобиле тоже. Вера не знала прежде, что он такой разговорчивый. Она не слушала. Она все еще надеялась. Сумасшедшая надежда — вот они сядут в автомобиль, они окажутся одни, и он обнимет ее и будет молча целовать, как по дороге сюда. Но он отодвинулся в угол. Он даже смотрел не на нее, а в окно. Правда, он говорил что-то о московских ночах, о московских фонарях и домах, и это объясняло, почему он отвернулся к окну.

Вот он какой, подумала она. А я не знала. Я совсем не знала его. Ей казалось, что он наивный, откровенный, добрый, но вот он сидел рядом с ней, холодный, скользкий, замкнутый на ключ. И чужой, до чего чужой. Даже в то утро, когда они познакомились, он не казался ей таким непонятным и чужим. Тогда в его глазах было какое-то ласковое любопытство и он так приветливо улыбался, подавая ей руку в первый раз. Неужели сейчас он подаст ей руку в последний раз?

Автомобиль остановился перед гостиницей. Он помог ей выйти.

— Может быть, вы зайдете на минутку ко мне?

Ведь он вчера долго просил ее об этом.

— Нет, спасибо. Очень поздно, и мы оба устали.

Он снял шляпу, чтобы проститься с ней.

Если стать перед ним на колени тут, на тротуаре?.. Нет, и тогда ничего не изменится. Он вежливо позовет её встать, он не будет слушать, что она кричит, или, выслушав, пожелает ей «спокойной ночи».

Она протянула ему руку.

— Спокойной ночи, — сказала она охрипшим от тоски голосом и добавила: — Спасибо, — сама не понимая, за что благодарит его.

— Это я должен благодарить вас за прелестный вечер.

Он взял ее руку и вежливо потряс ее.

«В последний раз», — подумала она. Ночной ветер налетел из-за угла, край ее накидки поднялся, будто умоляя о спасении, и снова беспомощно повис.

— Холодно. Простудитесь.

Стеклопанельная дверь, сверкая отблеском уличных огней, расплывающихся перед ее глазами, полными слез, завертелась перед ней. Она вошла, не оборачиваясь. Он даже не сказал ей: «До завтра» или «Я позвоню вам утром». И она не посмела спросить: «Когда мы увидимся?» Она знала, она поняла. Никогда. Никогда больше.

Она вошла в лифт, она отперла дверь ключом, она зажгла свет — все, как всегда, как вчера, как позавчера, будто ничего не случилось. Автоматичность жестов без всякого участия воли. Да, так было и в тот день, когда к ней пришел Волков, — в самый страшный день ее жизни. Тогда она долго лежала, и теперь она тоже легла. Как была, не раздеваясь.

Конец. И она сама, она одна виновата. Зачем она призналась ему? Ведь он не хотел. Он сказал: на пароходе у нас будет столько времени, чтобы вспомнить наше прошлое. И что-то про океанский горизонт. Но она не удержалась, она неудержимо неслась к гибели, к самоуничтожению. Ей нужна была последняя откровенность, полное слияние душ. «О, бедная, о, ничтожная тварь. Так тебе и надо! — проговорила она с яростью и подняла голову. — Ты могла спастись, но ты сама сделала все, чтобы погибнуть. Оттого, что тебе втайне хотелось гибели, а не спасения. Нет, нет, я хотела спастись. Но я не хотела обмана. Чем же я виновата?» Она тихо и зло рассмеялась. Разве «это» могло случиться? И тишина комнаты ответила: «Конечно, могло. Если бы ты не призналась ему, он женился бы на тебе завтра же и ты навсегда была бы счастлива...»

Она вскочила с постели. Если могло, значит, и сейчас еще может. Еще ничего не потеряно. Надо только объяснить ему, что он не так понял. Она не сумела убедить его, не нашла нужных слов, она говорила слишком сдержанно и сухо. Сейчас она снова объяснит, расскажет ему все. И он поймет.

Она сняла телефонную трубку и вызвала «Метрополь». Но поговорить с ним ей не удалось. Телефонная барышня сонным голосом ответила, что № 45 просил не беспокоить его. Вера положила трубку. Значит, он догадался, что она могла, что она непременно позвонит ему. Значит, он понял ее гораздо лучше, чем она думала. Понял и все-таки брезгливо отвернулся. Она вспомнила холодный, невидящий взгляд, с которым он поклонился ей на прощание. Куда девались его нежность, его заботливость, его доброта? Она не могла понять его жестокости, его бесчеловечности. Ведь камень, даже камень растрогался бы и пожалел ее. Это оттого, что он не верит в зло, подумала она вдруг. Не верит, не желает знать зла. А когда встречается со злом, отворачивается и быстро отходит в сторону. Он сразу отвернулся от нее — иначе и быть не могло. Может быть, он даже немного пожалел ее, но раз ее коснулось зло, раз она запачкана, изуродована

вана злом, ей, конечно, не место рядом с ним. Неприятное воспоминание, отвратительное приключение, разочарование не только в ней, но и в Штrome и во всей России. «Не напоминайте мне о СССР, это такая грязь, такой обман. Об этом просто вспоминать нельзя».

Она ходила взад и вперед по комнате, останавливаясь перед зеркалом и бессмысленно глядя на свое отражение, не видя себя, не думая о себе. Она подходила к окну и, отодвинув штору, долго смотрела на пустую улицу, на бледное рассветное небо с тусклыми звездами, такими же тусклыми, как фонари там, внизу, под ее окном. Она уже однажды ходила так мимо раскрытой постели, и в зеркале совсем так же отражалось ее нарядное платье, и она в такой же тоске и в таком же беспамятстве смотрела на улицу, на рассвет и блекнувшие в нем фонари. Но тогда она ждала. Тогда она надеялась. Вот, вот к подъезду подъедет машина и из нее выйдет Андрей. Все это уже раз было. Но тогда она надеялась. А теперь надеяться было не на что.

Она опустила штору и прошла перед зеркалом, не взглянув в него. Надо лечь. Она стала раздеваться. Платье упало холмиком на ковер. Ах, все равно. Пусть остается на полу. Теперь уже все равно. Она легла и потушила свет. Она не думала о том, что произошло только что, она не думала о Рональде. Мысли путались. Все было тяжело и непонятно. Беспокойство все сильнее охватывало ее. Ей хотелось встать, убежать, спрятаться куда-то. Ей было страшно, она дрожала.

Она натянула одеяло на голову, как когда-то в детстве. «Тоненькая, прозрачная, заблудившаяся в лесу девочка бродит в лесу и крестит деревья, чтобы они не сделали ей зла, чтобы ее не съел волк...» Кто и где говорил ей про тоненькую девочку? Ах да, это Рональд говорил. «Рональд, — прошептала она, — спасите меня. Увезите меня, не бросайте меня». Но ведь он не мог услышать. Ей показалось, что деревья леса вдруг столпились и образовали темную шуршащую стену. Ей хотелось понять, что это значит и нет ли в этом хотя бы намек на спасение, но она уже не могла думать. Черные шуршащие деревья встали между ней и ее мыслями...

Она проснулась от стука. Это стучали в дверь. Вошла прислуга с букетом и письмом.

Вера взяла письмо. Прислуга наклонилась и подняла платье. Вера ждала, чтобы она ушла.

— Прикажете подать кофе?

— Нет. Я позвоню.

Вера осталась одна и только тогда разорвала конверт.

— Вот, — сказала она, прочитав. — Так и должно было быть. Уехал. Уе-хал, — повторила она нараспев и положила белый листок на цветы.

Глава седьмая

Через полчаса, так и не позвонив, чтобы ей подали кофе, она вышла из отеля и поехала на трамвае к Штrome на Лубянку. В трамвае она стояла на площадке, придерживая одной рукой шапочку, чтобы ее не снесло ветром, другой прижимая сумку, чтобы ее не отрезали, не украли. Как будто ей было не все равно, слетит ли шапочка с ее головы и понесется по улице, как будто было важно, чтобы не украли сумку. По привычке, без участия воли. Ее воля не участвовала во всем том, что она сейчас делала. Ее воля. Но была ли у нее вообще воля? Разве с ней могло бы случиться все, что случилось, если бы у нее была воля? Об этом думать сейчас было некогда. Она приняла решение, его надо было привести в исполнение. Ей казалось, что она приняла решение во сне, но это вряд ли было так. Она не знала. Но ей сейчас было безразлично знать, когда именно она решила вернуться к Андрею.

Она вошла, и Штром, сияя улыбкой и лысиной, встал ей навстречу и поклонился низко и театрально.

— Волшебница! Ничего подобного я не видел и, признаюсь, не ожидал. Даже от вас. — Он подвел ее к креслу и бережно усадил. — Недооценивал вас, каюсь, недооценивал. Какая филигранная работа, точность, чистота какая! — Он стоял перед ней, почти удивленно глядя на нее. — Талант. Самородок. Ведь наш американец уже летит восвояси. Мне только что со-

общили. Отбыл на аэроплане. По вашему желанию — раз, два, и готово.
— Дайте папиросу. — Вера протянула руку к лежащему на письменном столе портсигару.

Штром щелкнул зажигалкой Вера закурила. Штром не казался ей страшным, а только очень противным. И лампа больше не пугала ее.

— Я исполнила ваше приказание, — начала она решительно, — теперь вы должны...

— Просьбу, просьбу, — перебил он. — Какое я имею право приказывать вам? Да если бы и имел право...

Она махнула рукой.

— Оставьте. Просьба, приказание. Не в словах дело. Пусть вашу просьбу. Вы обещали за это помочь мне.

— Обещал и готов с радостью. — Он улыбнулся, и брови его зашевелились над засверкавшими льдистыми глазами. — Я уже придумал. Вам в награду...

— Нет! — Она отмахнулась рукой. — Никаких наград. Просто отправьте меня к мужу.

Штром как будто поперхнулся.

— К кому? — переспросил он. — К какому такому мужу?

— К моему мужу. К Андрею Луганову.

— Вот что придумали! — Он свистнул и развел руками. — Не ожидал. Никак не ожидал.

— Я решила, — твердо сказала она, стараясь казаться как можно спокойнее. — Я хочу уехать к нему и жить с ним.

— Но отчего же вы так вдруг решили?

Она устало вздохнула и пожала плечами.

— А вам не все равно отчего? Решила — и все тут. Отправьте меня скорее.

— Хорошо ли вы обдумали? И зачем вам? Теперь, когда перед вами открывается...

Она не слушала, она нетерпеливо перебила его.

— Я хотела бы еще сегодня уехать.

— Так вы серьезно? — Брови его все сильнее шевелились и поднимались. — Я думал, вы только интересничаете, цену себе набавляете. А если серьезно, то я вам начистоту отвечаю — нельзя! Нельзя вам к Луганову ехать. Нельзя, и благодарите вашего Бога, если вы в него верите, что раньше не уехали. Пропали бы вы с ним. Совсем.

— Мне все равно. Я не боюсь. Пропадут — и пусть. Я хочу быть с ним.

— Послушайте, не упрямитесь. Вы ведь умница, поймите. Нельзя. Не сегодня — завтра война. Его в Соловки, в Нарымский край сошлют. Что же, вы и туда за ним хотите?

Она кивнула.

— Хочу. Куда он, туда и я. Не уговаривайте. Я решила.

Он повернул лампу, и свет ожег ее лицо.

— Бросьте ваши фокусы с лампой! — крикнула она.

— Вы в здравом уме? Знаете ли вы, что такое Соловки и как там живут? Чепуху несете, красавица. Чепуху. Смешно.

Он засмеялся в доказательство, что ему действительно смешно, и опустил рефлектор.

— Я хочу предложить вам хорошую службу. Поступайте к нам. Будете опять царить в балете, и квартиру вам отличную предоставим, и все, что только пожелаете, — тряпки там всякие, меха, духи. Подучитесь здесь годик, а там — и за границу. С вашими способностями, с вашей внешностью — даешь Европу! Знаменитостью станете. А вы — к мужу. Умора. Ну, по рукам? А?

Он протянул ей руку, широко улыбаясь, показывая свои крепкие белые зубы.

Она брезгливо спрятала руки за спину.

— Я уже сказала вам. Отправьте меня к Луганову. Ищите себе других чекисток. На меня не рассчитывайте больше. Не дадите уехать, я к нему пешком пойду.

Он снова свистнул.

— Да куда же вы пойдете? Знаете вы, где он? — Он прищурился и

подмигнул. — И уверены ли вы, что вы вообще еще можете добраться до него, что он не попал в ликвидацию? Не уехал, так сказать, совсем. А? Она вскочила.

— Его расстреляли? — крикнула она. — Расстреляли? — Она вцепилась в рукав Штрома и трясла его. — Расстреляли? Отвечайте!

Он смутился и отступил на шаг.

— Ничего не знаю. Но возможно, все бывает. И нечего кричать. Успокойтесь!..

Но она не слушала. Она продолжала трясти его за рукав все сильнее.

— Будьте вы прокляты! Будьте прокляты — вы, все вы! Что он вам сделал? Чем он виноват? И чем виновата я? За что нас погубили? Будьте вы все прокляты, прокляты! И весь ваш Советский Союз! Расстреляйте и меня! — кричала она.

Он разжал ее пальцы и толкнул ее обратно в кресло.

— Сидите тихонько, — приказал он шепотом. — Не кричать! Слышите? Тихонько! — Он взял ее за плечо. Она заметалась, стараясь сбросить его руку, крепко державшую ее.

— Не кричать! — отчеканил он, и она вдруг затихла и ослабела. Она смотрела в его бледное, жестокое, ненавистное ей лицо. Его светлые пустые глаза еще приблизились к ней. — Успокойтесь! Вы ничего не говорили. Закройте глаза, дышите ровно. Так... Я ничего не слышал, не понял. Если бы вы при ком-нибудь другом... Но на ваше счастье и в соседней комнате сейчас никого нет. На этот раз сойдет вам с рук.

Он отпустил ее плечо и, отойдя за письменный стол, сел и закурил, отвернувшись от нее. Она осталась в кресле. Она тяжело переводила дыхание.

— Вот что, Вера Николаевна, — заговорил он снова весело. — Идите-ка себе домой и полежите до вечера. Отдохните, подумайте о моем предложении. Я понимаю — нервы. Все женщины более или менее истеричны. Опять же вам немало пережить пришлось. Но все-таки скандалить не следует, ни к чему это. Некрасиво и опасно. Впредь будьте осторожнее. А теперь забудем, мало ли что бывает? Так вот, подумайте хорошенько и позвоните мне вечером. Поедем вместе обедать, я вам за обедом и расскажу, в чем ваша работа заключаться будет. Легкая работа, интересная. Опять заживете знатно. Ну, и в балете моя поддержка. Никакие конкурентки не повредят. Опять в славу войдете. Пуще прежнего звездой засияете.

Он говорил совсем просто, объяснял, улыбался, курил, будто она уже согласилась и так же довольна, как и он, предстоящей «общей работой».

— А сейчас извините — дела. Так вечером позвоните. Сейчас, по желанию, можете идти в Лоскутку или в свою прежнюю комнату вернуться. Завтра переселим вас на новую квартиру. Выберем хорошую. Первый сорт для вас. Ну, до приятного, до скорого...

Она встала. На минуту она заколебалась. А что если бросить ему в голову тяжелую хрустальную чернильницу? «Промахнусь, — подумала она. — Только чернила разолью. Чернильное пятно на стене, как в каморке Лютера». Она видела фотографию каморки Лютера и пятно на стене. Лютер бросал чернильницу в черта. И тоже ни к чему. Не попал. Она повернулась и вышла. На лестнице она заметила, что держит перчатки в руке. Это удивило ее. Она помнила, что сняла перчатки и положила их рядом на ручку кресла. «Даже перчатки не забыла», — подумала она, надевая их.

На лестнице. Но это была уже не лестница «учреждения», а лестница дома на Басманной. И она не спускалась, а поднималась вверх. Как она добралась сюда? Ехала или шла? Этого она не помнила. Перед дверью она остановилась. Ключа в сумочке не было. Он остался в кармане ее старого платя. Она позвонила, морщась от этой новой неприятности. Ей показалось нелепым, что она, перенесшая столько, она, уже готовая ко всему, морщится от того, что сейчас услышит знакомый грубый окрик: «Шляются тут! Ключи забывают! Нанимайте себе слуг, чтобы вам двери открывать!»

Неужели в ней осталась еще способность чувствовать такую мелкую, такую ничтожную обиду?

Но никакого окрика не было. Лицо соседки, открывшей двери, любезно расплылось.

— А мы уже начали беспокоиться. Думали, что вы к нам совсем не вернетесь. Заждались вас, Вера Николаевна.

Вера Николаевна... Впервые ее здесь называют так, а не «эй, вы» или «послушайте, как вас там».

Вера, не отвечая, прошла мимо соседки в свою комнату. Комната была чисто прибрана, даже окна вымыты и пол натерт. Ее старое платье висело на вешалке, под ним стояли ее старые туфли, тут же на стуле лежало ее белье и чулки рядом с ее клеенчатой сумкой. Все это было прислано из НКВД, и соседи догадались. Вот чем объяснялось почтительное «Вера Николаевна», и вымытые окна, и натертый до блеска пол. Удивительно догадливы люди в Москве!

Вера пожала плечами. Ей было не до них. Она торопилась, она вздрагивала от нетерпения. Сейчас, сейчас! Она выдвинула ящик и стала искать. Она искала сулему. У ней была сулема. Двенадцать таблеток. Где же они? Неужели пропали? Она перерыла все свои старые блузки и рубашки. Что делать, если сулема пропала, если ее украли? Но тюбик с сулемой вдруг выпал из вороха белья и ударился о дно ящика. Она схватила его и высыпала себе на ладонь. «Сейчас, сейчас!» — повторяла она почти с восторгом и, подойдя к умывальнику, налила воду из графина в стакан. Вода была мутная. «Пятый день не меняли», — подумала она и вспомнила, что тогда, перед свадьбой, она заболела тифом оттого, что, выбежав со сцены, выпила по ошибке протухшую воду. Но теперь ей тиф не был страшен, ведь она сейчас умрет. Тиф, как и горе, как и будущее, потерял над нею власть. Ей уже ничего не страшно. Но откуда-то, из уже не существующего для нее настоящего, вынырнула брезгливость. Не страшно, но противно. Противно пить протухшую воду.

Перед глазами появилась виденная ею когда-то очень давно на экране кинематографа капля разложившейся воды под микроскопом. Она, эта переливавшаяся светом огромная капля разложившейся воды, была переполнена разнообразными головастиками, лузатыми уродцами, борющимися и пожирающими друг друга. Они шевелили мохнатыми лапками, тарачили выпуклые круглые глазищи, открывали бездонные рты.

Судорога отвращения прошла по горлу Веры. Нет, их нельзя проглотить. Нет, слишком противно. О том, как противно глотать сулему, она еще не успела подумать.

Она положила таблетки сулемы на стол и, взяв графин, торопливо пошла на кухню за свежей водой.

У плиты стояло несколько квартиранток. Та, что открыла Вере дверь, обратилась к ней, будто они были старые подруги.

— А у меня только что кофе вскипело. Приходите ко мне пить, Вера Николаевна. Муж принес отличных булочек и ветчины. Милости прошу.

Вера наливала воду в графин. Она думала только о том, чтобы вода попала в горлышко графина.

— Так я вас буду ждать. — Квартирантка тронула Веру за локоть. — Настоящее кофе со сливками.

Вера резко обернулась. Вода продолжала бежать в цинковую раковину.

— Убирайтесь к черту! — крикнула Вера. — Слышите, к черту!

Ей хотелось уничтожить, убить этих женщин. Она все еще держала мокрый графин в руках. Она подняла его и, высоко взмахнув им, с размаху, как бомбу, бросила им под ноги.

— Будьте вы прокляты, все, все!

Но графин не разбился. Стекло было толстое. Вода, булькая, побежала из его горлышка, образуя лужу на полу.

Вера повернулась, вбежала к себе и, захлопнув за собой дверь, бросилась на постель.

Она плакала, зарываясь головой в подушку, взвизгивая и хохоча.

Это продолжалось долго. В квартире было тихо. Кто-то осторожно, должно быть, на носках, подходил к дверям, чьи-то голоса переговаривались шепотом за дверью.

— Валерьянки бы дать.

— Нет, пусть лучше выплачется. Это помогает. Валерьянки потом...

Пусть выплачется. Да, она выплакалась. Вся, без остатка. Она выплакала все, всю себя до последней капли. От нее больше ничего не остава-

лось, кроме этой пустой оболочки, этой шелухи, валявшейся здесь на постели. И все-таки надо было снова пойти на кухню, поднять с пола графин, наполнить его водой. Вода необходима. Без воды никак не проглотить сулему. А с водой? А с водой разве можно проглотить?

Сейчас, сейчас, уговаривала она себя. Только полежу немного, отдохну и тогда принесу воды. Проглочу, непременно проглочу. Сил хватит, сил всегда больше, чем кажется.

Но она уже знала, что не сможет проглотить сулему. Она уже не верила себе. Умереть не удастся. Опять не удастся. Она так слаба, так боится боли. А ведь это больно. Ужасно, невероятно больно. Сулема. И ведь не сразу. А долго, нелепо долго. Пока все внутри не сгорит, не распадется на куски. Сулема. Нет, нет...

Она встала и, нетвердо ступая, подошла к столу, взяла все таблетки сулемы и бросила их в ведро.

Не смогу проглотить. И никогда не смогу. Она оглянулась на крюк на стене. Повеситься?.. Нет. И повеситься не смогу, нет.

Она открыла окно и, держась за подоконник, чтобы не упасть, глубоко вздохнула. Теплый воздух наполнил ее грудь, и она почувствовала что-то отдаленно напоминающее радость. Живу. Все-таки, несмотря ни на что, живу... Но разве мне хотелось жить? И отчего я не сознавала, что мне хочется жить? И только сейчас, избежав опасности смерти... Но разве была опасность смерти? Разве, если бы я не рассердилась, не бросила бы графин, я сумела бы отравиться? Действительно отравиться и умереть?

Она слабо покачала головой. Она не знала. И это не было важным для нее теперь. Раз она осталась жить, надо было думать о жизни, а не о смерти. Но как думать? Голова была совсем пуста. Она выплакала все свои мысли, всю свою способность рассуждать. И о чем думать? О чем рассуждать? Не о чем, не о чем! Никакого другого выхода нет и быть не может. Или смерть, или...

Она вымыла руки и лицо, поправила волосы и попудрилась. А может быть, я все-таки убила себя, подумала она, глядя в зеркало на свое бледное лицо. Даже наверно убила. Только не помню когда — ночью, во сне, или когда я возвращалась от Штрома. И это уже новая, загробная жизнь. И в этой загробной жизни, как в той прежней, все наоборот. Сначала было наказание, без всякой вины, без всякого преступления. Преступление начинается теперь. Она отбыла наказание и получила тем самым право на преступление. Иначе не было бы высшей справедливости. Иначе не было бы логики, пусть вывернутой наизнанку, как перчатка, но все-таки всегда управляющей миром. Причины и следствия. Ничего, что следствие предшествовало и даже вызывало причину, что наказание было прежде, чем преступление. Главное, что они не могут существовать одно без другого: если было преступление, естественно должно быть наказание, и наказание тоже не может существовать без преступления. Одно вытекает из другого. Но как это непонятно и сложно. Она не могла уследить за своими мыслями. И разве это были ее мысли, а не чужие, по ошибке залетевшие и мечущиеся в ее опустошенной смертью голове? Обрывки, лоскутки чужих мыслей, совершенно ненужных ей. Для нее все очень просто, и ей совершенно ясно, что надо делать сейчас.

Вот она, та дорога, которую она так долго искала в своих воспоминаниях и не могла найти. Дорога, приведшая к горю, к наказанию. Она не могла найти ее, оттого что ее, этой дороги, вовсе не существовало в светлом, легкомысленном прошлом. Она теперь впервые вступает на нее, на эту дорогу, ведущую не к наказанию, а от наказания. На дорогу преступления.

Она вышла в коридор, прошла в прихожую и взяла телефонную трубку. Не задумавшись, не колеблясь, она вызвала НКВД.

— Соедините меня с кабинетом товарища Штрома. Срочно. По служебному делу, — сказала она властно.

Радостный голос Штрома ответил:

— Дорогуша, вы? Вот умница. А я уже звонил директору балета. Он в восторге. Все там ждут вас. И квартиру уже нашел. Целых три, на ваш выбор.

— Когда можно их посмотреть?

— Когда хотите. Давайте, я заеду к вам часов в семь, вместе посмотрим, а потом пообедаем, вспрыснем наш союз. Отлично! Так до вечера. А вы все-таки молодец! Я вами гордиться буду. Ведь это я вас открыл. Не забывайте этого никогда.

— Не беспокойтесь. У меня память хорошая. Кстати, пусть через час за мной сюда пришлют машину, — сказала она, будто у нее теперь было право приказывать. — До свиданья. Буду ждать вас в Лоскутке.

Она повесила трубку и обернулась. Дверь одной из комнат была неплотно затворена. Подслушивали. Вера подошла и постучала в дверь. Хозяйка комнаты сейчас же широко и гостеприимно распахнула ее.

— Входите, входите, Вера Николаевна. Мы вас ждем. Садитесь сюда, в кресло, здесь вам будет удобнее.

Вера взглянула на нее и на трех сидевших за накрытым столом квартиранток. Она небрежно кивнула им и сказала совсем новым для нее тоном:

— Вы, надеюсь, не обиделись. У меня нервы расстроились. Мне очень жаль...

— Ну, что вы, что вы, Вера Николаевна, — заторопились, перебивая друг друга квартирантки, будто они, а не Вера, должны были извиняться в чем-то. — Какие там обиды! Это так понятно, мы все нервны. /

— А кофе, как насчет кофе? — Хозяйка комнаты взяла со стола кофейник. — Я мигом подогрею.

Вера села в заботливо пододвинутое ей кресло. Кажется, она не успела выпить кофе утром. Как странно, что она чувствует голод, будто ничего не изменилось, будто она еще живая.

— Да, я, пожалуй, выпью, — сказала она, сознавая, что осчастливила хозяйку комнаты, согласившись выпить у нее кофе.

(Окончание следует.)



Худое горло

РАССКАЗ

Сегодня у батьки выволочка. «После бала» называется прикол, как у писателя Льва Николаевича Толстого.

Поведут батьку по улицам, будет знать, как водку лопать и воровать туфли. Отец, если бы мы жили в индейском племени, так и назывался бы там Худым Горлом. Я — Верная Рука, а он — Худое Горло.

Мать вчера слезы лила, а он ерепенился: «Че я, совсем совесть потерял, на позор идти? Ишь чего удумал, бадылка кукурузная кучерявая».

— Выпрут из колхоза, тогда ты поймешь, — всхлипывала мать.

— Ну как хошь, я пойду, мне че. На колени бухнусь, а потом харкну ему в мурло. Он сам-то какой? Иисус партийный? Он, что ли, не пьяница, не вор?! О-хо-хо! А кто Маньку Шокурову машиной сшиб, в спину ей засандалил, а потом колхозным шифером откупался?.. Как хошь, а я плюну.

— Дак у него — власть. Он тебя, шмакодявца, в бараний рог согнет.

— Пускай гнет, а я пойду и харкну. Вот люди-то и посмотрят, что я герой, что не всю жисть водяру глушил да шабашничал. Стляром был, шифоньеры строгал — одно загляденье. Такой шкафчик вылеплю!

— Попробуй только плюнь, тебя заплюют, тебя туда заплюнут!..

И опять матушка захлюпала. Но уговорила, плевать в председателя колхоза отец отказался.

Батька утром рубашку в клеточку напялил, надушился одеколоном и мать дергает:

— Сейчас бы грамм эдак... Для смелости.

Мать кулак сжала и к отцовскому носу поднесла, а потом отвернулась. Нос у нее побелел.

В дверь постучали женщины из правления. Они потоптались у порога, велели всем в клуб собираться. Это как представление — народ будет на отца глядеть и его позорить. Так батьке и надо. Пусть торжественно, прилюдно.

Ловкие ему медальки смастрячили. Говорят, царь Петр Первый еще так людей воспитывал, а наш пред вычитал про это дело. На груди у батьки висит медный кругляк, как дисковая борона, с надписью «За пьянку», и на спине такая же награда — «За воровство». Сцеплены медали между собой толстой бечевкой, такой белой, крепкой, ею еще посылки на почте перевязывают. Если смотреть сверху, как будто большой скрепкой прищиплен батька. Гербарий!

Батька идет по улице какого-то Передерия и выдрючивается, вроде он веселый, песню забаял: «Раздайте патроны, корнет Оболенский, поручик Голицын, налейте вина!»

По бокам менты щипают его, чтобы не дурил.

Зашли в клуб. И я, конечно, следом. Мать потерялась. В клубе музыка нотная звучит, ария или еще что.

Я краешками ушей разговоры ловлю. Рыжий тяжелый дядька, отдуваясь, доказывает мелкому и вертлявой такой женщине:

— В Турции за это дело руки по самые плечи отрубали, кривой саблей — хо-оп! — и ручонка воровская на асфальте корежится. И неповадно стало воровать. Вот турки! А говорят, что все они дундуки.

Крученая мадам высунула шильце языка. Она соглашалась.

За бархатный стол на сцене засел пред колхоза, красивый кудрявый

дядька. Туда же корефан его, известный всем Петр Петрович, с глазами, похожими на запятые. Милиция тут же, за бархатом зенками лупает.

Интересные у всех моргалки. У преда они голубые. Ленка Сукачева где-то вычитала, что голубые гляделки у мечтательных людей, а я лично думаю, что у безвольных. Однако председатель — не безвольный. Говорят, что он очень современный и жутко симпатичный.

Отца вызвали на сцену. Он теперь замедленно все делал, заржавел враз, перестал ваньку валять. К нему подскочила та самая, со змеиным языком. В руках у нее дрожал листик бумаги.

— К микрофону, к мик-ро-фо-ну! — подсказывали то там, то сям.

Все кайфуют, как будто все разом выиграли по лотерее.

Змея листок отцу под нос сует.

Люди лютуют:

— К мик-ро-фо-ну! У-у-у!

И я зашурислся. Радостные зенки зрителей были неприятны. В ушах задребезжал электрический отцовский голос:

— Торжественно клянусь... Перед лицом своих товарищей...

Люкс! Юный пионер! Неужели отец плюнет в председателя? Голос такой, что сейчас прервется в плю-нет. А может, и не плюнет? Нет, не плюнет. Голос уже не тот, высох голос. Что-то деревянное в нем.

И я вспомнил, как с отцом, давно еще, сто пятьдесят лет до нашей эры, выпиливали шкатулку. Отец ловко шерудил лобзиком. Шкатулка готовилась к Женскому дню в подарок матери. И мы всю ночь клеили шкатулку бурым, пахнущим жженой шерстью клеем, олифили, покрывали лаком. Отец тогда не алкашил. Да он, если задуматься, сейчас пьет от чего-то непонятного. Ленка Сукачева говорит, что в нашем воздухе микробы распылены, специальные микробы. От них люди и тоскуют. Конечно, хватают их те, которые послабее. Вот и отец, наверное, наглотался. Неужели и я могу заразиться?

Сделалось жалко отца, так жалко, что и не скажешь. Муть такая.

Открыл глаза: все как есть довольны. А в ушах: «Не пить, не брать чужого, ибо мы здесь все свои и все одним делом живем».

Голубые очики преда тоже кайф ловят. Петр Петрович, корефан его, весь превратился в кружочки. Глаза — кружочки, рот — кружочек.

А по щекам у отца текло из глаз. Отец так и не плюнул. Рядом ухали: «Градусы выходят, дурь наружу просится».

— Спасибо вам, Владимир Николаевич, вам, Петр Петрович, за заботу, за то что вы в меня верите, — блеял батька.

Отец шевельнул рукой и застопорился, как перед рвом. Заела у отца электрика.

— Ладно уж! — простительно замахал точеным пальчиком председатель. — Что мы, не люди?!

— Люди. Люди!

Кругом хлопали в ладоши. Может быть, радовались, что отца не вытурили с работы, радовались тому, что пред у них жалостливый.

Но вот говорят ребята, если взять полстакана глицерина и плеснуть его в бензобак «Волги» красивого преда, то так рванет, что в разные стороны, как перья из подушки, разлетятся кудряшки.

Под музон люди быстро рассыпались. Со сцены спустился отец в старых штиблетах на босу ногу. Он (я чуял это) боялся меня. Подсеменял, как вор.

— Фиг с ними, — говорит, — пусть жируют. Айда в город. У меня вот титимити завелись, зайдем в кафе, закажем люля-кебаб, пирожков сладких?!

Он поглядел на свои стремные штиблеты и пошевелил большим пальцем ноги. Мне стало неудобняк, но я тряхнул головой.

— А-а-а! — улыбаюсь отцу. — Поехали, только скорее!

Улыбаюсь и тоже плачу.

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

Стихи последних лет

* * *

Крутится ржавая пластинка
..тинка ..тинка. Передвинем иглу.
Плоское небо из цинка
с месяцем в самом углу.

Целлулоидные слезы... грезы..
березы из раскрашенных досок,
в баре пираты и гёзы
пьют апельсиновый сок.

О идиллические обломки
конвейера трепетных снов,
змейкой по дырчатой кромке
музыка райских тонов.

* * *

По наветренной стороне
веянье духа.
По канаве ручей-казначей
накопил тополиного пуха.

Пенье уха, открытого встреч
ветру, соколиная речь
ветра, соколиная масть
речки, обреченной впасть.

* * *

Какая истома,
когда по губам
далекого грома
прокатится гам.

Последнего дома
задернется мгла,
и с аэродрома
взвьется стрела.

Какая орбита
открыта тогда,
когда перебита
тугая дуга.

* * *

Плеск объятия на шее,
 воск заплавил фитилек,
 пуск снаряда по траншее,
 где за бруствером залег

мелкий серенький солдатик,
 где лежит ориентир,
 далеко родных полатей,
 далеко и штаб-квартир.

Скрип и скрежет ржавых петель,
 петел зорю возвестил,
 этот шепот, этот лепет
 бронхи лепят из извести...

Потерянное стихотворение

Утреннее вытрясание носков из брюк.
 Так, что ни день, против воли начинаешь жить.
 Чувствуешь себя тушей, нанизанной на крюк.
 И только одно себе говоришь: «Держись».

«Тшмай се», как бросает, прощаясь, заезжий поляк.
 Никто не видит продетого под ребра крюка.
 Просыпаются сопки, не спит на заре гаолян.
 Скользит по волнам всеобщего тень каюка.

Но — «держись» — в под завязку набитом вагоне метро,
 у стойки, выгребая мелочь из-за подкладки плаща,
 в наборном цеху, превращая темно в светло и светло в темно,
 возле крана мертвые раны живою водой полоща.

* * *

Я достану тебя даже без
 размещения текста по нотам,
 одним выдохом, наперерез
 прошептать не успевшему: «Кто там?»

Не успевшему вышептать: «Стой,
 привидение или виденье».
 Прошлогоднею палой листвой
 по аллее еще удивленье

не успеет прошелестеть,
 по шоссе пролететь и истаять,
 как со ржавых шершавых петель
 дощаной рухнет замертво ставень.

* * *

Получается, вышла зацепка,
 закавыка, иначе говоря.
 Не отпустим, говорят, без рецепта,
 не столкнемся без словаря.

Как штанину защемила прищепка,
чтобы в спицы не попал матерьял,
так последние остатки респекта
конь стальной к седоку потерял.

И сквозь небо бельевую веревкой
след колес, и незримою бровкой
огороженный Млечный путь.
И полощется, как облак, рубаха,
и луна, как начищенная бляха,
не дает ни забыться, ни заснуть.

* *
*

Начерно прожито, а
начисто пробовать зря.
Из лесу прожженного
изжелта всходит заря

по-над поленницей числ,
над частоколом сосн.
Односторонний смысл
жизни не прям, но прост.

* *
*

Одна великолепная цитата.
Одна уже — и та, а если две?
И ладишь все три стороны квадрата,
и сладко ладишь струны в голове.

А там — проститься с грядкой огородной,
к босому бегу подстелить жнивье,
чтобы подслушать у кого угодно
и не сумняшась выдать за свое.

* *
*

Милый мост на милой реке —
как Венерин бугор на ладони,
как орех в новогоднем ларьке,
не на елке вися, а на клене.

Новый мост на старой реке —
как дитя, шевельнувшее в лоне
пятью пальчиками на руке,
на еще не разжатой ладони.

И, зажатый в пятерике,
словно свая во льду на реке.
Словно свайка улегшись в гексаметр,
в ветошь запеленутый мост
сквозь сумятицу, сумрак и замать
голос пробует, как алконост.

* * *

Зимородок запел,
значит, про все забудь.
И про этот расстрел.
И про тот крестный путь.

Шесть бесконечных дней
моря спокойна гладь.
Кто прибудет по ней?
Кто прибуксирует кладь?

И какую?

Но пой же, пой,
зимородок на скале.
Странный в очах покой,
странный покой на челе.

Зимородок просёк
небо над морем седым.
Значит, забудь про всё.
Смотри на белый дым.



У разоренных гнезд

РАССКАЗ

Промозгло-серый осенний вечер за окном как нельзя лучше отражает состояние моего духа. Длинный, бессмысленный рабочий день окончен. Но идти домой не хочется. Дома меня уже давно никто не ждет. Впрочем, это не столь важно. Мало кто сегодня может сказать, что его дома ждут. Теперь дома просто живут рядом. Одиночеством сейчас вряд ли кого-то удивишь. Мы вместе, но мы одиноки, как улитки.

Я еще молодой — немногим более сорока. И в троллейбусе мне обычно так и говорят: «молодой человек». Но иногда мне кажется, что я — аксакал. А вокруг меня — знойная пустыня. Я медленно умираю от того, что занимаюсь бесполезным делом. Я умираю от бессмысленности, безысходности моего существования. Меня давно уже тошнит от упоенного мельтешения моих коллег-журналистов. Я работаю заведующим отделом писем в единственной у нас в районе газете. Нет ничего бездарнее этой работы. Жизнь, люди, проблемы сами по себе, а мы, журналисты, сами по себе. Что мы можем? Мы — куклы из местного партийного театра. Главный режиссер и постановщик — Василий Иванович, первый секретарь обкома. То — нельзя. Это — не так. Это перевернуть вверх ногами. Белое — черное, черное — серо-буро-малиновое. А в результате — пустота. Звенящая. Космическая пустота. Слышите, как она проникает в душу? Леденит своим сияющим мраком. А мы все равно делаем вид, что все о'кей. Пустыню непременно объявляем оазисом. Как будто от нашего объявления с ней и в самом деле случится чудесное превращение. Нет. Если и случается превращение, то отнюдь не с пустыней, а с нами. Мы не верим. Я не верю. Он не верит. Потому что серость рождает только серость. А промозглый осенний вечер — как нельзя более подходящий фон для серости.

Звонит телефон. Это мой приятель. Художник.

— Ты еще жива, моя старушка? — спрашивает он.

Тоже юмор. Я что-то там отвечаю.

— Тогда приходи, пообщаемся.

Я рад приглашению. Уже поздно. И в редакции делать нечего, так же, как и дома. Я выкурил уже пятую сигарету. И надо было куда-то уходить. Так что звонок оказался как раз кстати.

У Николая в студии есть камин. Вспомнить о нем было приятно. Только бы побыстрее перебежать через две промозглые улицы, подняв выше воротник, чтобы вязко не канителило за него.

Я давно был убийцей. Я знал об этом. Я сознательно убивал время. После того, как оно убило меня. Нас. Время ведь тоже убивает. Наши идеалы, например. Отобрали Иисуса Христа, а взамен, как оказалось, не дали ничего. Церковь в душе заменили светлой постройкой коммунизма. Но храм — это храм, а постройка, она и есть постройка. Я давно не хожу во храм Божий, потому что плачу партийные взносы. От этого я почему-то не чувствую себя более счастливым. Хотя храм, в который водила меня ребенком моя покойная неграмотная бабушка втайне от партийных родителей, остался праздником в моей душе навсегда. Я все чаще и мучительнее думаю об этом, сидя вечером у торшера, в кресле, в своем однокомнатном гробу с видом на мусорные контейнеры, по которым денно и ночью ползают облезлые кошки.

С отвращением преодолев несколько безликих улиц с такими же безликими, безучастными лицами на них, я, наконец, вхожу в подъезд, где находится квартира-студия Николая. Сегодня, как и всегда, здесь пахнет кофе с красками. Блаженно вдыхаю этот запах и нажимаю на кнопку звонка.

Ах, как здесь тепло и уютно! Мне всегда кажется, что за этим порогом я попадаю в мир, который и лучше, и чище. Здесь, на высоких подоконниках студии, в самых различных сосудах цветут и увядают, засыхают и опадают самые неожиданные цветы, ветки, листья. С огромного полотна, которое висит чуть ли не под потолком комнаты, врываются лохматой охапкой желтые цветы. Я не знаю, как они называются. Похоже, астры. Но нет. И не хризантемы. Но и не георгины. Мутанты. Они расцвели в первую весну после печального взрыва в Чернобыле. Под окнами сельской хаты на Полесье. В селе, огороженном колючей проволокой, как концлагерь, с устрашающей взор табличкой: «Стой! Проход запрещен!»

Мы с Николаем родом из такого же села. Новое Шарне. Нет его больше. Наши родительские гнезда разорены. Только что мы вернулись из поездки туда, до конца испепелив увиденным свои сердца.

...Прекрасный день вставал где-то у Христиновки. Земля по ту сторону проволоки, в нашем мертвом селе, лежала усыпанная багрецом и золотом. Как живая. Слева от него — поля, а дальше — пастбища, стада. На фоне дымки тающего за ними леса кажется — картина. Полесье. Простор да леса, вызывающие щемящее чувство вечного с ними родства. В неизменной изумрудной оправе, как бесценная брошь, — Христиновка. От «христиане»? «Христос»? Или от украинского «хрест», т. е. «крест»? Какой же особый крест нести определено судьбой этому селу? Справа от него, вдали, утопают в садах полесские деревянные хаты и новые добротные дома из белого кирпича. А прямо — «Стой! Проход запрещен!»

Нет. Не может быть. Не укладывается. Не вяжется. Вот же хата, рядом, по эту сторону проволоки, в ста метрах. Упало яблоко в саду возле забора и покатилося в траву. Вышел из дома малыш. Лет пяти или шести. Радостно побежал в кипень осенних цветов. Славный, будто сам цветок. Ручка потянулась к яблоку, затем — ко рту... По губам течет сок, капает на ботиночки, на траву. Мальчик чему-то смеется...

Рядом с проволокой и воротами, перекрывающими дорогу в село, стоит деревянная будка. Через окно видны телефоны, стол, стулья. Из будки вышел милиционер, узнав предрайисполкома, открыл ворота, и мы очутились в зоне.

Унылый осенний сад возле крайней хаты роняет в буйные травы никому не нужные радиоактивные плоды. Ветки согнулись под их немислимой, кажется, какой-то особенной тяжестью. Отгорают возле заколоченных хат последние чернобривцы и хризантемы. Одичавшие, они выросли едва ли не вровень с окнами. Во дворе одного из домов развевается на ветру какая-то белая тряпка, на сельском тыну висят трехлитровые, омытые дождями и снегами банки и гладышки. Никому не нужны. Котов и собак, мы знали об этом, отстреляли в селе на третий день после аварии.

В поездке нас сопровождал председатель райисполкома Александр Семенович Бутенко. Он рассказывал нам, как выселяли деревни:

— Все четыре села — Долгий Лес, Мотыли, Омельники, Новое Шарне — я эвакуировал сам. Мне было не по себе от всего, что я увидел и услышал. Одну бабку закрыли соседи по ее же просьбе в хате. Она ни за что не хотела уезжать. Но мы не могли ее оставить в этом аду. Мы ее нашли и забрали с собой. Женщины голосили, покидая свои подворья...

В кабинете председатель райисполкома, открыв сейф, положил перед нами карту радиационного загрязнения района. Едва ли не вся она была окрашена в цвет крови. На ней почти не было живого места. Сбоку обозначено: предельно допустимая норма суммарного биологического эквивалента на квадратный километр — 40 кюри, нижний предел — 15. Во многих местах этот предел доходил до 200—250 кюри. Мы увидели, что новые дома для переселенцев построили в восьми других селах, здесь же, рядом, половина из которых сразу после взрыва была занесена в число деревень жесткого радиационного контроля. Причем и сам район Народичи, и село Малые Клещи попали, как оказалось, в эти «черные» списки сразу после аварии. И сразу же, зная об этом, здесь начали строить новые

коттеджи, бани, дороги, детские сады, водопроводы. Словом, из огня да в полымя. Строительство форсировали, торопили, вложив в него ко времени нашего приезда более ста миллионов рублей. Каждый четверг заместитель председателя Житомирского облисполкома Георгий Готович проводил летучку. Там, за закрытыми дверями, и решилась судьба и жизнь несчастных, обманутых людей. Зачем? Зачем там нужно было строить?

В моем сердце закипала ярость против тупой серости, которая всегда была права. Но я был абсолютно бессилён. Ежедневно выше, в Киев и Москву, шли бойкие рапорты о том, как хорошо и весело живётся людям у разоренных гнезд. В нашей газете регулярно печатались сводки темпов сельскохозяйственных работ. Тысячницы по надоям молока догоняли трехтысячниц, суточные привесы росли, у зловещей проволоки выметались стога сена, на радиоактивной земле сеяли и пахали. Затем развозили по стране.

Понимая всю безнадежность нашей попытки, мы с Николаем все же написали об этом. Со статьей я пошел прямо к редактору, хотя ничего хорошего от него и не ждал. Дмитрий Алексеевич был типичным советским редактором. Бесцветным. И беспозвоночным. Единственное, что он хорошо усвоил: больше прогнуться — жирнее отвалится кусок.

Едва выслушав меня, со скучным видом, даже не вникая в текст, бросил: — Это не наше дело. Не мы решали.

А чтобы обезопасить себя, на всякий случай в пожарном порядке послал в радиоактивный район другого корреспондента. Послушного. И тот сделал все, что изволил начальник. И даже более. Виноватыми оказались сами же переселенцы из зоны. Мол, им дома построили, а они — наглецы какие! — жаловаться еще вздумали.

Такие, как Дмитрий Алексеевич и его сотоварищи, — срам нашей профессии. Из-за таких журналисты и журналистика стали оспаривать первенство с древнейшей профессией. Но торговля телом — все же своеобразный бизнес. Торговля совестью — хуже проституции. Зловоние общества.

Картина с цветами-мутантами не улучшила моего самочувствия. Карман жгла газета со лживой статьей о переселенцах из зоны. Я молча вынул ее и положил перед Николаем. Он молча прочитал. Пепел с погасшей сигареты падал ему на колено.

— Сволочь! — Он сгреб газету. — Сволочь! — Скомкал ее и бросил в угол.

На него страшно было смотреть.

Приезжающие в радиоактивные районы начальники не хотели слушать того, о чем говорили им местные жители. Так было удобно. И без хлопот. Никто не хотел читать, что пишут эти «жалобщики».

— Стася, — сказал Николай в другую комнату, — Стася! Если ты хочешь отдыхать, иди, принимай душ и ложись. Мы здесь еще поговорим.

Я вопросительно посмотрел на Николая. Из двери комнаты робко вышла девушка, казалось, совсем еще подросток. Она, краснея, стыдливо запахивала халатик до самого подбородка.

— Не стесняйся, Стасечка, это мой друг, — ласково сказал ей Николай. — Он журналист.

Девушка-подросток, посмотрев на меня, молча прошла через студию в глубь квартиры. Послышался шум колонки и плеск воды.

Я не стал спрашивать Николая, кто такая Стася. Решил: может, новое увлечение. Или натурщица. Зачем он тогда меня пригласил?

За окном, в крошечной темени, все так же безнадежно всхлипывало серо-дождевое месиво. Но делать было нечего. Я собрался уходить.

— Погоди, — сказал Николай. — Куда ты пойдешь? Переночуй у меня. Я хочу познакомить тебя со Стасей, тебе это будет интересно.

И он почему-то кивнул в сторону скомканной газеты.

Надо сказать, что такого странного знакомства ни до, ни после в моей жизни не было.

Я оставил Николая в студии и тоже пошел принять душ. Долго-долго блаженно стоял под струями теплой воды. Казалось, все в этом доме уже должны были давно уснуть. Я и сам этого хотел. Надеялся, что прилягу до утра на топчане в мастерской. Так бывало не раз. Но, когда вышел, мое место было занято. На топчане спал Николай.

Тускло горел ночник. Едва я ступил в студию, как мой друг, не открывая глаз, сказал:

— Ляжешь на диване.

Мне как-то неудобно было спросить его: а где же Стася? Я тихо открыл дверь комнаты и замер. Она спала на диване.

— Иди, иди! — как будто подтолкнул меня сзади Николай.

Я смутился в темноте. Может, Николай не знал, что здесь легла Стася? Но отступить было вроде бы некуда. Да и в конце концов я ведь не мальчик. Хотя таких ситуаций в моей жизни не было ни до, ни после этого. Я осторожно ступил на мягкий ковер — в комнате было темно, хоть глаз выколи. И так же мягко, по-кошачьи, подошел на ощупь к дивану.

Я осторожно прислонился — иначе не скажешь — головой к подушке. Прислушался. Стася спала около стенки. Дыхание ее было спокойным и тихим. Я боялся лишний раз пошевелиться, чтобы ее не разбудить.

В комнате было тепло. Одеядо я не трогал, чтобы не разбудить Стасю. Тихонько растянулся вдоль краешка дивана, гася в себе волны возмущения от нелепой ситуации. Конечно, я мог бы одеться, хлопнуть дверью и уйти, сказав при этом Николаю пару теплых слов. Но почему-то решил не делать этого. Николай был человеком талантливым и своеобразным. И я принимал его таким. И не хотел ничего выяснять.

В размышлениях обо всем этом я задремал. Некоторое время подсознание работало еще четко, и я соблюдал территориальную неприкосновенность. Но затем, видимо, контроль угас. И я крепко заснул.

Разбудил меня тихий шепот:

— Прошу вас, не надо... Не надо...

До меня не сразу дошло, в чем дело. Но, когда дошло, подбросило, словно от удара током. Что — не надо? Видимо, во сне я ненароком как-то задел ее. Уж не знаю — рукой ли, ногой. Но только она проснулась.

Я встал. На торшере — я знал — всегда лежали сигареты и зажигалка. Бледный свет сигареты слабо озарил комнату. Я мельком взглянул на Стасю. Она лежала, едва не влинув в ковер, закрывшись до подбородка одеялом. Глаза — во все лицо — испуганно смотрели на меня.

— Не надо... — повторяла она молитвенно.

Мне нечего было ей сказать. И не в чем оправдываться. Я молча курил.

— Вы не тронете меня, правда? — шептала Стася. — Знаете, я ведь снова беременна... Я приехала к Коле оттуда, мне надо было в поликлинику. А врач принимает завтра. Мы с Колей давно знакомы, я из переселенцев. Знаете, нас выселили... Я тогда была беременна. На шестом месяце как раз...

Здесь ее лихорадочный рассказ прервался. Я услышал, как Стася всхлипнула. По-бабьи так, по-сельски, жалобно, с подвыванием. Затем села, оперлась о ковер, обняв колени в одеяле.

— Они, они... Они... Моего ребенка убили! Сделали искусственные роды. Я не хотела. Это был мой первый ребенок. Меня заставили. Напугали. Все, сказали, может случиться, всякое может родиться... Завезли в область. Не меня одну. Дура я, дура-а-а!..

Она снова тихонько завывала, уткнувшись головой в одеяло.

— Год прошел с того дня, а я все не могу... дитя выносить. Уже три выкидыша было... Они, они убили его!

Стася уже кричала, не помня себя.

За окном, наконец, пробило серую мерзость слякотной ночи. Я впервые внимательно посмотрел на маленького зверька, который кутался в одеяло, беспомощно перебирая белыми лапками его складки.

Оцепенев от жуткого рассказа Стаси, я вспомнил нашу областную больницу с малышами из выселенных сел с цезием в печени. Новорожденным сразу же переливали кровь.

Диван, на котором мы со Стасей так странно ночевали, стоял как раз напротив единственного в комнате окна. На фоне бледно мерцающего утра рама окна — крестом. Квартира Николая была на четвертом этаже. Мне захотелось встать, разбежаться от двери и влететь головой прямо в сердцевины креста.

Иисус Неизвестный

Главная книга Мережковского

Нет, наверное, нужды представлять читателям автора этого произведения. Книги Д. С. Мережковского, впервые увидевшие свет в России еще до революции, издаются сейчас огромными тиражами — не только знаменитые трилогии, но и литературно-критические статьи, публицистика... Однако до сих пор сегодняшний читатель мало что знает о его поздних, уже эмигрантского периода, произведениях: «Рождение Богов», «Тайна Запада. Атлантида — Европа», «Мессия» — и, наконец, о главном труде его жизни — книге «Иисус Неизвестный».

Не будем гадать, почему так произошло. Уже первые читатели «поздней» прозы Мережковского, помнившие бурный успех его ранних трилогий, отнеслись к ним с некоторым недоумением. В эмигрантской читательской среде, по свидетельству Ю. К. Терапиано, известного поэта и мемуариста, они не вызвали сколь-нибудь заметного интереса: брали в Тургеневской библиотеке «Христос и Антихрист», перечитывали, а эти книги оставались как бы незамеченными. Реакция на родине тоже была соответствующей: критик Д. Горбов в 1927 г. уничижительно отозвался о «Рождении Богов» и «Мессии», сравнив эти книги с «огромными саркофагами, воздвигнутыми бесстрастной рукой историка — «гробокопателя», холодными тронными залами все той же идеи господства мира мертвых над миром живых». Любопытно отметить, что эта оценка высказана в то время, когда «железный занавес» еще не окончательно разделил русскую литературу на «отечественную» и «зарубежную».

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и эмигрантская критика встретила эти произведения Мережковского почти молчаливым, что вызвало грустную реплику автора: «Мне не за себя — мне за Него обидно». За Него — за Христа, главного героя всего творческого пути писателя.

И все же — почему именно эту книгу следует считать итогом, вершиной творчества Мережковского? Сам он, думается, совершенно не случайно, не походя, признался: «Что я делал на земле? Читал Евангелие». В этих словах, по свидетельству Г. Агамовича, он «особенно верно и точно выразил самого себя, свой творческий склад и тон». Подобно палеонтологу, по одной кости восстанавливающему образ допотопного живого существа — исчезнувший мир, подобно тому, как в красках спектрального анализа вновь вспыхивает потухшее солнце, так и писатель по немногому подлинному материалу, что был у него в руках, воссоздает историю жизни Человека, по его глубокому убеждению, реально существовавшего на земле. За тем немногим, что известно из канонических текстов Евангелий, «аграфов» («незаписанных слов» — свидетельство, отвергнутых Канонам), а также домысливая целые эпизоды, Мережковский видит подлинный образ живого Иисуса, всматривается в Лик, без которого ему невозможно жить.

Не стоит, наверное, говорить о самом содержании книги: она перед вами. Это не простое чтение. Оно не только для ума, но и для души: картины минувшей жизни, от которой нас отделяют два тысячелетия, созданные пером замечательного мастера слова, мыслителя и философа, убеждают своей достоверностью. И это тем более удивительно, что Мережковскому не довелось побывать на родине Христа — в Палестине. Но Мережковский в этой своей работе предстает не только как художник, но и как ученый-исследователь, чьему свидетельству — огромное количество использованной им литературы, и книга эта — по существу, своеобразный итог научного, исторического и философского опыта, накопленного к тридцатым годам нашего столетия.

Характерно, что «Иисус Неизвестный», в отличие от многих других книг на эту тему, столь широко издаваемых сейчас (например, от произведений Ренача), написан глубоко верующим человеком, убежденным в достоверности всего того, что он описывает. И повествовательный тон Мережковского зачастую даже срывается на крик в полемике с исследователями-атеистами. А как известно, в полемическом запале Мережковский шел до конца. Современники рассказали анекдотический случай, когда в пылу публичной полемики Мережковский обратился к изумленной аудитории с

вопросом: «Скажите, с кем вы,— с Христом или с Агамовичем?» (Вообще Г. Агамович — один из не названных в книге оппонентов Мережковского, и именно он, конечно, тот самый «умный и тонкий человек... постоянно уже думающий о Христе или только кружащийся около него...»). Полемические же ответы Г. Агамовича легко обнаруживаются на страницах его знаменитых «Комментариев».)

Борис Зайцев, один из немногих сочувственно отозвавшийся о книге Мережковского, написал: «Иисус Неизвестный» волнует читающего, как волновал он писавшего. Как составлял часть жизни автора, так частью жизни становится и для читателя. Богослов, историк Церкви, христианский философ могут вести с Мережковским свою беседу. Просто читатель прочтет с увлечением своеобразнейшую книгу, написанную с некою исступленностью, острую, смелую — в центре которой величайшее Солнце мира».

Текст книги публикуется по изданию: Д. Мережковский. Иисус Неизвестный. В двух томах. Белград, 1932. (Русская библиотека. Книги 36, 37, 39.) При подготовке журнального варианта опущены примечания, в большинстве своем — библиографические отсылки, латинские и греческие выражения, приводимые Мережковским для уточнения русского перевода (обозначены угловыми скобками). Библейские цитаты даются по книге Д. Мережковского (в них есть незначительные разногласия с каноническими текстами). Безоговорочно исправлены явные опечатки, орфография и пунктуация приведены к современным нормам.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

И мир Его не узнал.

(Ио. 1, 10)

ТОМ ПЕРВЫЙ

Первая часть

НЕИЗВЕСТНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

I

Был ли Христос?

I

Сгранная книга: ее нельзя прочесть; сколько ни читай, все кажется, не дочитал или что-то забыл, чего-то не понял; а перечитаешь — опять то же; и так без конца. Как ночное небо: чем больше смотришь, тем больше звезд.

Умный и глупый, ученый и невежда, верующий и неверующий — кто только читал эту книгу — жил ею (а иначе не прочтешь), тот с этим согласится, по крайней мере в тайне совести; и все тотчас поймут, что речь идет здесь не об одной из человеческих книг, ни даже о единственной, Божественной, ни даже о всем Новом Завете, а только о Евангелии.

II

«О, чудо чудес, удивление бесконечное! Ничего нельзя сказать, ничего помыслить нельзя, что превзошло бы Евангелие; в мире нет ничего, с чем можно бы его сравнить». Это говорит великий гностик II века, Маркион, а вот что говорит средний католик-иезуит XX века: «Евангелие стоит не рядом, ни даже выше всех человеческих книг, а вне их: оно совсем иной природы». Да, иной: книга эта отличается от всех других книг больше, чем от всех других металлов — радий или от всех других огней — молния; как бы даже и не «книга» вовсе, а то, для чего у нас нет имени.

III

Новый Завет
Господа нашего
Иисуса Христа.

В русском переводе.
Санкт-Петербург
1890

Маленькая, в 32-ю долю листа, в черном кожаном переплете книжечка, 626 страниц, в два столбца мелкой печати. Судя по надписи пером на предзаглавном листке: «1902», она у меня, до нынешнего 1932 года, — 30 лет. Я ее читаю каждый день и буду читать, пока видят глаза, при всех, от солнца и сердца идущих светах, в самые яркие дни и в самые темные ночи; счастливый и несчастный, больной и здоровый, верующий и неверующий, чувствующий и бесчувственный. И кажется, всегда читаю новое, неизвестное, и никогда не прочту, не узнаю до конца; только краем глаза вижу, краем сердца чувствую, а если бы совсем, — что тогда?

Надпись на переплете «Новый Завет» стерлась так, что едва можно прочесть; золотой обрез потускнел; бумага пожелтела; кожа переплета истлела, корешок отстал, листки рассыпаются и кое-где тоже истлели, по краям истерлись, по углам свернулись в трубочку. Надо бы отдать переплести заново, да жалко и, правду скажу, даже на несколько дней расстаться с книжечкой страшно.

IV

Так же, как я, человек, — зачитало ее человечество и, может быть, так же скажет, как я: «Что положить со мною в гроб? Ее. С чем я встану из гроба? С нею. Что я делал на земле? Ее читал». Это страшно много для человека и, может быть, для всего человечества, а для самой Книги — страшно мало.

Что вы говорите Мне: «Господи! Господи!»
и не делаете того, что Я говорю? (Лк. 6, 46).

И еще сильнее, страшнее, в «незаписанном», аgraphon, не вошедшем в Евангелие, неизвестном слове Иисуса Неизвестного:

Если вы со Мною одно,
и на груди Моей возлежите,
но слов Моих не исполняете,
Я отвергну вас.

Это значит: нельзя прочесть Евангелие, не делая того, что в нем сказано. А кто из нас делает? Вот почему это самая нечитаемая из книг, самая неизвестная.

V

Мир, как он есть, и эта Книга не могут быть вместе. Он или она: миру надо не быть тем, что он есть, или этой Книге исчезнуть из мира.

Мир проглотил ее, как здоровый глотает яд или больной — лекарство, и борется с нею, чтобы принять ее в себя или извергнуть навсегда. Борется двадцать веков, а последние три века — так, что и слепому видно: им вместе не быть; или этой Книге, или этому миру конец.

VI

Слепо читают люди Евангелие, потому что привычно. В лучшем случае думают: «Галилейская идиллия, второй неудавшийся рай, божественно-прекрасная мечта земли о небе; но если исполнить ее, то все полетит к черту». Страшно думать так? Нет, привычно.

Две тысячи лет люди спят на острие ножа, спрятав его под подушку — привычку. Но «Истиной назвал Себя Господь, а не привычкой».

«Темная вода» в нашем глазу, когда мы читаем Евангелие, — неудивление — привычка. «Люди не удаляются от Евангелия на должную даль,

не дают ему действовать на себя так, как будто читают его в первый раз; ищут новых ответов на старые вопросы: оцепивают комара и проглатывают верблюда». В тысячный раз прочесть, как в первый, выкинуть из глаза «темную воду» привычки, вдруг увидеть и удивиться, — вот что надо, чтобы прочесть Евангелие как следует.

VII

«Очень удивлялись учению Его», это в самом начале Иисусовой проповеди, и то же в самом конце: «весь народ удивлялся Его учению» (Мк. 1, 22; 11, 18).

«Христианство **странно**», — говорит Паскаль. «Странно», необычайно, удивительно. Первый шаг к нему — удивление, и чем дальше в него, тем удивительней.

«Первую ступень к высшему познанию» (гнозису) полагает ев. Матфей в удивлении... как учит и Платон: «Всякого познания начало есть удивление», — вспоминает Климент Александрийский, кажется, одно из «незаписанных слов Господних», *agrapta*, может быть, в утерянном для нас арамейском подлиннике Матфея:

Ищущий да не покоится...
пока не найдет;
а найдя, удивится;
удивившись, восцарствует,
восцарствовав, упокоится.

VIII

Мытарь Закхей «искал видеть Иисуса, какой Он из Себя; но не мог за народом, потому что мал был ростом; и, забежав вперед, взлез на смоковницу» (Лк. 19, 3—6).

Мы тоже малы ростом и взлезаем на смоковницу — историю, чтобы видеть Иисуса; но не увидим, пока не услышим: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня Мне надобно быть у тебя в доме» (Лк. 19, 5). Только увидев Его у себя в доме сегодня, мы увидим Его и за две тысячи лет, в истории.

«Жизнь Иисуса», вот чего мы ищем и не находим в Евангелии, потому что цель его иная — жизнь не Его, а наша — наше спасение, «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. Ап. 4, 11—12).

«Это написано, чтобы вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь» (Ио. 20, 31). Только найдя свою жизнь в Евангелии, мы в нем найдем и «жизнь Иисуса». Чтобы узнать, как Он жил, надо, чтобы Он жил в том, кто хочет это узнать. «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).

Чтобы увидеть Его, надо услышать Его, как услышал Паскаль: «В смертной муке Моей я думал о тебе, капли крови Моей Я пролил за тебя». И как слышал Павел: «Он возлюбил меня и предал Себя за меня» (Гал. 2, 20). Вот самое неизвестное в Нем, Неизвестном: личное отношение Иисуса Человека к человеку, личности, — прежде чем мое к Нему, Его ко мне; вот чудо чудес, то, чем отличается от всех человеческих книг — огней земных — эта небесная молния — Евангелие.

IX

Чтобы прочесть в Евангелии «жизнь Иисуса», мало истории; надо увидеть и то, что над нею, и до нее, и после — начало мира и конец; надо решить, что над чем, — над Иисусом история или Он над нею; и кто кем судится: Он ею или она Им. В первом случае нельзя увидеть Его в истории; можно — только во втором. Прежде, чем в истории, надо увидеть Его в себе. «Вы во Мне, и Я в вас» (Ио. 15, 3), этому записанному слову Его отвечает «незаписанное», *agrafta*:

Так увидите Меня в себе,
как если кто видит себя
в воде или в зеркале.

Только подняв глаза от этого внутреннего зеркала — вечности, мы увидим Его и во времени — в истории.

X

«Был ли Иисус?» — на этот вопрос ответит не тот, для кого Он только был, а тот, для кого Он был, есть и будет.

Был ли Он, знают маленькие дети, но мудрецы не знают. «Кто же Ты?» — «Долго ли Тебе держать нас в недоумении?» (Ио. 8, 25; 10, 24).

Кто Он — миф или история, тень или тело? Надо быть слепым, чтобы смешать тело с тенью; но и слепому стоит только протянуть руку, пощупать, чтобы узнать, что тело не тень. Был ли Христос, в голову никому не пришлось бы спрашивать, если бы уже до вопроса не помрачало рассудка желание, чтобы Христа не было.

В 1932 году Он — такой же Неизвестный, такая же загадка — «пре-рекаемое знамение», как в 32-м (Лк. 2, 35). Чудо Его во всемирной истории — вечное людям бельмо на глазу: лучше им отвергнуть историю, чем принять с этим чудом.

Вору надо, чтобы не было света, миру — чтобы не было Христа.

XI

«Читал, понял, осудил», — говорит Юлиан Отступник о Евангелии. Этого еще не говорит, но уже делает наша «христианская» Европа Отступница.

Косны люди во всем, а в религии особенно. Может быть, не только страшное человеческое «тесто погибели», *massa perditionis*, «без причины рожденное множество», евангельские «плевелы», но и гложущая среди них пшеница Господня растет все еще, как полвека назад, под двумя знаками — двумя «Жизнями Иисуса», Ренановой и Штраусовой.

Можно бы сказать о книге Ренана, что говорит Ангел Апокалипсиса: «Возьми и съешь ее; будет она горька во чреве твоём, но в устах твоих — сладка будет, как мед» (Откр. 10, 9). К меду примешивать яд, прятать иголки в хлебные шарики — в этом искусстве, кажется, Ренану нет равного.

«Иисус никогда не будет превзойден; все века засвидетельствуют, что среди сынов человеческих не было большего, чем Он». — «Покойся же в славе Твоей, благородный Начинатель, — дело Твое сделано, Божество утверждено... Не бойся, что воздвигнутое Тобой здание будет разрушено... Ты сделаешься таким краеугольным камнем человечества, что вырвать имя Твое из этого мира значило бы поколебать его до основания».

Это мед, а вот и яд или иголка в хлебном шарике: «темным гигантом» Страстей становится мало-помалу светлый пророк Блаженств. Начал уже на пути в Иерусалим понимать, что вся Его жизнь — роковая ошибка, а на кресте понял окончательно и «пожалел, что страдает за низкий человеческий род». Хуже того: Лазарь, согласившись с Марфой и Марией, лег живой во гроб, чтобы чудом воскресения обмануть людей и «прославить» Учителя. Знал ли Тот об этом? «**Может быть**», — любимое слово Ренана, — может быть, и знал. Здесь тончайший намек — мед ядовитейший, острее иголки острейшее. Как бы то ни было, «великий **Очарователь**» — тоже любимое слово Ренана — «пал жертвой святого безумия»; Себя погубил, и мира не спас; Себя и мир обманул, как никто никогда не обманывал.

Что же значит: «среди сынов человеческих не было большего?» Значит: ессе homo, «се человек», в устах Пилата. Скажет: «Се человек» и руки умоет; скажет: «краеугольный камень человечества» и вынет его потихоньку, так что никто не почувствует, ниц падет перед Истиной, а все-таки спросит с камнем за пазухой: «Что есть истина?»

Ренанова «Жизнь Иисуса» — **Евангелие от Пилата**.

XII

Может быть, невиннее Бруно Бауэр, когда, трясясь от злости и ужаса, вопит, как бесноватый у ног Господних: «Вампир! Вампир! всю кровь нашу высосал!» Может быть, честнее Штраус, когда лезет, как медведь на рогатину: что такое религия? «Род идиотического сознания»; что такое Воскресение? «Всемирно-историческое мошенничество». И если не сам

Ницше, то, может быть, бедная душа его в земном аду безумья поняла, чего так и не понял Ренан: критика — суд над Евангелием — может сделаться Страшным судом над судьями <...>? Может быть, поняла душа его, кого он по плечу похлопывал — да простит мне тень страдальца — с такой почти лакейской развязностью: «Слишком рано умер Иисус; если бы до моих лет дожил, сам бы отказался от своего учения». — «Прелюбопытный декадент, с пленительной прелестью в смешении высокого, большого и детского».

XIII

«Жалкою смертью кончил презренную жизнь, — и вы хотите, чтоб мы верили в него, как в Бога!» Эти страшные слова приводит великий учитель церкви, Ориген, потому, вероятно, что знает, что они даже не кошунство для верующих, а просто глупость, хотя и неглупого и, в нашем смысле, «культурного» человека, Александрийского неоплатоника, Цельза Врача. Глупость эта, казалось бы, не могла быть превзойдена. Но вот могла: Цельз не сомневался — мы усомнились, был ли Христос.

XIV

Глупость эту или небывалое в прошлых веках **научное помешательство — мифоманию** (Христос — «миф») начал XVIII век, продолжал XIX и кончает XX.

Шарль Дюпи (1742—1809), член Конвента, в книге своей, от 3-го года Республики, «Начало всех культов, или Всемирная Религия», доказывает, что Христос, двойник Митры, бог Солнца, скоро будет для нас «тем же, чем были Геркулес, Озирис и Вахх», а Вольней в почти одновременной книге «Развалины, или Размышления о революциях империй» доказывает, что евангельская жизнь Христа есть не что иное, как «миф о течении солнца по Зодиаку».

В тридцатых годах прошлого века Штраус, все еще, по мнению коего из протестантских богословов, «гениальный», — в «Жизни Иисуса» (1836), сам того не зная и, может быть, не желая, расчистил своей «евангельской мифологией» дальнейший путь «мифомании». Штраус посеял — Бруно Бауэр пожал. Критика XIX века подала руку антихристианской мистике XVIII века. Бауэр уже твердо знает, что Иисуса как исторической личности не было; что евангельский образ Его — лишь «вольное поэтическое создание первого евангелиста, Urevangelist»; низшим, порабощенным слоям народа нужный мифический образ «царя демократии, Противокесаря». И — страшного начала смешной конец, горой рожденная мысль — на место Иисуса становится призрачная, из Сенеки и Иосифа Флавия составленная личность.

XV

Можно было надеяться, что, благодаря научной критике Евангелия в конце XIX века и в начале XX, разрушившей до основания Штраусову «мифологию», Бауэр будет так же забыт, как Вольней и Дюпи. Но надежда не оправдалась. Корень XVIII века дал новые ростки в XX.

Что такое «мифомания»? Мнимонаучная форма религиозной во Христу и христианству ненависти, как бы судороги человеческих внутренностей, извергающих это лекарство или яд. «Мир ненавидит Меня, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (Ио. 7, 7). Вот почему в самый канун злейшего дела мира — войны мир Его возненавидел так, как еще никогда. И слитком понятно, что всюду, где только желали покончить с христианством, «научное открытие», что Христос — миф, принято было с таким восторгом, как будто этого только и ждали.

XVI

Сказанное глубоким знатоком первохристианства Иог. Вейсом о книгах Дрекса и Робертсона: «необузданная фантазия», «карикатура на историю», — можно бы сказать и о всех новейших «мифологах».

Знание трудно и медленно, невежество быстро и легко; мир наполняет оно, по слову Карлейля, «всеоглушающим звуком надувательства»; расходится по миру, как сальное пятно по газетной бумаге, и так же неизгладимо.

Подвиг Геркулеса совершила научная критика в Германии за последние 25 лет, очищая эти Авгиевы конюшни религиозного и исторического невежества; но если так дальше пойдет, как сейчас, в послевоенном одиночии, в «комсомоле», уже не только русском, но и всемирном, то скоро новые горы навоза нагромоздятся в конюшне, и, может быть, сам Геркулес задохнется от смрада.

XVII

Иисус — дохристианский, ханаано-эфраимский бог Солнца Joschua (Древес); Он же — Иисус Навин, или патриарх Иосиф, или Озирис, или Атис, или Язон; Он же — индийский бог Агни — Agnus Dei, или вавилонский богатырь Гильгамеш, или, наконец, только «распятый призрак» (Робертсон).

Вертится, как в бреду, калейдоскоп всех мифологий или просто глупостей, радужных на черном поле невежества.

Всем, у кого есть исторический глаз, слух, вкус, обоняние, осязание, бесконечно вероятнее, что такое единственное в мире явление, как Христос, было в действительности, чем то, что оно измышлено, сотворено людьми из ничего и что неизвестные хитрецы-обманщики или обманутые дураки создали нечто, столь же действительное, но неизмеримо более новое, преобразившее духовный мир человечества, чем система Коперника.

XVIII

Кто же, кроме самого Иисуса, мог «сочинить», создать Иисуса? Община простых людей из народа, «сельских и неграмотных»? (Д. А. 4, 13). Это невероятно, но еще невероятнее, что живейший из человеческих образов составлен из разных мифологических веществ в ученой реторте тогдашних философов. А если бы историческую личность Иисуса создавал поэт или целая община поэтов, то это было бы возможно только под тем условием, чтоб поэт изображал в Нем себя самого или община поэтов — себя самое; тогда Иисус — поэт и поэма, творец и творение вместе. Или другими словами: если бы Иисус не был так велик и даже больше, чем изображают Его евангелисты, то их собственное величие — необъяснимейшее чудо истории. Этим тайна Его только отодвигалась бы и делалась еще неразгаданнее.

Это значит: вопрос — был ли Иисус? — при малейшем углублении сводится к другому вопросу: мог ли не быть Иисус, если такой образ, как Его, дан в такой книге, как Евангелие?

XIX

«Он был», — это никем из ближайших к Нему вне-христианских свидетелей не сказано с нужной для научной критики ясностью — вот один из главных «мифологических» доводов. Так ли он силен, как это кажется самим «мифологам»? Чтобы это узнать, надо сначала ответить на три вопроса.

Первый: **когда** начинают говорить об Иисусе вне-христианские свидетели? Прежде чем религия не делается видимым явлением историческим, что произошло для христианства к первой четверти II века, историки не могут говорить об основателе религии. А так как именно с этого времени и начинаются свидетельства римских историков об Иисусе, то отрицательный довод по времени — слишком поздно заговорили — падает.

Вопрос второй: **много или мало** будут о Нем говорить? Очень мало. Стоит ли просвещенным людям тратить много слов на темного варвара, за сто лет в далекой провинции распятого Иудея-бунтовщика, одного из множества ему подобных, «гнусного и безмерного суеверия» виновника? Так именно мало слов тратят на Иисуса римские историки.

Тацит и в суде над христианами прав по-своему. Тотчас после тех страшных слов о них прибавляет: «Как бы ни были они виновны и как бы ни заслуживали казни, но не ради общего блага, а свирепостью одного будучи погублены, они пробудили к себе в сердцах жалость».

Потому ли так судит христиан этот «справедливейший», что мало их знает? Но, может быть, все-таки знает не меньше нашего. «Дети, любите друг друга», — с этим шепотом умирает таинственный старец Эфеса пресвитер Иоанн — почти современник Тацита. Видеть мог он и тех, кто видел христианских мучеников 64 года, в том числе Петра и Павла; видеть мог в глазах их отблеск самой, на землю сошедшей, Небесной Любви, — и вот как судит о Ней: «к роду человеческому ненависть».

Что ж это значит? Значит: двух миров, бесконечно более противоположных, чем христианство и язычество, — мира здешнего и нездешнего, — столкновение небывалое. Тацит еще не знает, но уже предчувствует: Риму — миру и Христу вместе не быть; мир или Он. И Тацит прав — может быть, правее всех за две тысячи лет, даже христианских историков.

Лучше всего видно по этим словам о Христе, что летопись Тацита, так же, как самого Рима, — «вековечнее меди», aere perennius. И вот ответ на вопрос, был ли Иисус, — на этой меди начертан.

XXIII

Третье свидетельство, несколько позднее Тацита (около 120 г.), — Светония.

«Много Нероном сделано зла... но не меньше и доброго... Были казнены христиане, люди суеверия нового и зловредного, *superstitionis poevae et maleficae*». Это в «Жизни Нерона», а в «Жизни Клавдия»: «Иудеев, поджигаемых каким-то Хрестом и усердно бунтовавших, изгнал он из Рима». Здесь имя Христа искажено: *Chrestus*. «Мифологи» ухватились и за эту соломинку: речь будто бы идет о каком-то неизвестном «Хресте», может быть, беглом рабе («Хрест», «Полезный», довольно частое имя рабов). Но мы хорошо знаем, что в правление Клавдия никакого бунтовщика-Иудея под этим именем не было; знаем также, по св. Юстину, Афинагору и Тертуллиану, что христиан тогда называли *Chrestiani*, и, следовательно, «Хрестос» у Светония не может быть никем иным, как Христом.

XXIV

Четвертое свидетельство, самое раннее (93—94 гг.), — в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия.

Зная, кто такой Иосиф, — отступник от Иудейской веры, изменник и перебежчик в римский лагерь во время Иудейской войны 70 года, придворный летописец Флавиев, римский угодник и льстец, — можно предвидеть, что он будет так же или даже еще больше, чем римские историки, хотя и по другим причинам, замалчивать христианство вообще и Христа-Мессию, «царя Израилева», особенно, выгораживая себя и свой народ от подозрений в мятеже, в котором некогда и сам участвовал. Но совсем замолчать будет ему трудно: в Риме слишком хорошо знали христиан после Иудейской войны и во время Домитианова гонения.

Иосиф говорит о Христе, судя по дошедшим до нас рукописям, в двух местах. Первое — хотя и очень ранняя (кажется, II века), слишком все-таки грубая и очевидная христианская вставка. Но, так как место ее, в порядке рассказа, очень естественно, и так как второе, дальнейшее упоминание о Христе («брат Иисуса, называемого Христом») предполагает, что о нем говорено раньше; так как, наконец, уже Ориген здесь что-то читал, то очень вероятно, что в этом месте действительно было что-то, искаженное впоследствии христианскою вставкою. Если откинуть все невозможное под пером Иосифа и кое-что чуть-чуть изменить, сделать возможным, то вот что останется:

«Явился же в то время Иисус, называемый Христом, искусный чудодей, проповедовавший жадным к новизне людям и соблазнивший многих Иудеев и Эллинов. И даже тогда, когда Пилат, по доносу наших первых людей, казнил его смертью на кресте, любившие его от начала (или: обману-

тые им в начале) не перестали его любить до конца. Есть же и доныне община, получившая от него имя Христиан».

Подлинность второго места признается большинством даже левых критиков. Упомянув о самовластии первосвященника Анны (Анана) Младшего (родственника того, кто судил Иисуса) после прокуратора Феста и до прибытия Альбина (в начале 62 г.), Иосиф продолжает: «Анан... полагая, что имеет к тому удобный случай... собрал синедрион... для суда над **братом Иисуса, называемого Христом, — Иаков** имя ему (брату), и обвинив его, вместе с другими, в нарушении закона (Моисеева), велел их побить камнями».

Так иудейским свидетельством подтверждаются римские: Иисус был.

XXV

Пятое свидетельство в Талмуде.

Древнейшие части его — «повествования», haggada, «поучения», halakha, «притчи», meschalim великих раввинов, — восходят, несомненно, к середине II века, а вероятно, и к началу I-го — к дням Иисуса: рабби Гиллель (Hillel) и рабби Шаммай (Schammai) — почти современники Господа.

В первой половине II века учителя Талмуда уже переделывают Евангелию — в Avengilaon, «Зловестие», или Avongilaon, «Власть Греха», «беззакония». Если же 12-е прошение святейшей молитвы Израиля, Schmoneh Esreh, о проклятии «отступников», minim, — и «Назаряин» (два имени христиан): «да погибнут внезапно, и самое имя их из Книги Жизни да изгладится», — относится, как мы точно знаем, не позже, чем к концу I века, то значит, уже тогда понял Израиль, что вечные судьбы его решаются «Висящим на древе» — Распятым.

XXVI

В том, что Иисус творил чудеса исцелений, Талмуд не сомневается: с этою будто бы целью выкрал Он из Иерусалимского храма «Неизреченное Имя» (Iarbe), по одному сказанию, а по другому, древнейшему (около 100 г.), «принес волшебства из Египта в нарезках на теле» (татуировке). В самом конце I века или в начале II-го рабби Иаков из Кефара, «отступник», все еще творит чудеса «Иисусовым именем».

«В Судный день (канун Пасхальной субботы), повешен был Ieschua Hapnozeri (Иисус Назарянин), а до того глашатай ходил перед ним сорок дней, возглашая: «сей Иисус Назарянин идет на побитие камнями за то, что волхвовал, обманул и оболгнул Израиля. Кто знает, чем его оправдать, да придет и свидетельствует». Но не нашли ему оправдания и «повесили его» (распяли), — сказано в древнейшей части Вавилонского Талмуда.

Все это значит: иудейские свидетели знают еще несомненное, чем римские, что Христос **был**; знают и то, чего те не знают, как Он жил и за что умер.

Правда, все это лишь отдельные точки в пространстве и времени; но если провести между ними линию, то получится легко узнаваемая геометрическая фигура видимого нам и в Евангелии исторического тела — Христа.

XXVII

И вот что для «мифологов», может быть, всего убийственной. Все эти свидетели ненавидят Иисуса так, как только могут люди ненавидеть человека; но в голову никому из них не приходит сказать: «Иисуса не было», а ведь этого одного было бы достаточно, чтобы уничтожить Врага.

XXVIII

Св. Юстин Мученик, эллин, обратившийся в христианство в 130 г., родился в Палестине, в древнем г. Сихеме, Flavia Neapolis, вероятно, в конце I века. Мог ли он не знать, что говорили об Иисусе Иудеи в Палестине?

«Иисус Галилеянин — основатель безбожной и беззаконной ереси, Мы

распяли его, а ученики украли тело и обманули людей, говоря, что он воскрес из мертвых и вознесся на небо», — сообщает в середине II века собеседник Юстина, Трифон Иудей. Нет никакого основания не видеть в этих словах того, что палестинские иудеи в конце I-го или в начале II века считали исторически достоверным. Дети и внуки тех, кто некогда кричал: «Распни!» — знали и хвастали тем, что отцы их и деды действительно распяли Его. И в голову опять никому из них не приходит, что Иисуса не было. А ведь, уж конечно, лучше нашего знают они, был Он или не был, может быть, не только потому, что ближе к Нему на два тысячелетия, но и потому, что глаз их иначе устроен, чем наш: хуже видит малое, лучше — большое, и нет над ним того «очарования пустыков», *fascinatio nigacitatis*, как над нашим глазом. Вот отчего не могло случиться с ними, злейшими врагами Христа, того, что случилось с нами, христианами: в доме человечества — всемирной истории — пропал, как булавка, Христос.

XXIX

Первый, более ранний, чем Евангелисты, христианский свидетель — Павел. Подлинность его свидетельства безмерно усилена тем, что он бывший враг Иисуса, гонитель христиан, — Савл.

Сила Павлова свидетельства такова, что, прежде чем сказать: «Не было Христа», — надо бы сказать: «Не было Павла», а для этого отвергнуть подлинность не только всех его Посланий, но и всего Нового Завета, всех творений Мужей Апостольских (90 — 150 гг.), лучших Павловых свидетелей и, наконец, всех апологетов II века, или, другими словами, истребить целое книгохранилище первохристианской истории.

XXX

Что же значат слова Павла: «Если мы и знали Христа по плоти, то теперь уже не знаем?» (II Кор. 5, 16) Сразу этой загадки нам не разгадать; мы будем разгадывать ее лишь по мере того, как будем узнавать Иисуса Неизвестного. Но стоит только прикоснуться к ней, чтобы увидеть, что слова эти не могут значить, как предполагают левые критики, что Павел знает только Христа Небесного, а Христа Земного не знает и не хочет знать.

«О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, (вас), у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» (Гал. 3, 1). «Предначертан», <...> — значит: «на полотне написан кистью художника». Как же бы мог Павел написать Его, если бы не видел, не знал «по плоти»? — «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа Нашего?» (II Кор. 9, 1). Только ли к видению на пути в Дамаск относятся эти слова? — «Кто Ты?» — спрашивает Павел Христа в видении, потому что еще не знает, что Этот и Тот, во плоти, — Один и тот же; и только тогда, когда Господь отвечает ему: — «Я — Иисус», он узнает Его по лицу и по голосу (Д. А. 9, 5). На этом тождестве Узнанного сначала в действительности, а потом в видении вся вера Павла и будет основана.

XXXI

Павел обратился в христианство, вероятно, осенью 31 года, полтора года по смерти Иисуса. «Три года спустя ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать» (Гал. 1, 18). Мог ли Павел за эти дни не осведомиться у Петра о жизни Иисуса и не узнать Его «по плоти»?

Как хорошо узнал, мы видим из посланий Павла. «Можно бы написать по ним маленькую «Жизнь Иисуса», — это понял еще Ренан.

Павел знает, что Иисус «родился от жены» и «от семени Давидова», «подчинился закону» (обрезания); знает, что есть у него брат Иаков; что Господь проповедовал, имея около Себя двенадцать учеников; основал отдельную от Иудейства общину; признавал Себя Мессией, Сыном Божиим Единородным, но в жизни земной «обеднел», «уничтожил Себя», приняв «образ раба»; вольно пошел на крестную смерть; в последнюю ночь перед смертью установил Тайную Вечерю; был предан одним из учеников Своих

и, сделавшись жертвой Иудейских старейшин, был распят на кресте и воскрес.

Сила этих Павловых свидетельств такова, что, если бы даже не было иных, мы все-таки знали бы с большею точностью, чем о многих других исторических лицах, не только, что Христос был, но и как он жил, что говорил, и за что умер.

XXXII

Плиний, Тацит, Светоний, Флавий, Талмуд, Павел — шесть друг от друга независимых свидетелей, с противоположнейших сторон и различнейшими голосами говорящих одно. Но сколько бы ни говорили нам о человеке: «был», — мы еще можем не верить; если же видим и слышим его самого, как не поверить? А именно такое видение и слышание в Евангелии.

«О том... что мы слышали, что видели наши глаза... и осязали руки наши... мы возвещаем вам», — говорит если не сам Иоанн, «ученик, которого любил Иисус», то слышавший эти слова от Иоанна (I Посл. 10, 1, 1—3). «Не хитросплетенным басням (мифам) следуя, но, быв очевидцами Его величия, мы возвещаем вам силу... Христа», — говорит Петр, как будто уже предвидя нашу «мифологию» (II Петр. 1, 16—18). Если надо любить, чтобы знать, и если никогда никто никого не любил больше, чем Иисуса, — ученики Его, то никто никого никогда и не знал лучше, чем они — Его, и никто ни о ком не имеет большего права сказать: своими ушами слышали, своими глазами видели.

XXXIII

«Мы вынуждены признать за христианскими свидетельствами первых поколений после 30-х годов о главных событиях в жизни Иисуса **меру достоверности наивысшую, какая только возможна в истории**», — говорит один очень свободный и, уж во всяком случае, в церковной апологетике не подозрительный критик. И другой: «Сведения наши о Сократе менее достоверны, чем об Иисусе, потому что Сократ изборожден писателями-сочинителями, а Иисус — людьми «неписьменными», почти «неграмотными».

Можно сказать: Евангелие — самая несочиненная, неумышленная, нечаянная, невольная и потому самая правдивая из всех бывших, настоящих и, вероятно, будущих книг.

XXXIV

Что же значат «противоречия» в Евангелиях? Иосифа Сын Иисус или не Иосифа; в Вифлееме родился или в Назарете; только в Галилее проповедовал или также в Иерусалиме; установил Тайную Вечерю или не устанавливал; 14-го Низана распят или 15-го и проч., и проч.? Умный ребенок видит эти «противоречия» и понимает, что их обойти нельзя.

«Тайная гармония лучше явной». «Противоположное — согласное», — учит Гераклит, учат и Евангелия. Мнимые противоречия — действительные противоположности (антиномии), главная музыка «тайной гармонии», — везде в мире, а в религии больше, чем где-либо. Это во-первых, а во-вторых: мы хорошо знаем по вседневному опыту, что если два или больше правдивых свидетеля сообщают об одном и том же событии, то они согласны лишь в главном, а в остальном противоречат друг другу, потому что каждый видит по-своему, и эти-то именно «противоречия» — лучший знак правдивости: ложные свидетели сговорились бы, чтобы не противоречить.

Три свидетеля — Марк, Матфей, Лука — различны, «противоречивы» и, следовательно, друг от друга независимы, а все-таки в главном согласны; и, наконец, четвертый — Иоанн, «противоречащий» всем трем, опять согласен с ними в главном. Так с каждым новым Евангелием возрастает подлинность общего свидетельства в геометрической прогрессии.

Если бы в церкви возобладали логика Маркиона (гностика II века), то мы имели бы одно Евангелие. Но тем-то и доказывается истинность предания лучше всего, что «потребность в апологетике не сгладила в нем противоречий, не свела четырех Евангелий к одному».

«Множеством различий в передаче Иисусовых слов и в повествованиях о жизни Его доказывается, что евангельские свидетельства свободно почерпнуты из независимо друг от друга текущих источников». Если бы первая община измышляла «миф о боге Иисусе», то, уж конечно, позаботилась бы о единстве вымысла и сгладила бы в нем противоречия. Здесь-то, ~~душно~~, где образ Иисуса действительно или как будто противоречит церковно-общинной вере, мы и нащупываем под нею непоколебимый исторический гранит предания. Здесь же лучше всего обнаруживается вся историческая невозможность «мифологии».

Если главное для первохристиан — совпадение Человека Иисуса с ветхозаветным Мессией-Христом, то с какою же целью вводят они в «миф» об Иисусе такое множество вовсе не предсказанных в Ветхом Завете и этим предсказаниям явно противоречащих исторических черт, как бы одной рукой строят, а другой — разрушают «миф»?

XXXV

Стоит только открыть Евангелие, чтобы пахнуло на вас запахом именно той земли, где жил Иисус, и именно тех дней, когда Он жил. «Здесь, в Палестине, все исторично», — вот к чему пришел один из лучших знатоков Палестины после тринадцатилетних странствий по следам Господним. Тот не усомнится, что Он был, кто почти на каждом шагу по Св. Земле вступает в след Иисусовых ног.

Слишком знаменательны настойчивые и подробные указания всех четырех Евангелий на определеннейшие точки в пространстве и времени, т. е., в исторической действительности, или, другими словами, указания на то, что евангельские события — не миф, а история. Нет, вовсе не призрачного «бога Иисуса» искала здесь, в Палестине, древняя церковь, а, наоборот, выступала пред лицом всего мира с ясным и непреложным свидетельством, что Иисус Человек был лицом историческим.

XXXVI

Как же после всего этого люди могли усомниться, был ли Христос? Только ли злая воля, соединенная с глупостью и невежеством, причина «мифологии»? Нет, увы, не только. Есть причина более глубокая и страшная, скрытая в самом христианстве, — та вечная болезнь человеческого ума и воли, которую древняя церковь называет «докетизмом», **кажением** от слова «казаться» <...>: «докеты» — те, кто не хочет знать Христа «по плоти», для кого Он «кажущаяся», мнимая плоть.

«Видимое тело Иисуса — только тень, призрак, *umbra, phantasma, corpulentia putativa*», — учит первый докет, Маркион, в конце II века. «Иисус не родился, а сошел прямо с небес в Галилейский город Капернаум в пятнадцатый год правления кесаря Тиберия», — этим начинается «исправленное» Маркионом Евангелие от Луки. Иисус не умирал: «Симон Кириянин распят за него». «Как бы только тенью страдал, *passum fuisse quasi per umbram*», — учит гностик Марк.

«Лама сабахтани!» — возгласил Господь на кресте только для того, чтобы обмануть и победить сатану», — скажет и Афанасий Великий, столп православия. Господь, ища плодов на бесплодной смоковнице, только «притворялся алчущим», скажет не меньший столп, Иоанн Златоуст. «В пище Иисус не нуждался», по Клименту Александрийскому: призрак не ест и не пьет. «Жажду» на кресте значит: «жажду спасти род человеческий», — скажет Лудольф Саксонский, написавший в XIV веке одну из первых «Жизней Христа». «Иисус — только распятый призрак», — скажут и нынешние «докеты» — «мифологи». Так, от Маркиона через Иоанна Златоуста и Афанасия Великого до наших дней, все христианство пронизано «докетизмом», «кажением».

XXXVII

Вот почему самые неверующие люди наших дней с такою легкостью поверили нелепейшей из всех мифологий, что Христос — миф.

Что такое докетизм в последнем счете? Чья-то попытка украсть спа-

сенный мир у Спасителя, совершить второе убийство Христа, злейшее: в первом, на Голгофе, — только тело Его убито, а в этом, втором, — душа и тело; в первом — только Иисус убит, а во втором — Иисус и Христос: «излетел (на кресте) из Иисуса Христос», — учат докеты, — и осталось лишь человеческое «подобие», «вид», «схема» (homoïōma, schēma, — Павловы страдательные слова, Рим. 8, 3. Филип. 2, 7), геометрическая фигура человека, прозрачно-пустая, из-под выпорхнувшей бабочки, куколка.

Если бы попытка эта удалась, то все христианство — сама Церковь, Тело Христово — рассыпалось бы, как съеденная молью одежда. Вот почему последним и величайшим Докетом, Кажеником, будет «кажущийся Христос» — Антихрист. наших дней «докетизм» и есть к нему прямой и гладкий путь.

XXXVIII

Все это, конечно, покушение с негодными средствами, ибо самое существо докетизма — не то, что есть, а то, что кажется, — обман, туман, фокус, — тщетная попытка сделать, чтоб не было того, что было. Люди все-таки знают, и лучше людей знает сам вечный Фокусник, Каженик, Докет, что Христос был.

«Духом уст Своих убьет Господь Врага», — только одним этим словом: был.

XXXIX

«Был ли Христос?» — значит сейчас: «Будет ли христианство?» Вот почему прочесть Евангелие как следует — так, чтобы увидеть в нем не только Небесного, но и Земного Христа, узнать Его, наконец, по плоти, — значит сейчас спасти христианство — мир.

XL

Тенью ходит Он по миру, а тело Его в Церкви заковано в ризы икон. Тело Его надо найти в мире и Закованного в Церкви расковать.

XLI

Церковь — врата адовы не одолеют ее — сама от страшной болезни «кажения», может быть, спасется; но этого мало: ей надо спасти мир. Церковь знает Христа по плоти; но Его уже не знает или не хочет знать мир. Вечный путь Церкви — от Иисуса Земного ко Христу Небесному; миру, чтобы спастись, надо пойти обратным путем, не против Церкви, а к ней же — от Христа к Иисусу.

Путь Церкви — ко Христу Известному; путь мира — к Иисусу Неизвестному.

2

Неизвестное Евангелие

I

«Я не премину включить для тебя в «Истолкования слов Господних» все, что хорошо узнал от Старцев (Presbyteroi) и хорошо запомнил, ругаясь за истину всего. Ибо я искал, вопреки большинству, не тех, кто много говорит, а тех, кто учит истине, помня не чужие слова, а самим Господом сказанные верующим и от самой Истины идущие. Вот почему, когда встречался я с кем-либо из наученных Старцами, то расспрашивал об их словах: что говорил Андрей, Петр, Филипп, Фома, или Иаков, или Иоанн, или Матфей, или кто другой из учеников Господних; а также, что говорят Аристон и Пресвитер Иоанн, ученики Господни. Ибо я полагал, что мне будет

полезнее взятое не столько из книг, сколько из живого и неумолкающего голоса».

Это говорит около 150 г. епископ Иерапольский (во Фригии) Папий (Papias), ближайший для нас к ученикам Господним свидетель, в предисловии к пяти книгам «Истолкований слов Господних» — православными уничтоженного сокровища, где могло быть много неизвестных нам и не менее, чем в Евангелиях, подлинных Слов. Здесь мы имеем древнейшее и драгоценнейшее, потому что почти единственное свидетельство о той среде, откуда вышли Евангелия.

II

Несколько позднейшее, в 185 г., свидетельство Ириней, епископа Лионского, тоже драгоценно, потому что им подтверждается свидетельство Папия. Это — воспоминания о виденном и слышанном в раннем отрочестве и живо сохранившемся в памяти Ириней («бывшее тогда я помню лучше настоящего, потому что узнанное в детстве с душой срастается») — о столетнем старце, епископе Смирнском, св. Поликарпе Мученике: «Сказывал он нам о своих беседах с Иоанном и другими, видевшими Господа, и о том, как хранил он в памяти... все, что слышал от них... И все было согласно с Писанием... Я же не записал того на хартии, но всегда живым в сердце храню».

III

Смысл обоих свидетельств очень ясен, хотя, может быть, странен для нас. В Церкви, от дней земной жизни Господа до конца II века, и далее, до III—IV веков, — до церковного историка Евсевия, тянется живая цепь предания, как бы переключна из века в век, из рода в род: «Видели?» — «Видели!» — «Слышали?» — «Слышали!» — звучит «живой, неумолкающий голос» в сердцах верующих: есть что-то **по ту сторону Евангелия**, равное ему, если даже не высшее, потому что подлиннейшее, к живому Христу ближайшее: сказанное лучше написанного; видевшие, слышавшие Господа знают, помнят что-то о Нем, чего уже не знает и не помнит Евангелие.

IV

Тот же странный для нас, почти страшный, смысл — в очень, кажется, древнем сказании гностиков: «Господь, по Вознесении Своим, опять сошел на землю и провел одиннадцать лет с учениками Своими, уча их многим тайнам». Это, видимо, древнейшая часть сказания, а вот — позднейшая: «и все, что они видели и слышали от Него, **Он велел им записать**». Эта часть — позднейшая, потому что впервые по отшествию Господа, дни, месяцы, годы ученикам писать было некогда: слишком скорого ждали Пришествия; на что книжные свитки, когда само небо вот-вот совьется, как свиток? Люди не успеют о Нем прочесть, как Он уже будет сам. «Как бы не забыть», — думает пишущий; но можно ли **Его** забыть? Дети забудут? Но будут ли дети — успеют ли быть?

Долго еще Он сам, живой, стоял у них в глазах; голос Его, живого, звучал у них в ушах. «Ваши же блаженны очи, что видели, и уши ваши, что слышали» (Мт. 13, 16). Но вот, с первым записанным словом, этому блаженству наступил конец, как бы вторая с Ним разлука, горшая. Пишущий как бы соглашался, что Его самого уже нет с ними сейчас — и еще не скоро будет. Если любимый завтра вернется, то возлюбленная ждет — не пишет; но если ни завтра, ни в следующие дни, не вернулся, то первое письмо — первая тоска и тревога. Кажется, именно так должны были взглянуть тогдашние люди на первое писанное Евангелие — письмо в разлуке — знак отсроченного свидания.

V

Кажется, именно так взглянул и Петр на первое, с его же, Петровых, слов писанное учеником его и духовным сыном Марком Евангелие. «Петр, — сообщает Климент Александрийский, видимо, очень древнее и подлинное,

потому что невероятное для нас свидетельство, — Петр, узнав, что Марк пишет Евангелие, **не возбранял ему и не поощрял его**. Значит, остался равнодушен, прошел мимо и взглянуть не захотел, а если и взглянул, то косо, с «тоской и тревогой», может быть, ничего не сказал, но подумал: «И он! Добро бы молодые, кто не видел и не слышал, а ведь он видел и слышал все...»

Петр, Верховный Апостол, «не поощрил», не благословил — отверг Евангелие. Это так странно, страшно, что мы ушам своим не верим. И Церковь через несколько лет уже не поверила, поспешила другими сказаниями, позднейшими, смыть это пятно с памяти Петра — своей собственной: «Петр, по откровению Духа Св., радуется, что Марк пишет Евангелие» и «подтверждает написанное»; или даже «велит написать», или, наконец, сам «диктует».

Чтобы все это понять хоть отчасти, мы должны вспомнить, что люди эти, отвергавшие Евангелие, своими ушами слышали, своими глазами видели живого Христа-Солнце, и после Него — при Нем (Он все еще с ними, живой) Евангелие — как тусклая свеча на солнце. Но вот наступил день, когда пришлось им решить, согласиться, что чего-то не поняли они в словах Господних о Пришествии, хотя, казалось бы, как не понять так страшно-ясно сказанного: «**Некоторые из вас не умрут, как уже увидят Сына человеческого**»? (Мт. 16, 28). Все или почти все умерли и не увидели. Тут был для них такой «соблазн», scandalon, что спасти от него мог только Он сам, тогда все еще с ними, живой. А все-таки согласиться пришлось, что не завтра придет, а через много лет — может быть, много веков; люди долго еще будут умирать и рождаться (прежде и в это не очень верили или об этом не очень думали), и, значит, люди могут (нам и теперь это страшно подумать, — каково же было им!), люди могут **забыть Христа**. И вот только тогда, когда все это поняли они, — перед тем, чтобы сойти из солнца — «дня Господня» — в черный-черный, длинный-длинный подземный ход — века от первого до второго Пришествия, — начали скрепя сердце зажигать свечу — писать Евангелие.

Все это нам очень трудно, почти невозможно понять; но без этого мы никогда не поймем, что такое Евангелие, а главное, не увидим того, что **за ним**, — живую жизнь живого Христа, неизвестную — Неизвестного.

VI

Первая до-синоптическая запись, вошедшая потом в Синоптиков (synoptikoi значит **Со-видцы, Со-гласники**, в противоположность Иоанну, **Не-согласнику**), появилась в Палестине, Иисусовой родине, и на Его родном, арамейском языке, вероятно, около 40-х годов, прежде, чем вымерло Его поколение; но запись эта еще не имела ходу, разве только как пособие для вступающих в общину, младших братьев, не видевших и не слышавших самого Господа, чтобы выучивать наизусть «слова Господни».

В 73 г., в конце Иудейской войны, первые христиане бежали из разрушенного Иерусалима в соседний город, Пеллу (Pella), а затем, дальше, в Кокабу (Kokaba), в Батанейской области царя Ирода Агриппы II, почти на границе Набатейского царства (Аравии). Здесь же поселились и родственники Иисуса, в том числе поверившие в Него, наконец, братья. Первое ворование этих Батанейских, от бури в щель скалы, в тишину восходящего солнца — царства Божьего — укрывшихся белых голубей — «нищих Божьих», ebionim, — первые записанные «слова Господни», logia Kugiaka.

Можем ли мы верить, что они записаны с точностью? Можем. Тесно жмутся все друг к другу в этой голубиной стае: братская сближенность — одна душа. **Его**, в одном, **Его** же, теле, — лучшая для нас порука точной памяти; что забудет один — другие напомним; в чем ошибется — поправят. Помнят не только слова Его, но и звуки живого голоса, лицо, взгляд, движения, с какими слова были сказаны, и где, и когда: все как сейчас помнят, потому что любят.

VII

Чудной крепости и свежести древней, **устной** памяти по опыту нашей, **письменной**, загроможденной и расслабленной, мы себе и представить не можем. Весь огромный Талмуд, так же, как Риг-Веды (16000 стихов) и

Коран, сохранялся в устной памяти в течение веков. «Доброго ученика память крепчайшим цементом обложенному водоему подобна: капли не вытечет», — говорит учителя Талмуда.

Внешней силе памяти помогает внутренняя сила слов Господних.

Никогда человек не говорил так, как этот Человек (Иф. 7, 46).

Если это сразу поняли простые, может быть, грубые люди — слуги фарисейские, посланные схватить Иисуса, то тем более — ученики. Вот этим-то: «никогда человек не говорил так», — знаком нечеловеческой единственности, несоизмеримости ни с какой мерой человеческой, — им, слышавшим, памятно, а нам, читающим, подлинны эти слова: здесь памятность и подлинность — одно и то же.

«Тихим и страшным, как бы нездешним светом выделяются слова Его из всех человеческих слов, так что их сразу можно узнать», — замечает Ренан, а ему, тонкому и сложному, неверующему, это, конечно, еще труднее было понять, чем простым и грубым людям, слугам фарисейским.

Стоит лишь сравнить Евангелие с другими книгами Нового Завета, или еще лучше — евангелиста Луку с Лукой Деяний Апостолов, чтобы сразу почувствовать всю разницу между тем Словом и этими, как сразу чувствуют легкие переход из лесного воздуха в комнатный или глаз — переход от солнца к свече. Точно с неба на землю падаешь.

VIII

Просты эти слова так, что ребенку понятны. Маленькие притчи, детские картинки, навсегда прилипающие к памяти: бревно в своем глазу, сучок в глазу брата; слепой ведет слепого в яму: это так просто, понятно, что до конца мира не забудется.

Детям понятно и непонятно мудрецам, потому что под ясным верхним слоем есть множество других, в глубину уходящих, все более темных и загадочных слоев. Но, прежде чем это заметит человек, — в ум, совесть, волю его и, уж конечно, в память впиваются эти загадки, как острые шипы или ядовитые жала: в чье сердце раз впилось, тот уже отравлен навсегда.

IX

Глиной рассыпающейся кажутся все слова человеческие перед этими, алмазно твердыми и ясными. Мир на них движется, как на неразрушимых осях: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».

Шероховаты, как щебень, все слова человеческие перед этими, — из божественной Логик-Логоса — растущими, геометрически совершенными кристаллами. Памяти глаза тотчас же заметна малейшая на них неправильность — выпуклость или вдавленность, — не в них самих ошибка, а в памяти. Лучше или даже просто иначе — нельзя сказать; кто не верит, пусть попробует лучше сказать — точнее огранить алмаз.

X

Внутренняя музыка речи во всех переводах, на всех языках неразрушима. Нет вообще книги более, чем эта, всемирной, всеязычной и всевременной.

«Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли, ветром колеблемую?» или «придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные», — это звучит и будет звучать до конца мира, во всех концах мира, одинаково, неразрушимо.

Память слуха тотчас же отличает звук этих слов, как настоящего золота от оловянного звука фальшивых монет — всех человеческих слов; тотчас узнает, вспоминает среди всех чужих голосов этот, родной: «Овцы за Ним идут, потому что знают голос Его» (Ио. 10, 4); среди всех шумов земных — звуки рая.

XI

Памяти слуха знаком и особый, неповторимый, **двойственный лад** в словах Господних — параллелизм двух членов, не согласный просто, как в Ветхом Завете, а **противоположно-согласный**: «Первые будут последними, а последние — первыми»; «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший — сбережет». В каждом слове — тезис, антитезис и синтез; «да», «нет» и соединяющее над ними «да»; Отец, Сын и Дух. Троичной музыкой звучит все Евангелие, как раковина — шумом волн морских.

Крыльями этого двойного лада пронесится слово Его через все века и народы, живое, бессмертное, как то чудесно окрыленное семя растений, что в малейшем веянии ветра несется за тысячи верст.

XII

Сразу отличается слово Его от всех человеческих слов и **памятью вкуса**. Пресны все они перед этими «солеными». — «Соль — добрая вещь». «Соль имейте в себе» (Мк. 9, 50). В скольких словах Его — соль не только Божественной мудрости, но и ума человеческого, можно бы сказать, почти «остроумия», не в нашем смысле, конечно, а в ином, для которого у нас нет слова. Докучная вдова у судьи, домоправитель неверный, глупый богач перед смертью и сколько других. В каждом слове — особенно в притчах — есть крупинка этой соли — скорбно или радостно, но всегда одинаково тихо над всем земным неземной улыбки сияющий свет.

Рыбу, только что пойманную в Геннисаретском озере, тут же, на берегу, потрошат, чистят, солят и сушат на солнце. Это — смиренная пища рыбаков Галилейских, Двенадцати, и сходящих к ним Ангелов. Кто раз отведал за царственно-нищенской трапезой Господа этой соленой Геннисаретской рыбки, тот уже никогда не забудет ее и не променяет ни на какие амброзийные сладости.

XIII

Но, может быть, лучше всего узнаёт слова Его **память сердца**.

«Кто не оставит отца своего и матери своей...» «Я голодал, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мт. 25, 42—44). Это проходит по сердцу, как огненное острие, и рубец от ожога остается навеки, так что сразу можно узнать, чей прошел здесь огонь. Вот по таким рубцам на сердце человечества, если бы даже исчезло Евангелие, можно было бы узнать, что Христос на земле был.

XIV

Подлинник Арамейский все еще внятно звучит сквозь переводный греческий язык Евангелия.

Кто такие Арамеяне? Северная, к Арийцам ближайшая, ветвь Семитского племени; самые ранние, за два, за три тысячелетия до Р. Х., не государственные, и даже в Иудейском, пророческом духе, противогосударственные, духовные, посредники между Вавилоном-Египтом и Ханааном-Финикией (Крито-Егеей — «Атлантидой в Европе»); древней всемирности, «кафоличности», последние и новой — первые вестники. Если миф о потопе, «Атлантиде» — конце первого человечества — религиозно, а может быть, и преисторически значителен, то «второй Адам», Исус, говорит второму человечеству на языке первого.

В XI веке до Христа арамейский язык — такой же всемирный, каким будет через тысячу лет простонародный, **общий** — Κοινὴ, эллинистический язык Александра Великого и самого Бога Диониса — тени Солнца, Сына грядущего. Евангелие, переведенное на этот язык с арамейского, соединяет обе всемирности в одну, оба человечества в одно: второе и первое — в третьем. И здесь опять тезис, антитезис и синтез; Отец, Сын и Дух: той же музыкой Троичной звучит Евангелие, как раковина шумом волн морских.

XV

Мы должны пробиться сквозь греческий перевод к арамейскому подлиннику; чтобы услышать «живой, неумолкающий голос» Христа, почувствовать, как вместе с родным языком Его веет на нас «само дыхание Божественных уст», *suavitates, quae velut ex ora Iesu Christi... afflati videntur*.

Первый младенческий лепет Его к Отцу на языке земной матери: «Авва, Отец» и последний вопль на кресте: *Iama sabhahthani*, — оба арамейские. *Rabbi Ieschua* — Иисус Арамейский — Иисус Неизвестный.

XVI

«То, что сыграно на арфе, иначе звучит на флейте».

Talitha, kumi значит не «девица, встань», а «девочка, проснись». Страшное чудо воскресения так детски просто, понятно, естественно, в этом слове, детски простом. «Встань, девица», — душа молчит, спит мертвым сном; «Девочка, проснись», — душа воскресает, просыпается.

Эта простота — божественность Евангелия; чем проще, тем божественней. Эта простота — прозрачность, невидимость, как бы отсутствие воздуха в Евангелии. В райски ясные зимние утра на Иисусовой родине, Галилейских предгорьях, — воздух, чистейший, небесный на земле эфир, так прозрачен, что самое далекое становится близким: от Фавора до Ермона, кажется, рукой подать. Тот же небесный эфир и в Евангелии. Двух тысячелетий, отделяющих нас от него, как не бывало: все — как вчера-сегодня; не было — есть. «Прежде, нежели был Авраам», — и после того, как будете вы, будут последние люди мира, — «Я есмь». Между Ним и нами — ничего; мы с Ним — лицом к лицу.

Это так страшно, что понятно, что иногда и верующие люди целыми годами боятся заглянуть в Евангелие; в церкви слушают его, а у себя дома уши загибают, чтобы не слышать страшно-близкого голоса: «Сегодня Мне надо быть у тебя в доме».

XVII

Это-то вот страшно-близкое, простое Евангелие и есть Неизвестное. Очень простых людей простые «Воспоминания», устные: писать не умеют, «неграмотны», да и некогда: «Сейчас придет Сам».

«Воспоминания Апостолов, так называемые Евангелия», — говорит св. Юстин Мученик (150 г.), видевший и слышавший тех, кто видел и слышал Господа. Это значит: «Воспоминания», *Aromnêoneumata*, — первое имя книги, древнейшее, а «Евангелия» — второе, позднейшее. «Воспоминания», не в смысле «Достопамятностей», *Memorabilia*, как у Ксенофонта о Сократе (есть ли во Христе более или менее достойное памяти; не все ли одинаково?), а скорее в смысле наших личных и исторических «Воспоминаний», «Мемуаров». Это надо всегда помнить, чтобы понять, что такое Евангелие.

XVIII

«Мы почти ничего не можем узнать об историческом Иисусе из Евангелий, потому что книга эта по самому происхождению своему вовсе не историческая, а богослужебная: читалась уже в 40-х годах I века на воскресных богослужениях», — как сообщает тот же Юстин Мученик. Эти ходячие сомнения в историчности Евангелия очень легко опровергнуть.

Прежде всего тогдашние, не первых годов, а первых дней христианства, когда появились первые записи «слов Господних», понятия «церковного» вообще и «богослужебного», в частности, вовсе не соответствуют нашим. Маленькие домашние «церковки»-горенки, где все так просто, бедно, голо и братски-тесно, тепло, уютно-ласково, только внутренне огромно, ужасно, потому что Он сам только что был здесь и, может быть, опять будет сейчас, — потому что всегда невидимо здесь присутствует (*parousia*), — эти маленькие церковки слишком непохожи на наши огромные, великолепные и холодные церкви-храмы. Если бы один из тех «нищих Божиих», Бо-

жих детей, вдруг увидел себя в такой церкви — в Римском Петре или св. Софии, — то как удивился бы, испугался, чуть не заплакал бы от страха, как маленькие дети плачут; как не узнал бы памятных записок своих — тесно по-арамейски исписанных клочков папируса или пергамента, зачитанных, запачканных, но какими слезами облитых, какой любовью осиянных, — своих «Евангелий», — в этой огромной, тяжелой, почти не разгибающейся, в пурпур, золото и драгоценные камни закованной книге — в нашем церковном Евангелии!

XIX

Это прежде всего, а потом — прав Ориген: «Если бы не были правдивы Евангелисты, а измышляли басни (мифы), как полагает Цельз, то не сообщили бы об отречении Петра и о соблазне учеников». И только ли об этом одном? Петр в устах Господних — «сатана»; Иуда — Предатель, избранный в сонм Двенадцати самим Учителем, предвидевшим, чем для Него и для них будет Иуда; «одержимость», «бесноватость» Иисуса в страшном рассказе Иоанна (7, 20; 10, 20), и еще более страшном у Марка: «сумасшествие» Иисуса, признанное не только братьями Его, но, может быть, и матерью (3, 21; 31 — 35); второй освобожденный от креста Иисус Варавва, Ваг-Абба — «Сын Отца» (так в древнейших подлиннейших рукописях); и последний вопль Сына к Отцу: «Для чего Ты Меня оставил?»... Да надо ли перечислять? Стоит только заглянуть в Евангелие, чтобы увидеть, что все оно полно такими «соблазнами», *scandala*, «тяжкими словами» (Ио. 6. 60); все оно — «пререкаемое знамение», как уже Симеон Богоприимец, держа Младенца на руках, пререк:

Вот, лежит Сей... в пререкаемое знамение. *Sêmeion antilegomenon* (Лк. I, 2, 34).

Странная — страшная, «богослужебная» книга, где, как будто нарочно, на каждом шагу такие западни-загадки поставлены. Можно сказать, как это тоже ни странно, ни страшно, что Евангелие — книга наименее «богослужебная» и даже — разумея «Церковь» не в тогдашнем, первых дней христианства, а в нашем смысле — наименее «церковная» из всех бывших, настоящих и, вероятно, будущих книг.

Страшную Книгу надо было закрыть, заковать в железо, камень, адмант, чтобы слишком свободный дух ее не взорвал и не рушил всей церкви. Но в том-то и божественная сила Церкви, что она это сделала так, что только вечно подавляемым — никогда не подавленным — духом Евангелия она и живет; только этими внутренними, тихими взрывами и движется.

Чтобы после всего этого сомневаться в «историчности» Евангелия, надо быть очень плохим историком.

XX

Чувствуется, как иногда вспоминаящим трудно вспоминать живую речь Иисуса — эти «странные, тяжкие слова»; как иногда не понимают они сказанного:

Те, кто со мной, Меня не поняли.

И недоумевают, «соблазняются», а все-таки передают с точностью непонятные слова, нераскрытые и нетронутые, цельные, живые, как бы все еще теплые от «дыхания Божественных уст». Тяжкие глыбы слов нагромождают, не смея прикасаться к ним, обтесывать и сглаживать. Слова слишком глубоко проникли в сердца их; слишком неизгладимо запечатлелись в памяти, чтобы могли они, если бы даже хотели, не записать их так, как слышали.

Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. (Д. А. 4, 20).

Почему не могут? Потому что слишком любят Его. Вот эта-то любовь к Нему бесконечная — в бесконечной правдивости Евангелия лучшая порука.

XXI

Рост Евангелия похож на то, как если бы случайно, в беспорядке, складывались в один ларец отдельные листки, памятные записки о словах и событиях из жизни Господа, и потом, оживая, срастались бы, как лепестки, в один цветок, так что их уже нельзя было бы разделить, не убивая цветка, и резко противоположные — «противоречивые» — окраски их сливались бы в одну живую прелесть цветка — лица Господня. «Ты прекраснее сынов человеческих», и книга о Тебе прекраснее всех человеческих книг. Но само Евангелие не знает красоты своей и не хочет быть прекрасным: если бы узнало, захотело — все очарование исчезло бы. Богу одному цветет, благоухает этот неизвестный, Неизвестного Рая цветок.

XXII

Воздух нужен цветку — свобода Евангелию. Какая свобода? Скажем просто: всякая, в том числе и «свобода критики».

Критика — суд. Если Евангелие — истина, то может ли быть над ним суд? Истина судит, а не судится. Но, во-первых, кто из нас посмеет сказать, живя, как мы живем, что Евангелие для него уже истина? А во-вторых, истина борется с ложью и от нее обороняется. Такая оборона — **Апология**, родившаяся, можно сказать, вместе с Евангелием. Но если истинная Критика кончается Апологетикой, то может быть и обратно: Апологетика начинается с Критики.

XXIII

В кажущихся или действительных «противоречиях» Евангелий уже дана необходимая свобода выбора, суда — критики.

«Что ты называешь Меня благим?» — это у Марка (10,18), а у Матфея (19, 17): «Что ты спрашиваешь Меня о благом?» Мог ли Иисус говорить и так, и эдак? А разница — как небо от земли. Хочешь, не хочешь — суди, выбирай свободно, будь судьей, «критиком».

К выбору нас принуждают противоречия не только между словами в разных Евангелиях, но и между разными чтениями одного и того же слова.

«Иисус не мог сотворить там (в Назарете) никакого чуда», так в нашем каноническом тексте (Мк. 6,5), а в древнейших Итальянских кодексах (Italocodices): «Иисус не сотворил там никакого чуда», — в том смысле, конечно, что, «хотя и мог сотворить, но не хотел». Разница опять огромная, и сгладить ее можно только очень грубым насильем, сломав или притупив божественное острие Слова человеческой тупостью.

А вот еще острее. В нашем позднем, от IV века, каноническом чтении Мт. 1, 16: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус». А в Сиро-Синайском кодексе (Syrgus Sinaiticus), с греческого подлинника II века:

Иосиф, которому обручена была
дева Мария, родил Иисуса.

Здесь уже разница касается самого догмата о Бессеменном зачатии. Как с этим быть, люди не знали и прятали рукопись в темный угол Синайского книгохранилища, где она и пролежала пятнадцать веков, пока, наконец, не вышла на свет в наши дни, к тщетному, может быть, злорадству левых критиков и не менее тщетному ужасу теологов.

XXIV

«Дух Св. водил рукой евангелистов, когда они писали Евангелия», — учит один протестантский богослов XVI века. Это значит: пишущий Евангелист для Духа то же, что для музыканта — органные клавиши. Если так, то надо, конечно, согласить все «противоречия» в Евангелиях, хотя бы пришлось для этого в начале подобных «симфоний» утверждать, как это делает бл. Августин, что были две Марии Магдалины, а в конце, как этого никто не делает, — что Иисус дважды родился и трижды умер, или, другими словами, надо верить, что Божественный Смысл принуждает людей к бес-

смысле. А если не так, то дыхание Духа — «Боговдохновенность» Евангелия и воля к свободе — одно и то же.

XXV

Кто не свободно верит, тот ходи в церковь, слушай «чтение Евангелия», но сам в него не заглядывай: старую веру потеряет, а новую — найдет ли, еще неизвестно.

XXVI

Есть что-то божественно-трогательное, хочется сказать — «божественно-жалобное» в евангельских «противоречиях» — этих как будто отчаянных, судорожных и все-таки к свободе человеческой бережных усилиях Духа Божьего пробиться сквозь плоть и кровь — в тщетных иногда усилиях, подобных трепету пламени в душном воздухе и голубиных крыл в сетях.

XXVII

Самый страшный дар Божий людям — свобода, но и самый святой. Это чувствуется лучше всего здесь, в Евангелии. Вот почему первое, на что кидаются все поработители духа, чтобы истребить, — это самая страшная для них книга — Евангелие.

«Вместо того, чтобы овладеть людскою свободою, Ты умножил ее и обременил ее мученьями человека навеки... Но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же, наконец... и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем?» — говорит Великий Инквизитор (Достоевский). «Трупом будь в руках учителя, *reginde ac cadaver*», — говорит Лойола. Трупом хочет быть Паскаль, но не может и сходит с ума от страха «бездны» — свободы евангельской.

XXVIII

Бояться свободы, не верить в нее — значит не верить в Духа Святого, потому что свобода человеческая в Боге и есть Дух, — вот к чему приводит нас евангельская критика — и это немало.

Может быть, страшной ценой, но мы, наконец, поняли, или вот-вот пойдем, чего за две тысячи лет христианства никто никогда не понимал, что неизвестное имя Христа — **Освободитель** и что, не приняв свободы, мы никогда не узнаем Его, Неизвестного.

(Продолжение следует.)

«...Социализм можно понимать разное»

«Большое письмо» Д. И. Шаховского А. А. Корнилову

Задачи, стоящие ныне перед российским обществом, все более отчетливо обрисовываются как задачи культурные. Выясняется недостаточность и даже невозможность только экономических и политических преобразований без того, что в христианской традиции именуется покаянием, т. е. без смены мыслительных и поведенческих стереотипов, утвердившихся в стране после несчастных событий начала века.

В этой ситуации очевидного кризиса «социалистического выбора» большевистского образца возникает настоятельная потребность обратиться к духовному опыту и размышлениям мыслителей и общественных деятелей, оказавшихся вне советской «столбовой дороги», чьи идеи не получили заметного влияния и не воплотились в общественную практику, быть может, насильственно и искусственно.

Князь Дмитрий Иванович Шаховской (1862—1939) почти неизвестен широкому читателю. Между тем его судьба заслуживает более пристального внимания, и детали его внешне неброской биографии представляются значительными при любых попытках реалистического понимания истории отечественного духовного развития.

Одаренный филолог Д. И. Шаховской после окончания в 1885 году Петербургского университета, где он работал под руководством Н. С. Тихонравова, отказывается от открывавшейся ему блестящей академической карьеры. По приглашению Ф. И. Родичева — лидера тверских либералов — он принимает земскую должность заведующего хозяйственной частью народных училищ Весьегонского уезда. С этого времени жизнь Шаховского неразрывно связана с земской деятельностью сначала в «Весьегонии», а позднее — в Ярославле. Внук декабриста, Д. И. Шаховской с юности был увлечен почвеннической идеей воплощения «русской правды», для чего постоянно искал возможностей «рядовой работы и сближения с русской повседневностью».

Однако свободная самостоятельность об-

щества в России оказывалась невозможной. После голода 1891 года, когда бюрократия, не способная организовать действительную помощь пострадавшим, препятствовала тем не менее организации «частной благотворительности», необходимость борьбы за политические свободы была осознана многими земцами. Д. И. Шаховской участвует в работе нелегальных земских съездов, становится одним из основателей журнала «Освобождение» и членом совета «Союза Освобождения», после октября 1905 года — членом ЦК Конституционно-демократической партии, в 1906 — депутатом и секретарем 1 Государственной думы. За участие в составлении «Выборгского воззвания» с протестом против разгона Думы он был осужден по статье, лишавшей его политических прав, — земская и думская деятельность закрылась перед ним. Шаховской включается в новое для него дело — организацию кооперативного движения.

Во Временном правительстве Шаховской получает портфель министра государственного призрения. После Октябрьского переворота, разгона Учредительного собрания и заключения Брестского мира он оказывается среди противников большевизма, становится одним из учредителей «Союза возрождения России» (1918). Однако успешное, по-видимости, советское государственное строительство заставляет его к 1921 году «сменить вехи». С этого времени и до смерти Шаховской занимается историко-литературными исследованиями. В 1939 году пенсионер Д. И. Шаховской был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР по обвинению в принадлежности к нелегальной кадетской организации, «ставящей своей целью свержение советской власти и восстановление капиталистического строя с помощью интервенции фашистских государств против СССР»*.

* Реабилитирован определением той же коллегии в 1957 г. «за отсутствием состава преступления».

Таковы основные события биографии Д. И. Шаховского — общественного деятеля. Лишь ближайшим друзьям было известно другое лицо князя — лицо глубокого и самостоятельного мыслителя.

Этот ближайший круг общения составляло для Шаховского братство «Приютинно», выросшее постепенно из возникшего в 1881 году кружка студентов Петербургского университета, в центре которого стоял Ф. Ф. Ольденбург. Первоначальный костяк кружка составили «варшавяне» — знакомые по варшавской гимназии — Ф. Ф. и С. Ф. Ольденбурги, А. А. Корнилов, С. Е. Крыжановский, Л. А. Обольянинов и Д. И. Шаховской. После студенческих волнений в ноябре 1882 года к кружку примкнули В. И. Вернадский, А. Н. Краснов, Н. Г. Ушинский и М. П. Свешников. Позднее вошли в состав кружка И. М. Гревс, М. С. Зарудная (в замужестве Гревс) и Н. Е. Старицкая (в замужестве Вернадская)¹.

Направление идейных исканий кружка определялось состоянием духовной атмосферы русского общества 1880-х годов. После царевубийства 1 марта 1881 года обнаружился в полном объеме кризис народофильства, совершается его деградация, вызванная как организационным распадом, так и отчетливым осознанием теоретического тупика. Участники «ольденбургского кружка» не могли примириться, как вспоминал В. И. Вернадский, «с тем отношением к религии, искусству, философии, политической жизни, науке, которое было связано с тогдашними социалистическими настроениями молодежи. Сам социализм для многих считался трудно соединимым с другими сторонами человеческого духа — с чувством нации и государства, а еще более с чувством свободы личности и не мог считаться научно-доказанной истиной, или быть принят на веру, как он принимался его адептами»². Участников кружка, высоко ценивших науку, точное знание, отталкивал «низкий уровень политического образования и общественной подготовки студенческих радикальных групп», «где усовершенствование «мировоззрения» совершалось при помощи популярных брошюр и журнальных статей»³. В то же время участники братства не собирались отказаться от общественного служения, кружок «только искал для этого более глубоких и положительных идеалов и путей, чем те, к которым звали ходячие прогрессивные знамени»⁴. «Мы чтим традицию от-

цов,— писал позднее о братстве И. М. Гревс,— но искали и обновления идеалов, прилагая усилия к объединению обоих в «творческую эволюцию», не хотели дать им столкнуться во взаимном разрушении»⁵.

Одним из важнейших инструментов выработки единой позиции участников братства была переписка. Причем специально подготавливаемые «большие письма» подлежали циркулярной передаче и обрастали пометами братьев. Предлагаемое читателям «большое письмо» Д. И. Шаховского непосредственно адресовано историку А. А. Корнилову. Письмо — единое послание, составлявшееся несколько дней,— хранится: ЦГАОР, ф. 635 Шаховские, оп. 1, д. 294, лл. 71—81 об; д. 293, лл. 150—156. Все отточия в тексте принадлежат автору письма, восстановленная часть текста заключена в угловые скобки. Сноски даются в конце текста.

Ярославль, 23 окт. 1890

Хотя я и ответил на твое большое письмо, но все-таки у меня осталось чувство неудовлетворенности, я что-то там не дописал. А сегодня я получил пересланное Владимиром¹ твое письмо к нему от 1 апреля и не могу удержаться, чтобы не написать тебе сейчас же, хотя совсем не до того, и некогда. В своем ответе я высказываю, что с постановкой вопроса о социализме, как преодолении либерализма, я согласен вполне, и даже не считаю нужным посвящать силы на доказательство этого, с программой твоей не могу согласиться, потому что не вижу ее из письма, а с планом твоих действий безусловно не согласен, так как по горло дела в России и такого дела, к<ото>рое мы можем делать и от которого не имеем права отклоняться.— Но я именно чувствовал, что моя собственная точка зрения остается невыясненной — а твое письмо, к<ото>рое я прочитал сегодня, показывает мне, как такое выяснение необходимо, потому что ты в нем очень неверно передаешь мои мысли. Я даже удивляюсь, как это могло случиться, потому что мне казалось, что я кое-что высказывал прямо противоречащее тем взглядам, к<ото>рые ты мне приписываешь. Но в сущности это очень понятно. Когда имеешь представление об убеждениях другого по отдельным разговорам и письмам, а долго не живешь одной жизнью, недоразумения неизбежны. Несколько поразивших особенностей заменяют все мировоззрение другого лица. Поэтому, по-моему, очень бы полезно делиться впечатлениями о прочитанном — так как тут сразу можешь узнать мнение другого о множест-

¹ Небольшая литература о «Приютине» или основана исключительно на личных воспоминаниях и опубликованных материалах (Вернадский Г. В. Братство «Приютинно». Новый журнал, 1968, № 93; 1969, №№ 95—97) или грешит намеренным сужением проблематики (Левандовский А. А. Кружок Ф. Ф. Ольденбурга. Проблемы истории СССР, вып. VI, М., 1977); Аксенов Г. П. «И все великое не сон...». (Прометей, т. 15, М., 1988):

² Вернадский В. И. Очерки и речи. Вып. 2. Пг., 1922, с. 106.

³ Гревс И. М. В годы юности. Былое, 1918, № 12, с. 52.

⁴ Там же. 1921, № 16, с. 138.

⁵ Там же. 1918, № 12, с. 44.

ве вопросов, о целой системе понятий. Вот мне, например, ужасно хотелось бы знать, что ты думаешь о книге Беллами². Ведь ты отлично знаешь да и пишешь сам в письме, что социализм можно понимать разное. И поэтому я всякому называющему себя социалистом, но не высказывающему определенно своей доктрины, буду возражать неопределенно и почти всякому выразившему свои взгляды найду что возражать, хотя и я, и все мы, конечно, социалисты по моему твердому убеждению. Я даже не могу себе представить, как мыслящий искренний человек из нас не был бы социалистом. — Ты в письме говоришь, будто я полагаю, что социализм противоречит принципам Великой революции и нарушает декларацию прав человека и гражданина! Мне просто дико читать эти мысли. Я, напротив, как и ты, считаю, что социализм должен быть дальнейшим развитием этих прав и именно настаиваю на этой точке зрения. Я не согласен именно с тем социализмом, к<ото>рый ставит перед собой известный идеал экономического строя и готов посвятить все для достижения идеала, — и поэтому я готов даже спорить против национализации земли, или, лучше, с тем отрицательным отношением ко всякой земельной собственности, к<ото>рое было у тебя, — национализации земли ведь еще нет. Для меня ясно, что Декларация прав должна расширяться и исправляться, и я люблю французскую революцию не за ту именно декларацию, которую она провозгласила, а за то, что она вообще провозгласила права человека, т. е. осмелилась сделать попытку построить человеческое общество на началах разума и справедливости. Я отлично знаю, что попытка эта была неудачная и точно так же убежден, что вполне удачной попытки не будет до окончания жизни человечества*, потому что нет предела совершенствованию* человеческой природы, развитию и потребностей и способностей, и я понимаю социалистические принципы именно как расширение прав человека: кроме признанных за ним прав всякий человек имеет еще право на труд, общественное признание, одинаковое со всеми пользование произведениями природы, к<ото>рые не добыты трудом человека и теми завоеваниями, к<ото>рые совершены усилиями человечества. Само собой разумеется, что свобода предполагает не только независимость политическую, а еще независимость материальную и денежную. Но я люблю прежде всего именно эту независимость и готов критически отнестись ко всякому орудю, к<ото>рое выдают за существо приближения к ней. И если мне кажется, что это орудие без нужды стесняет независимость людей, то я его признаю негодным, как бы аппетитно ни пахло со-

циализмом. — Я полагаю, что совсем нет нужды заменять обязательно самостоятельные хозяйства одним общественным хозяйством. Зачем это? Если это спасает эти отдельные хозяйства* от рабства подчинения* — конечно, надо их освободить от него и заменить их зависимость от частных лиц зависимостью от общества. Но раз они действительно независимы, то для чего подчинять их — хотя бы обществу? Ты ведь помнишь, на этом вертелся наш спор. Представь себе картину: я живу на 5 десятинах земли в стране**, где никто земель не обижен**, и ем свой хлеб, к<ото>рый получаю, работая довольно первобытным образом своим любимым плугом на своей доморощенной дорогой лошади. Я люблю те борозды, к<ото>рые проводит мой плуг, мне приятно есть именно свой хлеб и кормить им детей своих. Почему же уничтожать все это, гнать меня на общую пашню с усовершенствованными машинами и выдавать мне хлеб из общей житницы? Я не говорю, что плоха общая житница и что этот строй с общим хозяйством хуже, но я не считаю его непременно нужным для всякого случая. И главное, я хочу знать, на основании чего будут заставлять разрушать этот строй моей жизни. И если мне докажут, что жизнь моя и детей моих станет при нем полнее и лучше, я, пожалуй, и соглашусь на нее, но я буду именно ждать такого доказательства.

Конечно, истинный либерализм и истинный социализм не противоречат, а предполагают друг друга. Но, понимаемые односторонне, они постоянно сталкиваются. Поэтому я ровно ничего не могу возразить против твоей общей точки зрения, и потому, что совершенно с ней согласен, но постоянно буду спорить против тех твоих частных положений, где будет пусть излишнее увлечение какой-либо частностью или недостаточно внимательное отношение к особенностям русского строя, которые придаю иногда первостепенную важность развитию чего-либо самого по себе и не особенно желательного. Так, развитие личности в русском человеке ужасно важно и желательно. Я не хочу, чтобы из него развивался узкий индивидуалист, но я не могу не стараться изо всех сил, чтобы в нем сильнее выразилась определенная личность с сильными желаниями, ясным сознанием своих целей и твердостью и постоянством в их достижении. Я готов поклоняться **культуры** не потому, чтобы я ее ценил высоко, а потому, что я всякий день вижу, как погибает русский человек от некультурности. Я хочу, чтобы люди были людьми вполне и придаю большое значение развитию тех сторон человеческой личности, отсутствие которых замечая вокруг себя, чем тех, к<ото>рых вокруг, пожалуй, даже слишком много. И думаю, что

* Подчеркнуто синим карандашом и поставлен вопросительный знак. Помета А. А. Корнилова черным карандашом: «Нужно учиться у истории». — Н. С.

* Подчеркнуто синим карандашом с пометой А. А. Корнилова: «Это с точки зрения свободы, а с точки зрения любви?»
** Подчеркнуто Корниловым. Помета: «А когда земли станет мало?»

раз мы русские общественные деятели, то эта точка зрения для нас обязательна? И поэтому либерализм особенно видное место должен занимать в нашей программе.

Я знаю, что за то и социализм особенно важен у нас. И даже вполне народными деятелями, мы, разумеется, и можем сделаться только как социалисты. Но пока не разовьется личность, никакая вообще деятельность невозможна, возможны только стихийные движения, а я хочу настоящей человеческой жизни.— Я убежден, что тут нет ровно ничего нового. Я даже не стал бы писать ничего этого, если бы меня не натолкнуло прямо выразительное твое мнение, что я противопоставляю социализм фр<анцузской> революции (и идее личности). Я думаю, что во всех этих суждениях мы все друг с другом согласны и думал бы, напротив, как можно скорее приступить к выяснению частных положений, без к<ото>рых не может быть определенной программы. Но еще один вопрос я тут затрону, потому что он тоже возник у меня при чтении твоего письма сегодняшнего. «Главная задача социализма этическая»,— говоришь ты. Чувства любви и братства, я думаю, не создаются формами общественности. А социализм все-таки есть в конце концов только стремление к такой форме. Я, к сожалению, очень плохо знаю философию права, и, может быть, мои суждения о государстве очень дики. Но я думаю, что государство есть всегда учреждение для осуществления известных прав входящих в состав его людей и является по необходимости само по себе черствым и немилосердным. И чувства любви и милосердия, влияя, разумеется, и на формы государства, все-таки развиваются и осуществляются помимо их — и что тут самостоятельная область человеческого духа. Тут религия и нравственность. Формы государства всегда формы. Каковы бы ни были идеал и чувства, их создавшие, они — эти формы — никогда не могут создавать чувства, а чувство живет и развивается своим особым путем. Формы государства почти всегда чувство окаменелое, застывшее, и поэтому они холодны, тяжелы и бесчувственны*.

Этот вопрос занимал меня давно, еще молодым гимназистом. Мне казалось, что кроме прогресса форм государственности, кроме накопления знаний есть еще особый прогресс радости, чувства любви в человечестве, где тоже ничего не пропадает и где всякий веселый смех, всякая улыбка радости, любовное слово, шутка и доставленное им здоровое развлечение навсегда увеличивают сумму человеческого благодушия. Я очень чулушисто пишу**. Надоели дела хуже смерти. И устал я, и некогда. И, кажется, я теперь

уж не туда заехал, куда хотел. Дело в том, что, мне кажется, ты ожидаешь от социализма такого воспитания чувства, к<ото>рое совсем не зависит от него. Делая одно общее дело, можно ненавидеть друг друга и чувствовать взаимное отчуждение, и, делая всяк свое, можно любить друг друга и чувствовать единство. И если ты такого единства хочешь, то его не надо смешивать с социализмом и считать непременно последствием последнего. Конечно, я не спору опять против социализма, а только против придания ему той цены, к<ото>рой он не имеет, что по необходимости ведет к утрате равновесия в сравнительной оценке важности той или другой меры.

Ты протестуешь против признания социализма вопросом желудка.— Помнишь ли ты, что именно таковым считает его Шефле³ и очень на этом настаивает? Я это говорю к тому, что словами «я коллективист» ты еще ничего не выражаешь. И Беллами, я думаю, можно назвать коллективистом. Совсем не поднимается рука писать о Беллами. Я хотел было написать тебе свое мнение о нем. Я, впрочем, не думаю, чтобы ты был с ним согласен. Но именно мне бы было очень интересно узнать, что ты понимаешь под коллективизмом и как представляешь себе весь идеальный строй жизни, а для этого и интересно узнать, как ты относишься к другой сравнительно полно построенной системе.

Прощай. Больше не могу писать. Всего тебе хорошего.

С. Михайловское, 25.X.1890

Я говорю, что я, разумеется, социалист и вместе с тем — что социализм — понятие весьма смутное. Поэтому я должен объяснить, в чем заключается мой социализм. Я думаю, что мое утверждение своего социализма кажется тебе пустыми словами.

1. Я социалист прежде всего в том смысле, что считаю каждого вправе пользоваться собственно продуктами только своего собственного труда, продуктами же природы и чужим трудом пользоваться не по захвату, а по другому высшему принципу. Настоящим таким принципом должно быть сознательное распределение представителями общества. Но для того, чтобы этого можно было достигнуть, необходимо совершенное преобразование общества: развитие в нем сознательности и установление настоящего представительства. Поэтому теперь я могу принимать в соображение при определении, как пользоваться продуктами природы и чужого труда — лишь своими понятиями о справедливости и общей пользе и фактическими обстоятельствами, юридическими и другими. Я все-таки все не лично мною выработанное считаю общим достоянием, но распорядителем части этого достояния, попавшей в мои руки по тем или другим причинам, увыл

* Помета А. А. Корнилова черным карандашом между строк: «Я говорил не о государстве», а об общественном строе, и не о создании, а о влиянии».

** Помета Корнилова черным карандашом между строк: «Напротив, это очень верно!»

только и могу считать себя самого, и совсем не могу сильно стремиться, чтобы распоряжение **всем этим** теперь же перешло в руки общества *.

2. Продуктов моего личного труда, в сущности, нет. Все общее, все, что я произведу, производится мною при помощи других. И поэтому все предыдущее размышление относится ко всем моим вещам. Я **на все** смотрю как на общую собственность, которой я могу в данном случае быть распорядителем.

3. Жизнь отдельной личности не имеет настоящего смысла. Только жизнь в человечестве имеет смысл, и всякий должен постоянно чувствовать себя частицей этого человечества и руководиться его интересами.

4. Жизнь людей только и может быть полной и счастливой при общинном строе.

5. Я считаю несправедливым получение процентов с денежных капиталов и несправедливой жизнь на проценты. Хотя, разумеется, при необходимости занимать под проценты и при существовании в моих руках теперешних денежных капиталов, приносящих доход, я считаю **необходимым** этим доходом пользоваться.

Таким образом, мне кажется, я не подвергаюсь опасности увлечься **индивидуализмом и капитализмом** **. И тому и другому противопоставляю социализм — как **теорию**, признающую мерилом ценности труд, а все от него независимое — общественным достоянием, и тесную зависимость личности от общества, и как **чувство** необходимости единения с другими людьми и воспитателя навыков совместной жизни, и как **живое сознание** этого единства.

Конечно, необходимо воспользоваться привычкой русского народа к жизни общинной и *** построить сознательную правовую теорию ***, которая бы имела силу закона теперь же, пока фактически все отправления его жизни основываются на общинном начале. И в этом должна заключаться (чрезвычайно трудная) работа нашей науки права. **Программу** в этом отношении надо еще создавать.

Общинным инстинктам русского народа я придаю значение громадное. И дрожу от мысли, что мы своими чуждыми народу правовыми понятиями всякий день и час разрушаем — не инстинкты эти, их надо уничтожить, заменив сознанием, — а возможность сознания, находящуюся в согласии с инстинктами. А для того, чтобы такое сознание стало возможным, нужно воспитание народа на

началах **права** и совместная деятельность на судебном поприще интеллигенции и народа. Нужно участие интеллигенции в суде на основании обычного права, но не верховенство интеллигенции, осуществляемое земскими начальниками⁴, а ее сотрудничество, к<ото>рое бы осуществлялось * созданием второй под волостным судом инстанции из представителей интеллигенции и народа. Проект подобного суда был в свое время разработан Тверским губернским земством.

Для меня либерализм необходимое условие проведения регулярных социальных реформ не только потому, что он обуславливает возможность поднятия этого вопроса и сколько-нибудь разумно <е> его обсуждение, а еще и потому, что только он — либерализм — способен развить в народе **правосознание**, а без развитого **правосознания** всякая социальная реформа является деспотизмом и уничтожением обесчеловеченности труда, является в известной мере несправедливостью и вредом.

Развитое **правосознание** в обществе и народе, развитое представление о каждом совершеннолетнем жителе как о равноправном и способном понять свои интересы гражданина, а не как о предмете опеки и управления — вот основа того, чему надо учить наше общество. А это и есть самое основное положение либерализма. Если мы хотим выработать программу и согласны с этим основным положением, то должны рассмотреть с этой точки зрения все существующие учреждения и составить себе полный идеал системы учреждений.

Я думаю, что, прочитавши это, ты поймешь, как отрицательно я должен относиться к Беллами и его теории деспотического управления диктаторов, избранных 45-летними старичками. Если бы этот режим не обесчеловечил население, оно бы не перенесло бы его и года.

Какие же практические меры моего социализма? Я говорю о мерах государственных.

1. Национализация земли. Или, лучше, признание за каждым одинакового с другими права на пользование землей и стремление к уничтожению всякого капиталистического земельного хозяйства, собственником к<ото>рого не было бы общество. Я убежден, что я в своем понимании национализации земли значительно расхожусь с тобой. (И думаю, что спор должен бы заключаться в значительной мере именно в выяснении таких частностей. Только тогда можно бы избежать недоразумений.) Я даже ничего не имею против представления в потомственное пользование за аренду или земельный налог участков земли как бы усадебных, но думаю, что величина участка должна

* Помета А. А. Корнилова черным карандашом: «А я не знаю еще, не надо ли даже стараться скопить в одни руки большие средства».

** Помета А. А. Корнилова: «Еще бы! Дм. Ив., но другие?»

*** Подчеркнуто. Помета А. А. Корнилова: «Почему же правовой теории Дмитрий Иванович приписывает воспитательное значение, в к<ото>ром отказывает социализму?»

* Продолжение письма ошибочно находится в ЦГАОР, ф. 635, оп. 1, д. 293 (письма Д. И. Шаховского В. И. Вернадскому), л. л. 150—156.

быть ограничена пределом — для всей России примерно 10 десятин, причем максимум мог бы изменяться по местностям по усмотрению земств. Мерами к приближению к национализации земли (мерами государственными) я признаю: 1. Увеличение поземельного налога; 2. Устройство общественных хозяйств при школах, земствах и т. под.; 3. См. ниже. В сущности, и полная национализация земли в России, я думаю, не встретит особых препятствий и будет всем в облегчение — но так или иначе она должна быть произведена на началах **выкупа**, а для этого и важно увеличение поземельного налога. Я не могу себе представить экспроприацию земли без выкупа — и хотел бы, чтобы ты, подумавши хорошенько, ответил, считаешь ли ты возможной такую экспроприацию. 4. И ужасно важная мера уничтожение выкупа крестьянской бывшей помещицей и государственной земли*. Это чрезвычайно важный теперь практический вопрос, по к<ото>рому, я думаю, много бы можно сделать, если бы всесторонне выяснить его. Я говорю совсем не о 164 ст.⁵ или выкупе в частную собственность участков общинной земли отдельными домохозяевами, а о том общем выкупе, который каждый день совершается всеми до одного невыкупившимися крестьянами, вследствие одного только факта, что их платежи за землю не поземельный налог и не аренда, а выкупной платеж⁶. Как с этим быть? Что бы мы об этом написали в заграничном журнале? По-моему, вообще регламентация общинного пользования, регламентация, представляющая вместе с тем большую свободу общине, — есть совершенно необходимое дело. Как-нибудь интеллигенция должна подойти к этому вопросу или лучше к народу с этим вопросом — и, может быть, самый хороший путь теперь — земская статистика. К сожалению, я очень мало ожидаю в этом отношении от своих занятий в Твери земской статистикой, т. е. от моей будущей статистической работы. О земле еще много можно бы написать, во всяком случае, общий теоретический спор об этом между нами невозможен: я так же, как и ты, признаю, что земля не должна быть таким объектом права, как большинство вещей, что она Божья и принадлежит всем людям наравне со светом солнца, его теплом и т. д. А кроме общего твоего положения, я о твоём взгляде на дело ничего не знаю.

Еще раз повторю, что, по-моему, требование политических реформ непременно должно быть соединено с представлением о разумном социальном строе. Я очень настаиваю на этом.

II. Отчуждение орудий труда в общественную пользу. Это так же легко в теории, как и необходимость национализации земли. Конечно, доход капиталиста составляет главным образом из

штрафов, к<ото>рые платит рабочий только за то, что у него нет собственных орудий производства и он пользуется орудиями, к<ото>рые считаются принадлежащими капиталисту, но являются произведениями труда изобретателей (т. е. многих миллионов людей) и тех же рабочих. — Но как тут быть? Вопрос об экспроприации тут, я думаю, не особенно затруднителен, но возможен ли и как организация больших общественных производств — и кто будет руководителем? Я тут особенно боюсь затруднений всякого нововведения, хотя, может быть, боюсь неосновательно. Борьба с рутинной должны были все изобретатели при капиталистическом строе (сколько замечательно интересных фактов у Смайла в его биографиях промышленных деятелей)? Во всяком случае, я хорошо не понимаю, какой тут должен быть ход дела. Поощрение кустарной промышленности, я думаю, очень хорошая вещь, я считаю очень желательным удешевление кредита, а также посредничество правительства между потребителями и мелкими производителями, — как это теперь предпринято на весьма широких и разумных основаниях Московским земством. (Знаешь ты об этом предприятии? Это решено на земском собрании прошлого 89 года.) Введение правительством железных дорог и крупная правительственная промышленность были бы хорошим делом, но, кажется, до сих пор опыты были неудачные, хотя, может быть, я и ошибаюсь, и интересно бы было проследить это: ведь существует много фабрик и заводов казенных (для предметов военного дела).

Фабричное законодательство, я считаю, будет довольно важным делом, хотя, конечно, мне странно, как император Вильгельм сводит как будто к этому весь рабочий вопрос. Я считаю очень желательным и развитие касс, против к<ото>рых ты так восстаешь. Я даже понимаю твоё против них возражение только в том смысле, что ты возмущаешься сведением на это всего рабочего вопроса. Развитие привычки откладывать деньги при телерешнем строе является для меня явлением желательным. Это свидетельствует о развитии личности, стремлении к самостоятельности и независимости, а я совсем не думаю, чтобы все это вело **неминуемо** к эгоизму и извращенному индивидуализму. Служат ли кассы подержкой стачкам? Есть ли об этом исследования?

Во всяком случае, я вовсе не считаю желательным перевод всей промышленности в руки общества, а, напротив, только в той мере, в какой промышленность повела бы к социальной зависимости одних от других. Но я не желаю подавления крупной промышленности, которая увеличит могущество человека, а желаю перехода этой крупной промышленности в руки общества. Путь же

* Помета А. А. Корнилова: «Вот это верно».

С. Михайловское

2 ноября 1890.

и постепенность этого перехода для меня неясны. Удешевление кредита? Участие рабочих в прибылях предприятия? Ограничение законом иметь в частной собственности машины известной силы и открытие больших фабрик самим государством? В конце концов только последнее разрешение и будет настоящим, т. е. разрешение еще более категорическое: запрещение каких бы то ни было частных предприятий, где бы орудия производства принадлежали не тому или не тем лицам, к^{ото}рые работают в предприятии. Но мне жаль той массы индивидуальных усилий, к^{ото}рые при этом могут быть заглушены. Мне противна чисто бюрократическая организация всей добывающей промышленности. — Как ты на все смотришь?

Вообще я не могу, кроме всего сказанного, отрезать еще этот вопрос от вопроса торговли и таможенной пошлины. Может быть, самое правильное разрешение всего этого вопроса было бы: заведение национальной торговли и национальных больших фабрик, на которых бы находил сравнительно выгодный заработок всякий нуждающийся в труде. И наряду с этим свободное допущение всякой иной торговли и промышленности и покровительственные меры мелкими промышленниками — в виде льготного доставления им орудий производства.

Ясно как Божий день, что и тут, во всяком случае, самое важнейшее — настоящее правительство и самоуправление. — Конечно, это ты так же признаешь, как и я.

III. Скорее финансовая мера, чем социальная (с последним у меня соединяется предствление о производстве и его условиях), — это уничтожение %, и мера к этому — взимание с процентных сборов значительного процента, процентов до 20—25. В связи с этим мне очень хотелось бы знать, какой способ взимания налогов ты признаешь наилучшим.

IV. Социальная реформа, которая имеет особую важность, — это уничтожение милитаризма, что, впрочем, тесно связано с вопросом национальным и тоже разрешается нелегко. Французские республиканцы при Наполеоне включили в свою программу уничтожение постоянной армии...⁸

С вопросом национальным у меня связывается вопрос об иммиграции. Мне, признаюсь, не хочется, чтобы к нам понаехало много немцев, я не хочу, чтобы Россия стала Америкой, для меня нация имеет свою особую жизнь. На днях я прочитал статью «Московских Ведом^{остей}» об иностранной колонизации. Я не знаю, какие тут могут быть предприятия меры, но я не имел смелости подумать: пускай кто хочет селится, где захочет. — Как ты об этом думаешь? —

Митя

Я все это время очень много думаю о твоих письмах и моих ответах о социализме и либерализме, и хочется еще ужасно много написать тебе. Поэтому медлю с посылкой письма, которое давно уже написал. Чувствую, какая там масса несказанного, а вместе сознаю, что именно эта масса делает для меня невозможным всю ее высказать и что надо отправлять письмо, потому что все равно писать совсем некогда, а письмо и в таком виде все-таки может подать повод к длительному взаимному выяснению и наших и вообще компанейских взглядов. Мне бы особенно хотелось услышать твое более обстоятельное изложение своих теорий. Слышанное мною от тебя до сих пор для меня совсем недостаточно. Я совсем не понимаю ни того, что ты разумеешь под коллективизмом, ни какова твоя практическая программа, ни каково по-твоему отношение коллективизма к либерализму. Недостаточно еще сказать, что они друг друга дополняют, что коллективизм есть продолжение либерализма, дальнейшее освобождение личности. Надо еще обстоятельно выяснить, в чем же должно заключаться это освобождение, т. е. как ты понимаешь коллективизм. — Повторяю: на том, что хороший социализм либерализму не противоречит по своей идее, — мы совершенно все согласны, и этого незачем доказывать. Но что такое хороший социализм, об этом необходимо много толковать.

Ты пишешь, что Кор^{саков} не может равнодушно слышать о социалистах, но ведь он и прав со своей точки зрения. Социалисты очень часто высказывают полное непонимание принципов либерализма и преступное равнодушие к формам политического строя. И даже в значительной степени социализм как историческое явление развивается пренебрежительное отношение к формам политическим. И Беллами, к^{ото}рый расхвывается в Европе и Америке, такой хороший образец этого в больших размерах, как В. В.¹⁰ такой типичный в этом отношении образец, в размерах меньших. Политическая тупость — вот что возмущает Корсакова у социалистов и возмущает справедливо.

А чтобы избавиться от нареканий в этой тупости, недостаточно одно голое отрицание ее, а необходимо ясное и подробное выяснение политических взглядов, чего ты, по-моему, в письме не даешь.

Впрочем, все это я ведь несколько раз повторил в своем письме. Надо его поскорее отправить к тебе, как ни плохо и неполно оно выражает мои мысли.

Буду ждать с большим нетерпением ответа от тебя. Как бы хотелось все свое время посвящать этим вопросам! В сущности — как нехорошо откладывать их разрешение и делать повседневные дела.., хотя это необходимо и, напротив, еще слишком как будто много времени посвящаешь им. Прощай. Надо бы написать про наши обстоятельства, планы

и вообще жизнь. Но деревенская лень и недосуг мешают.

Митя *

* Помета А. А. Корнилова черным карандашом: «Ст<р>оя общ<ественный> строй на район<альных> началах справедливости и разума, нельзя не об<ра>щать все внимание на историю и общие свободы и направл<ение> всемирн<ого> историч<еского> процесса».

¹ Вернадский В. И. (1863—1945) — естествоиспытатель, философ. Член братства «Приютин».

² Беллами Э. (1850—1898) — американский писатель. Имеется в виду его утопический роман «Взгляд в прошлое» (1887); русский перевод «В 2000 году», Спб., 1889. В романе с сочувствием описывается социалистическое общество, построенное в США путем мирной эволюции, в котором «рабочий вопрос» решен путем создания «промышленной армии», где все граждане обязаны служить до 45 лет, после чего становятся «почетными членами цехов» и получают право избирать «генерала цеха». Из этих «генералов» формируется правительственный аппарат, занимающийся управлением полностью огосударственным хозяйством нации.

³ Шеффле А. Э. Ф. (1831—1903) — австрийский экономист, социолог и государственный деятель. Теоретик органической школы в социологии. В основной работе «Строение и жизнь социальных тел» (Тт. 1—4, 1875—78) отождествлял общество и биологические организмы, рассматривая экономическую жизнь общества как обмен веществ в организме.

⁴ Положением 12 июля 1889 г. волостное крестьянское самоуправление было поставлено под контроль земских участковых начальников, совмещавших судебные и административные функции. Установленный способ отбора кандидатов на эти должности делал институт земских начальников почти исключительно дворянским по составу, чем фактически восстанавливалась сельская администрация, аналогичная вотчинной власти дореформенного периода.

⁵ Статья 164 «Положения о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости их усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению ими крестьянами в собственность полевых угодий» 19 февраля 1861 г.: «Право на уча-

стие в общем владении приобретенною обществом землею каждый отдельный крестьянин может уступить постороннему лицу не иначе, как с согласия мира», упомянута, вероятно, ошибочно. Имеется в виду ст. 163, говорящая о порядке раздела общинной земли на подворные участки.

⁶ Сумма выкупа наделной земли по «Положению» 19 февраля 1861 г. вычислялась не по рыночной оценке земли, а путем «капитализации оброка» (годовой оброк, платимый крестьянами владельцу, приравнивался к годовому доходу в размере 6% с капитала). Тем самым выкупная сумма фактически являлась компенсацией помещику за потерю работника, замаскированным выкупом личной свободы крестьянина.

⁷ Смайлс Самуэль (1812—1904) — английский писатель и публицист. Имеется в виду его книга «Герои труда. История четырех английских работников» (Спб., 1870), включающая четыре биографии инженеров-изобретателей.

⁸ На выборах законодательного корпуса 1869 года во Франции «бельвилльская программа» лидера буржуазных республиканцев Леона Гамбетта включала упразднение постоянной армии. Однако республиканские правительства, пришедшие к власти после правительственного кризиса 1879 г., отказались от реформы воинской повинности.

⁹ Корсаков И. А. (1846—1912) — адвокат, земский деятель Тверской губернии, член конституционно-демократической партии, депутат I Государственной Думы.

¹⁰ Воронцов В. П. (1847—1918) — экономист, социолог и публицист. В 1880—90-е годы ведущий идеолог народничества, теоретик «народного производства» (некапиталистического). Писал под псевдонимом «В. В.»

Предисловие и публикация
Н. П. СОКОЛОВА

«Торжество и обличение» одной идеи

В отношении к тем людям, которые много рассуждали в начале века и в его первой половине, да так ни до чего хорошего не дорассуждались, проявляются два противоположных... ну, скажем, настроения. Точками зрения или мнениями их не назовешь. Ибо одно из них — преклонение, глубокий пиетет, даже умиление, а второе — полное неприятие, отвращение к тем самым интеллигентам, которые просматривали Россию, проспорили ее и заговорили.

Между тем, все не так просто. До чего глубок и умен отец Сергей Булгаков, а все так и не решался сказать «нет» социализму и «да» частной собственности. А Бердяев, тот вообще, написав «Русскую Идею», в самом конце книги взял да сказал: «Советская конституция 1936 г. создала самое лучшее в мире

законодательство о собственности. Личная собственность признается, но в форме, не допускающей эксплуатации. Нарзрел новый духовный тип с хорошими и плохими чертами». Это может показаться цитатой, вырванной из контекста, однако есть еще и мемуары Бориса Зайцева, вспоминавшего про «роман» Бердяева с советским посольством. Так что бывало разное и всему приходится искать объяснения.

Я намеренно процитировал того, кого принято считать классиком, дабы мы не судили слишком строго князя Шаховского — человека, по-моему, средних способностей и среднего ума. История занимается всеми, и в известном смысле средние люди ей более интересны.

Так вот, что касается не слишком уж тонких, глубоких и оригинальных рас-

суждений князя Шаховского, то в них проявились те же противоречия, что и в книгах Николая Бердяева и его оппонентов. Ведь людей, как известно, объединяют не одинаковые ответы на одни и те же вопросы, а сами эти вопросы.

Главное противоречие, мучившее князя Шаховского, — это противоречие между правдой либерализма и правдой социализма. Не мной, а многими другими, в том числе и упоминавшимся Бердяевым, замечено, что в России в умах людей и в общественном устройстве всегда брал верх социалистический принцип, то есть приоритет общества в ущерб приоритету, суверенитету личности. И вообще все эти рассуждения князя Шаховского — это так по-русски, по-нашему, что и углубляться-то особо нечего...

А вот и нет. Как раз рассуждения князя Шаховского не только по поставленным вопросам, но и по полученным ответам, по практическим выводам («смена веков») — это очень даже по-европейски. Впрочем, «по-русски» и значит «по-европейски».

Повторю еще раз: чтобы оценить, проанализировать рассуждения князя Шаховского, мы сами должны задать другим вопросом, не отвечать ли «да», ни «нет» на вопрос, что выше — либерализм или социализм. Ибо у каждого свое место, своя роль в развитии христианской европейской цивилизации. И их взаимодействие, а порой и противостояние, как в последнее время, принесли христианскому миру ощутимые плоды. Мы сейчас зачитываемся Хайеком, но нельзя же забывать, что в истории Западной Европы социализм выступал в качестве разновидности либерализма, что им обоим мы обязаны всеобщим избирательным правом, восьмичасовым рабочим днем, равенством женщины и мужчины — всем тем, чем так гордится социальная рыночная экономика, воплотившая многие идеи христианского, прежде всего католического социального учения. Если обратиться к энциклике Льва XIII «*Reum novatum*» (1891 год), мы должны признать, что западный христианский мир был готов к встрече XX столетия, к примирению принципа достоинства трудящегося и достоинства труда с принципом частной собственности.

Социализм, безусловно, сыграл выдающуюся роль в развитии христианской цивилизации. Но только оставаясь в ее рамках и не отрицая ее принципов и ценностей, более того, содействуя их осмыслению. Это касается даже марксизма, который во многом превращался в противоположность либерализму и немарксистским социалистическим учениям (последнее противоречие особенно остро проявилось в России). Но вот о большевизме как об озлокачествлении марксизма и специфически российском явлении этого сказать нельзя. Дабы

не повторяться, отошлю читателя к своей статье «Большевизм как социокультурный феномен» («Страна и Мир», 1991, № 4).

Речь там идет о том, что именно в России, на периферии европейской цивилизации, актуализировалась разрушительная потенция Марковского социализма. О социокультурной природе большевизма, ставшего прямым наследником самодержавия, немодернизированного казенного православия и самодовольной народности; осуществившего предметно-вещную модернизацию России и приведшего ее к национальной деградации. О том состоянии российского социума, которое было сохранено большевизмом и которое можно назвать посттрадиционным или предмодернизационным. А главное, о том, что, хотя суть большевизма — в его атеистической враждебности к личности, к индивидуальности, к антиперсоналистской (а значит — антихристианской) основе вполне возможен клерикальный большевизм или большевистский клерикализм. И о том, что естественным, нормальным итогом существования большевизма является его слияние с русским шовинизмом.

Европейская интеллигенция, частью которой была и русская, пренебрегая христианством, или даже испытывая к нему враждебность, или же плохо разбираясь в его сущности, порой совершала ошибки именно в постановке вопросов, в определении противоречий. Так возникло противопоставление либерализма социализму, религии — науке, личности — обществу, плана — рынку. Так возникла странная симпатия в части западной интеллигенции к СССР и большевикам. И не только западной — князь Шаховской тоже пошел служить, как ему казалось, новой Родине. И даже Бердяев рассуждал о преимуществах сталинской конституции.

Западная Европа в конечном счете избавилась от странных увлечений, найдя ценности у себя дома. Мне приходится на ум имена трех людей, которым хватило здравого смысла, а главное, способностей для его культурного выражения — это Честертон, Толкиен и Оруэлл.

Однако вернемся к нашему князю. Самым трудным, а по существу невозможным, является определение того, что же, собственно, составляет суть его взглядов, какие идеи обуславливают его позицию. Видно, что человек запутался, не имел ясных позитивных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Если бы он один! Тем и полезны издания не трудов даже, а именно частных документов — писем, дневников — людей не выдающихся, что по ним можно с большей уверенностью судить об умонастроениях социальных групп, слов, поколений, нежели по работам гениев.

Обращает на себя внимание не присутствие каких-либо позитивных идей

(ибо одна «правда» у него отрицается другой), а отсутствие у него сколько-нибудь серьезного отношения к религии. Само это слово упоминается только раз в весьма показательном сочетании: «религия и нравственность», что выдает чисто инструментальное отношение к христианству.

А это, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии представлений о том, что ценность человеческой личности, ее достоинство ни в малейшей степени не зависят от формы собственности и организации общественного производства. И уж совсем бессмысленно определять, при каком строе жизнь людей может быть «полной и счастливой» — «общинном» или каком-то другом. Ну, а что касается рассуждений о справедливости или несправедливости жизни «на проценты», то Западная Европа этим переболела как раз в тот период между Средневековьем и Новым временем, который все никак не преодолевает Россия.

«Жизнь отдельной личности не имеет настоящего смысла», — написал князь Шаховской и поставил точный диагноз своей болезни — той болезни русского сознания, от которой мы никак не вылезем. А вот другая цитата — из энциклики Иоанна Павла II «Centesimus Annus (1991)», подведшей итоги столетнего развития мира после энциклики «*Regnum poenitentiae*» и двухлетнего развития Европы после падения Берлинской стены: «...Фундаментальная ошибка социализма носит антропологический характер. Действительно, он рассматривает отдельного человека как простой элемент, молекулу социального организма таким образом, что благо индивидуума всецело подчинено функционированию социально-экономического механизма». И далее: «Отрицание Бога лишает личность ее основания и, как следствие, приводит к реорганизации общественного порядка, абстрагируя от достоинства и ответственности личности».

«Наоборот, — утверждает Иоанн Павел II, — из христианской концепции личности непременно проистекает справедливое видение общества».

«Воинствующее безбожие есть расплата за рабыню идеи о Боге», — заметил Бердяев в «Русской Идее». Князь Шаховской безбожником, конечно, не был.

Но и верить так, как велела ему православная Церковь, проявившая способность к самостоятельному развитию только в последние годы перед русской Катастрофой, не мог. И пошел за безбожниками, ибо уверовал в собственное ничтожество, а значит, и в «неправду социализма». Но ведь и сейчас православие только-только подходит к тому, чтобы проповедовать, как это делал отец Александр Мень, для человека и о человеке, чтобы утверждать христианскую концепцию личности, суть которой, если воспользоваться формулировкой энциклики «Centesimus Annus» в трансцендентном достоинстве личности, не зависящем ни от каких земных обстоятельств. Более того, некоторые видят в православии не мост, связывающий Россию с христианским миром, а стену, отгораживающую русских от христианской цивилизации. Одни толкуют о социализме как о «светской форме христианства», то есть о чем-то вроде безалкогольного спирта; а другие противопоставляют «принцип соборности» «принципу личности». Хотя в христианстве это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие принципы, в известном смысле — один принцип, и противопоставлять их могут либо крайне невежественные христиане, либо столь же невежественные атеисты, как Эдуард Володин, так прямо и заявивший: «Пустышка вроде суверенности личности ничего не значит по сравнению с тысячелетним национальным опытом исповедования национальной соборности» («Советская Россия», 22 августа 1992).

Да, конечно, между князем Шаховским и Эдуардом Володиным есть некоторые различия. Однако ж вспоминаются рассуждения Владимира Соловьева о вырождении славянофильства, о том, что славянофилы обрели в Каткове «свою Немезиду», а он, в свою очередь, «обрел ее» в тех, кого в XX веке стали называть черносотенцами. Ибо, сделал вывод Вл. Соловьев, «история сознания имеет свои законы, в силу которых всякое идейное содержание, истинное или ложное, исчерпывается до конца, чтобы в последних своих заключениях найти свое торжество или свое обличение».

Дмитрий ШУШАРИН

Разгром ОБЭРИУ: м а т е р и а л ы следственного дела

Чем дальше в прошлое уходит событие, явление, свойство или личность, тем больший простор для деятельности получают интерпретаторы. С одной стороны, «большое видится на расстоянии», но с другой — утрачивается множество деталей, связей и обычаев, позволяющих понять потаенный смысл исследуемого, и в результате исследуемое часто становится поводом для демонстрации изощренности ума исследователя. И что бы мы ни думали по этому поводу, таковы, видимо, выработанные нами законы жанра, с которыми приходится мириться.

Одна из самых интригующих в этом смысле тем — история творческой группы ОБЭРИУ, а особенно подробности ее возникновения и гибели.

Собственно говоря, истории этой группы в подлинном понимании термина не существует, и сомнительно, чтобы она когда-либо возникла: хорошо известно, что конгломерат достаточно разноплановых литераторов, называвший себя ОБЭРИУ, функционировал весьма короткое время; стержень же этого течения — люди, с которыми ассоциируется эта аббревиатура, — Д. И. Хармс и А. И. Введенский, ни до, ни после этого периода себя обэриутами не называли.

Нельзя не учитывать точку зрения Л. С. Друскиной, которая утверждает, ссылаясь на своего брата Я. С. Друскина, что правомерно называть их не «обэриутами», а «чинарями»¹; и в том, и в другом случае центральными фигурами литературного действия были Хармс и Введенский.

Нельзя игнорировать и то очевидное обстоятельство, что практически одновременно с возникновением тандема Хармса и Введенского в рамках сообщества чинарей возникает интерес молодых поэтов к зауми, инициированный скорее всего заумником Александром Туфановым — человеком, на наш взгляд, незаслуженно забытым, чья роль в творческом становлении Хармса и Введенского пока не оценена по достоинству; итак, чинари становятся одновременно и «заумниками», с тем чтобы через три года в «манифесте» ОБЭРИУ резко и категорично заявить: «Нет школы более враждебной нам, чем заумь»², — а став обэриутами, перестать именоваться чинарями.

Эта удивительная синхронность заставляет задуматься, тем более что, судя по всему, контакты Хармса с Туфановым (Введенский к этому времени совсем рассорился с пожилым заумником, — и не отсюда ли жесткие формулировки «манифеста?»), как и встречи обоих экс-чинарей с философом-чинарем Я. Друскиным, не прекратились.

Название, конечно, не самое главное, поскольку и чинари, и «Академия левых классиков», и ОБЭРИУ, в сущности, начинают в литературе Хармса и Введенского, чья творческая (и человеческая) неординарность цементировала в очередном «объединении» их друзей — пока не изменится отношение к идее или друзьям. И вообще не исключено, что в чехарде переименований правомерно было бы усмотреть еще одно проявление хармсовской страсти к розыгрышам. Затронули же мы все эти вопросы только потому, что они взаимосвязаны с историей разгрома секции ОБЭРИУ зимой 1931—32 г. И ключевой фигурой в этой взаимосвязи представляется упоминавшийся выше А. В. Туфанов, Председатель Земного Шара Зауми после В. Хлебникова, учитель Хармса и Введенского в начале их поэтической карьеры, завершивший разработки Хлебникова в области «речезвуков». О нем стоит рассказать подробнее.

О личности Туфанова известно не очень много, поскольку сам он и его творчество вследствие ареста 1931 года (об этом речь впереди) выпали из зоны внимания советских литературоведов, а многие документы не сохранились или пока что не обнаружены. Последняя его книга вышла в свет в 1927 г. и только в 1991 г. вместе с рядом неопубликованных работ вновь появилась трудами Ж.-Ф. Жаккара и Т. Н. Никольской, но за рубежом³. Помещенная в этом издании статья Ж.-Ф. Жаккара — единственная на сегодня попытка восстановить биографию Туфанова, основанная на источниках более ранних, чем те, которые были обнаружены нами в материалах дела о «контрреволюционной группе детских писателей»⁴. В уточненном по этим материалам виде биографию Туфанова вкратце можно теперь представить следующим образом.

Александр Васильевич Туфанов родился в Санкт-Петербурге 19 ноября (2 декабря) 1877 г.⁵ Его отец, Василий Никитич, происходил из крестьян Ростовской волости Шенкурского уезда Архангельской губернии, куда его предки переселились, по преданию, из Новгорода Великого в XV веке (во всяком случае, на творчество А. Туфанова это происхождение оказало серьезное воздействие). Врожденный или приобретенный в раннем детстве костный туберкулез освобождает Александра от воинской службы, но не мешает бродячему образу жизни, складывавшемуся с самых ранних лет: в семь лет он поступает в Шенкурскую среднюю школу — на родине отца, затем учится в пяти разных учебных заведениях, среди которых учительская семинария, пока в 1900 г. не оканчивает Учительский институт. Последовавшая затем учеба в Петербургском университете сопровождается увлечением идеями анархизма. (Историю, не это ли предопределило его экстравагантный «имидж» последующих лет — «пенсне на цепочке, длинные-предлинные волосы и большущий воротник из брюссельских кружев»⁶?) За революционную деятельность в 1902 г. он отбывает предварительное заключение, а в 1907 г. за организацию в 1906 г. нелегального собрания приговорен к трем месяцам тюрьмы⁷. До Октябрьского переворота находился под надзором полиции, что, впрочем, не сказывалось на кочевом, как и прежде, образе жизни⁸.

С 1905 по 1917 г. А. Туфанов параллельно занимался педагогической и журналистской деятельностью. Как журналист он начинает с театральной и судебной хроник в газете «Сын Отечества», к началу десятых гг. уже отдавая предпочтение педагогике и литературе. Он сотрудничал с рядом газет и журналов России, часто под псевдонимами А. Беломорский и Silentium, как автор («Северный Гусляр», «Вершины», «Сочинский Листок», «Рудин», «Таганрогский Вестник», «Современное Слово», «Вечерняя Копеечная Газета», «Природа и Люди»), секретарь (журнал «Жизнь для всех»); был членом редакции известного петербургского издательства Сойкина и членом редколлегии педагогического журнала «Обновление школы», возглавляемого А. И. Зачиняевым⁹. Интерес к педагогическим опытам Зачиняева побудил Туфанова издать две собственные учебно-методические брошюры¹⁰, а впоследствии, приобретя новое качество, вылился в серьезное изучение согласных морфем в языке, которое стало основой заумнической деятельности Туфанова.

Первые поэтические опыты Туфанова, публиковавшиеся в журнале «Северный Гусляр» начиная с 1915 г., отмечены несомненным влиянием символизма, хотя уже тогда в его творчестве видны футуристические элементы. В 1917 г. на основе этих публикаций Туфанов составил сборник «Эблова арфа», издав его

за свой счет мизерным тиражом. И это издание вольно или невольно подводит черту под периодом «созревания»: начинается период «заумничества».

Конечно, как человек, сопричастный культурному кругу столицы, он и раньше был знаком с постулатами заумного течения. Но именно в это время соединяются предыдущие педагогические и критические опыты с интересом к российскому фольклору, и это приводит к углубленным изысканиям в области зауми.

После Октябрьского переворота Туфанов работал в анархистском «Союзе рабочих и крестьян», был секретарем анархической газеты «Вольный плуг». В 1919 г. перебирается в Архангельск, где сотрудничает в бойскаутской газете «Тотем говорит» и белогвардейском «Возрождении Севера» (последнее даст ОГПУ возможность «шить» Туфанову белогвардейское прошлое, хотя публикации его отношения к политике не имели). А в феврале 1919 г. в «Известиях Архангельского общества изучения русского Севера» появляется первая серьезная статья, исследующая архаическую заумь песенного фольклора, — «Метрица, ритмика и инструментализация народных частушек». Лингвистические изыскания и собиранье частушек, которые впоследствии были использованы для завершения хлебниковских разработок в области создания заумного языка, продолжаются в 1920—21 гг. в г. Галиче Костромской губ., где Туфанов был заведующим общеобразовательными курсами и зав. школьно-лекционной секцией Политпросвета.

В 1922 г. Туфанов оседает в Петрограде. Формально он работает корректором (сначала зав. корректорской в рабочем издательстве «Прибой», затем ревизионным корректором в ГИХЛе), становится заметной фигурой в литературных кругах. В то же время он завершает сравнительный анализ морфем русского, английского и китайского языков, скомпоновав собранные сведения в «Палитре морфем» — словаре, содержащем 1200 морфологических рядов; эти ряды содержали слова из указанных языков, сходные как по значению, так и по составу согласных. В итоге этой гигантской работы Туфанов пришел к убеждению, что полученные им «20 неполных законов» строения языка обобщают и завершают лингвистические изыскания В. Хлебникова, и назвал эти законы Конституцией Государства Времени.

Полученные выводы легли в основу программной статьи «Заумие», составляющей большую часть второй книги А. Туфанова, вышедшей снова за счет автора в 1924 г.¹¹. Отстаиваемая автором идея изящна и логична. Проведя ретроспективный анализ состава слов различных языков (включая японский и языки семитской группы), он выделил устойчивые значения согласных, несущие смысловую нагрузку эмоционально-

го характера и описывающие состояние или ощущение направленного движения: замкнутого, встречного, кругового, волнового и т. д. Таким образом, по Туфанову, слово есть образование вторичное, несущее функции скорее коммуникативные и информационные, первоначальная же эмоционально-динамическая составляющая, скрытая в сочетаниях содержащихся в слове согласных фонем, со временем была утеряна, погребена под коммуникативными наслоениями. Следовательно, «заумные» поэтические конструкции призваны осуществить известную задачу поэзии — передачу эмоционального состояния — путем осознанного отказа от информационной составляющей, сосредоточения усилий поэта на интуитивном восприятии, аллитерации, гармоническом движении и ритме. «Человечеству отныне открывается путь к созданию особого птичьего пенья при членораздельных звуках. Из фонем, красок, линий, тонов, шумов и движений мы создадим музыку, непонятную в смысле пространственных восприятий, но богатую миром ощущений», — писал Туфанов¹².

Во времени издания сборника «К Зауми» Туфанов чувствует необходимость создать собственное литературное сообщество, которое занималось бы дальнейшей разработкой и пропагандой теоретического наследия Хлебникова, продолжателем идей которого он себя считал (повидимому, с 1922-го, но не позднее 1923 г. он именуется себя Велимиром II, Председателем Земного Шара Зауми, хотя неизвестны обстоятельства обретения им этого титула); уже летом 1922 г., выступая в Доме литераторов, Туфанов призывает организовать кружок, посвященный памяти Хлебникова¹³. Вероятно, это первое свидетельство начала существования «Ордена DSO».

«Орден DSO», или «Орден Заумников», формально возник, по свидетельству самого Туфанова, в марте 1925 г., вскоре после его выступления в ЛО Союза Поэтов¹⁴, хотя сама идея к тому моменту имела вполне четкие очертания: полугодовой давности книга «К Зауми» открывалась посвящением «Брату Николаю — Рыцарю «Ордена DSO». К числу заумников пожелали примкнуть 11 человек — Туфанов о них пишет: «В ядро группы входят трое: я, Хармс и Вигилянский¹⁵... — ученики, постоянно работающие в моей студии. Есть еще 6 человек, имеющих уклон к Зауми и занимающихся предварительной подготовкой. Затем в Ленинграде есть еще Терентьев¹⁶, ученик Крученых..., имеющий ученика Введенского (на подготовительной стадии)»¹⁷. Среди не названных Туфановым членов ордена — студент Горного института И. Марков и приехавший из Сибири бухгалтер Матвеев, которых упоминает в своих воспоминаниях о Туфанове обэриут И. В. Бахтерев¹⁸.

Как уже упоминалось, примерно в это же время Хармс на квартире Е. Вигилянского знакомится с А. Введенским и

Я. Друскиным¹⁹. Таким образом, параллельно возникают две группировки: заумников в рамках ЛО СП (Туфанов, Хармс, Введенский и др.) и неформальная (Друскин, Липавский²⁰, Введенский, Хармс), получившая название чинари (придуманно А. Введенским). При этом «чинарское» начало Хармс и Введенский, очевидно, пытались совместить с «заумным», и поэтому уже в 1926 г., определившись в своих симпатиях и выработав собственную платформу, предложили Туфанову отказаться от наименования заумники, заменив его новым. Так в ЛО СП возник «Левый фланг» (Туфанов, Введенский, Хармс, Марков, Матвеев, Вигилянский). Однако вскоре Введенский поссорился с Туфановым, другие заумники либо прекратили писать, либо отошли от движения. «Левый фланг» распался, и в 1927 г. литературные пути Туфанова и чинарей-заумников Хармса и Введенского расходятся: последние к концу 1927 г. организуют ОБЭРИУ, а оставшийся в одиночестве Туфанов издает, и вновь за свой счет, свою последнюю и, вероятно, лучшую стихотворную книгу — «Ушкуйники», придя в ней к стилизованной «праславянской зауми».

Такова краткая история взаимоотношений А. Туфанова с Хармсом и Введенским, причем очевидно влияние, оказанное старым заумником на формирование литературного «лица» последних — как, впрочем, и многих других молодых поэтов Ленинграда 20-х годов.

Судьба, однако, распорядилась так, что через несколько лет Хармсу, Введенскому и Туфанову вновь было суждено фигурировать в качестве представителей одной группы, — на сей раз литературный Заумный Орден, причудливо соединившись с «детским» творчеством Хармса и Введенского, стал «нелегальной ассоциацией», трансформировавшейся в антисоветскую группу детских писателей...

Конечно, в условиях той эпохи люди, подобные заумникам, чинарям, обэриутам, были опасны своей нетривиальностью, а стало быть, не имели шансов на выживание. Мало того, что вся официальная история литературной деятельности Хармса и Введенского сопровождалась планомерным «завинчиванием гаек» (18 июня 1925 г. ЦК РКП(б) принимает резолюцию «О политике партии в области художественной литературы» — сигнал к началу охоты на инакомыслящих), а их игровой подход к жизни-творчеству не мог не привлекать к ним внимания; они к тому же имели несчастье быть дворянами по происхождению. Водились за ними и другие серьезные прегрешения: Хармс весьма углубленно изучал мистику, магию, индийскую философию (так, в ноябре 1927 г. среди десяти «Правил жизни», составленных им, под № 2 значится: «Изучай и пользуй Хатху и Карму йогу»²¹), а Введенский открыто объявлял себя монархистом, впрочем, как отмечают, его монархизм «был довольно

своеобразным: он говорил, что при наследственной власти у ее кормила случайно может оказаться и порядочный человек»²².

А. Туфанов, со своей стороны, также был неудобен: еще на заре своей петроградской карьеры заумника он публикует в журнале «Жизнь искусства» статейку, в которой пытается вступить за Е. Замятина, подвергнувшегося сокрушительной публичной травле в печати. К тому же анархистское и «белогвардейское» прошлое, раздражающее, непонятное творчество, а главное, близкие связи с Хармсом и Введенским — все это просто вызвало к классовому чутью деятелей тайной полиции: вот он, матерый контрреволюционер в подполье!

С другой стороны, для официальных представителей советской педагогической науки деятельность таких детских писателей, как К. И. Чуковский и С. Я. Маршак, была костью в горле, — и уже в 1929 г., с печально известной статьи «Против халтуры в детской литературе», начинается их преследование. Писатели, самобытные, избежавшие гипнотизма «социалистических ценностей в литературе», Хармс и Введенский вынуждены были считаться с конъюнктурой и принимали от Маршака заказы на «социальные» темы. Маршак при этом, видимо, стремился снять с себя как с редактора обвинение в аполитичности; на деле, однако, эффект оказался противоположным.

Хармс не был бы Хармсом, если бы не попытался созорничать даже в тяжелой ситуации. А дела его в журнале «Еж», несмотря на поддержку Маршака, к 1931 г. были плохи, и он — уникальный случай — берется за «социальный заказ». Так появилось его стихотворение «Что мы заготавливаем на зиму» — единственное опубликованное в «Еже» в 1931 г. (и, как выяснилось в дальнейшем, последнее: вплоть до закрытия журнала в 1935 г. ни одной вещи Хармса там больше не появилось). И даже в этот опус он, не удержавшись, вставил ехидные строчки:

А курам
Суши тараканов,
Лови их левом
На печке.
Зимой будут куры клевать
Их с большим
Аппетитом.

Введенского подвела другая черта — самоуверенность. Он полагал, что может изложить в стихотворной форме любую заданную тему, и активно использовал «социальные заказы» в качестве дополнительного источника доходов. Так появилось у Введенского некоторое количество посредственных, халтурных стихотворений, таких, как «Турксиб», «Подвиг пионера Мочина», «Октябрь», «Туристы», «Первье мая». Эта попытка усидеть на двух стульях вскоре очень дорого обошлась и Введенскому, и его друзьям.

Как начала формироваться развязка, теперь уже трудно с точностью устано-

вить. Возможно, донес кто-то из Детского сектора Ленгосиздата, но из семи человек, проходивших по делу, к детской литературе имели отношение лишь трое. По предположению И. В. Бахтерева, донос последовал после вечера у художницы Е. Сафоновой²³, в связи с чем по делу и проходят монархисты Н. П. Калашников и Н. М. Воронич. Может быть, имело место и то, и другое. Во всяком случае, 10 декабря 1931 г. практически одновременно были арестованы А. В. Туфанов (у себя на квартире), А. И. Введенский (снят с поезда в Любани), Д. И. Хармс (в засаде на квартире П. П. Калашникова), П. П. Калашников, Н. М. Воронич и И. Л. Андроников. 14 декабря был также арестован И. В. Бахтерев. Арестованным инкриминировались организация и участие в антисоветской нелегальной группировке литераторов. Так возникло «Дело № 4246-32».

Арест, видимо, не остался не замеченным литературной верхушкой: уже 16 декабря на поэтической дискуссии, насех организованной в ЛО СП, Н. Асеев выступает с критикой творчества обэриутов, утверждая, что «поэтическая практика» их далека от «проблем соцстроительства», а вскоре это выступление под названием «Сегодняшний день советской поэзии» публикуется в «Красной новии». Таким образом была официально «закрыта» литературная секция ОБЭРИУ, хотя старое, чинарское литературно-философское содружество в составе несколько видоизмененном — Я. Друскин, Л. Липавский, Д. Хармс, А. Введенский и Н. Олейников — просуществовало вплоть до 1941 г., оставшись при этом на прежних литературных позициях (ценнейшим документальным свидетельством той поры явились записи чинарских разговоров, сделанные Л. Липавским²⁴).

Впрочем, это были действия, так сказать, административные. Работа органов ОГПУ еще только начиналась, хотя ведущий дело следователь А. В. Бузников, конечно, уже имел сценарную разработку предстоящего спектакля.

Арестованные вели себя по-разному, и подлинные их слова и побуждения иногда все же возможно разглядеть под неестественным покаянием и трескучими революционными штампами протоколов допросов. Из этих протоколов, заполненных следователем от лица арестованных, легко извлечь тот набор фактов и сведений, которым оперировало следствие: это практически один и тот же ограниченный круг имен и названий литературных произведений, от которого изначально и отталкивалась следственная бригада. Встречаются, как правило, имена тех людей, которые были связаны с подследственными по работе и не могли быть сокрыты в процессе разбирательства, либо постоянный узкий круг друзей, чья связь с арестованными легко устанавли-

валась и без их «содействия» следствию. В справедливости этого утверждения можно убедиться, составив простейшие таблицы фамилий и произведений, упомянутых в протоколах допросов, и сопоставив даты допросов.

Исключением явился лишь допрос А. Введенского от 13 декабря, и мы можем только гадать, что было тому причиной, — уже отмеченный нами конформизм или природная робость, усиленная психологическим стрессом. Дальнейшее развитие событий позволяет утверждать, что верно второе предположение. Очевидно, что 13 декабря имело место особенно жесткое и неожиданное давление на поэта, поскольку в дальнейшем мы видим с его стороны только фарсоподобное «покаяние» в стиле «признаний» персонажа одноименного фильма: «Я имел шпионское задание прорыть тоннель от Бомбея до Лондона». У Введенского же пытались собирать «компромат» и на С. Маршака и Н. Олейникова, видя в нем «слабое звено» в ряду арестованных. Его же чаще всех подвергали допросам, последовательнее всех пытались сломать «покаянием». Такой психологической обработкой только и можно объяснить наличие девяти немалых по объему протоколов, в основном повторяющих клишированные самооговоры и «рецензии» на несколько произведений самого Введенского и Хармса.

Если Введенский поддавался давлению на первом же запроотоколованном допросе, то с Хармсом получилось несколько иначе. Обладающий недюжинной смелостью, он и здесь остался верен себе: первый протокол допроса Хармса резко выделяется из общего ряда этих документов как содержанием, так и стилем и, по нашему глубокому убеждению, является дословной или почти дословной записью подлинного заявления, сделанного Хармсом непосредственно после ареста, ночью 10/11 декабря 1931 г. Заявление это вырвалось у Хармса в порыве естественного негодования; быстро осознав, однако, тщетность подобных демаршей, он начинает абсурдистскую игру, с серьезным выражением характеризую свое творчество и мировоззрение как «вредительские» и «антисоветские», подтверждая бредовые версии следователя и не давая практически никакой информации фактического характера, никаких новых для следствия имен. Кстати, показательная «критика» произведений Введенского: сначала Хармс «затрудняется» поименовать его «приспособленческо-халтурные» стихи, «так как забыл их названия». Далее названия припоминаются, но наверняка самим следователем, поскольку все они уже наличествовали в протоколах допросов самого Введенского. При этом формулировки характеристик произведений Хармса и Введенского в допросах обоих, по существу, идентичны. Очевидно, что и перечень их «контрреволюционных» стихов (речь идет, за немногими исключениями, о дет-

ских произведениях), и разносные «авторецензии» — домашние заготовки следствия. В ряде случаев изложения каких-то событий или обобщений также наблюдаются буквальные совпадения; вывод однозначен. Для примера упомянем «припомнившийся» и Хармсу и Введенскому скандал на публичном выступлении в университете.

Деятельность А. Туфанова и его последняя книга «Ушкуйники» тоже пришлось следствию кстати. Возникла возможность увязать общество заумников и саму заумь с «литературным вредительством» в Детском секторе ЛЕНОТГИЗа, представив «Заумный Орден» как конспиративную организацию. Поведение Туфанова, впрочем, не давало возможности всерьез зацепиться за эту деятельность: с одной стороны, он охотно характеризовал и раскрывал компрометирующие его, с точки зрения следствия, обстоятельства своей биографии и «скрытый смысл» произведений из сборника «Ушкуйники». С другой — даже рассказывая об «Ордене DSO», путает даты, показывая, что создание Ордена относится к 1928—29 гг. В итоге из обвинительного заключения по делу пропадает явно заготовленный пассаж о времени существования Ордена и остается только утверждение, что к 1928 г. Орден распался. При этом видимое преувеличение Туфановым своей роли как идеолога группы, на наш взгляд, отражает его стремление по возможности выгородить своих бывших учеников: если у Туфанова на допросе речь идет в основном о его личной «контрреволюционной» деятельности, то на допросах всех прочих арестованных по делу его фамилия вообще не упоминается.

Суть обвинений, предъявленных арестованным, сводилась к двум пунктам: во-первых, «группа пользовалась формой «заумного» творчества для того, чтобы в «заумной», т. е. зашифрованной специальными приемами форме, понятной для людей «своего круга», защищать контрреволюционные политические установки и мистико-идеалистические философские концепции» (из обвинительного заключения); во-вторых, литературная деятельность в области детской литературы, трактованная как вредительская, «подменяющая задачи социалистического строительства». Приведем здесь цитату из обвинительного заключения по делу (желающие могут сверить эту версию с теми данными, которые известны нам об «Ордене Заумников»).

«...1. «Орден DCO». Группа возникла первоначально в форме нелегальной ассоциации под названием «Орден DCO» или «Самовщина».

Руководящее ядро ордена составляли: 1) Идеолог и организатор его, теоретик к.-революционной поэтической «зауми» Туфанов А. В., 2) писатель Хармс /Ювачев/ Д. И. и 3) поэт Введенский А. И.

Собрания происходили на квартире

студента Горного института Игоря Маркова. Ввиду опасения расконспирирования... орден был... формально ликвидирован и собрания группы, после частичного обновления ее состава, были перенесены в другое место. После реорганизации во главе группы вместо Туфанова А. В. встал Д. И. Хармс (Ювачев) <...>

2. Оформление группы Хармса и ее состав.

С 1928 г. руководящее ядро распавшегося «Ордена ДСО» во главе с Хармсом организовалось в антисоветскую группу детских литераторов, ведущую антисоветскую деятельность в детском секторе ЛЕНОТГИЗа и позже издательства «Молодая гвардия», а также среди гуманитарной интеллигенции».

...«Следствие» велось ударными темпами: допросив, а по существу, заполнив от лица обвиняемых десяток протоколов, следователь Бузников уже 28 декабря счел, что арестованные «достаточно индивидуальны в том, что являются членами антисоветской группы писателей», и постановил привлечь их «в качестве обвиняемых по ст. 58¹⁰ УК РСФСР, а мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей в ДПЗ» — так значит в «Постановлении о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения по делу № 4246», объявленном арестованным только в середине января 1932 г. Потянулись дни ожидания суда.

Впрочем, было и исключение: И. Л. Андроников, 23-летний секретарь Детского сектора издательства «Молодая гвардия», только что заступивший на эту должность после учебы, 29 января 1932 г. был освобожден «за отсутствием состава преступления». То ли он был достаточно напуган, с точки зрения ОГПУ, и смог доказать свою лояльность, то ли действительно верно, что «за него просил отец, работавший в свое время с Кировым»²⁵, — как бы то ни было, этот вопрос мы оставляем за пределами нашей публикации и только констатируем.

Остальные же обвиняемые просидели в неведении до 21 марта 1932 г.²⁶, когда состоялась выездная сессия коллегии ОГПУ, определившая «меры и сроки наказания (считая с 10.12.1931 г.):

Туфанову А. В. — заключение в концлагерь сроком на 5 лет;

Хармсу Д. И. — заключение в концлагерь сроком на 3 года;

Калашникову П. П. — заключение в концлагерь сроком на 3 года;

Воронищу Н. М. — высылка в Казахстан на 3 года;

Введенскому А. И. — из-под стражи освободить, лишив права проживания в Московской и Ленинградской областях, пограничных округах и крупных городах (в оригинале следует длинный перечень городов и мест, запрещенных для проживания. — И. М.) сроком на 3 года;

Бахтереву И. В. — из-под стражи осво-

бодить, лишив права проживания в Московской и Ленинградской областях и пограничных округах сроком на 3 года (считая с 14.12.1931)».

Осужденные литераторы провели в ДПЗ ОГПУ еще несколько месяцев — к этому времени приговор неожиданно был частично смягчен, и Хармсу каторгу заменяют ссылкой, да и срок ссылки, видимо, был сокращен: выйдя из заключения 18 июня 1932 г., Хармс и Введенский 13 июля высылаются в Курск, а 18 ноября уже возвращаются в Ленинград и скоро восстанавливаются во всех писательских правах. Возможно, здесь сыграло роль временное послабление, связанное с Постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», упразднившим РАПП и сделавшим удушение неугодной литературы явлением более закамуфлированным.

Больной же 55-летний А. Туфанов отбыл большую часть положенного ему срока в Темниковском ИТЛ НКВД (Польма Казанской ж. д.). 25 мая 1933 г. Постановлением коллегии ОГПУ он был досрочно освобожден по инвалидности, с заменой определенного ему наказания ограничением в праве жительства без прикрепления, и с этого времени по август 1936 г. жил в Орле, где по печальной традиции опальных советских литераторов занимался переводами; так, в январе 1935 г. он представил Гослитиздату для издательства «Academia» перевод пьесы У. Шекспира «Кориолан» — ход сам по себе характерный, поскольку в те времена эта пьеса однозначно прочитывалась литераторами и редакторами как тираноборческая.

После окончательного освобождения (Постановление Президиума ЦИК СССР, протокол № 28/63 от 17.06.1936 г.) Туфанов переезжает в Новгород, к которому всегда относился с великим почтением как к родине предков. Новгород же, в свою очередь, острее ощущал недостаток квалифицированных педагогов, чем ненависть к поверженному «классовому врагу»: бывшего заумника принимают на работу в Новгородский учительский институт, лаборантом кабинета педагогики. С февраля 1937 г. он является также и о. преподавателя русского языка на подготовительных курсах при институте. Здесь он возвращается к своим занятиям фольклором и даже пытается получить ученую степень: приказом от 13 июня 1939 г. преподаватель НУИ А. В. Туфанов допускается к сдаче кандидатских экзаменов по кафедре фольклора Ленинградского университета²⁷. Однако для успешных занятий ему было необходимо работать в библиотеках Ленинграда.

К тому же 60-летнего аспиранта мучили болезни: костный туберкулез, миокардит, склероз, а с июня 1940 г. — частые приступы грудной жабы. И в 1938—40 гг. Туфанов пишет ряд заявлений в Верховный Совет СССР, добиваясь снятия судимости, что дало бы ему возмож-

и школу II-ой ст. в Детском селе.

в) если не окончил, то ск.

класс.
курс. прошел.

в) прошел . . . класс.
курс. . . . ШКОЛЫ.

	Степень родства	Фамилия, имя и отчество	Возраст	Занятие или место работы и должность или профессия	Место жительства (адрес)
8) Состав семьи, место жительства и место работы каждого члена (отца, матери, детей, мужа, жены, братьев и сестер)	1. Отец	Иван Павлович	73 г	Пенсионер	Ленинград. Адрес мой
	2. Сестра	Елизавета Ивановна	22	—	Адрес мой

9) **Партийная принадлежность:** а) в какой партии состоит, б) с какого времени беспартийный

10) **Профессия** Поэт.

	Название предприятия или учреждения	Профессия или должность
11) Место работы (службы): а) с начала войны до I/III 1917 г., б) с I/III 1917 г. по день ареста:	а) Учился б) Учился, а потом начал писать стихи. Печатался в Детском отделе госиздата и в журналах (детских)	Поэт.

- 12) Если состоял на государ. службе, то в каком чине На службе не состоял
- 13) Если не служил и не работал по найму, то на какие средства жил Сначала на средства отца, а потом на гонорары за свои стихи.
- 14) Владел ли недвижимым имуществом, каким и где не владел.
- 15) Привлекался ли к ответственности по суду или в админ. порядке Не привлекался.
- 16) Отношение к воинской повинности: а) воинское звание, род оружия или специальность; б) если освобожден, то на каком основании Вневойсковик.
- 17) Когда арестован 10 декабря 1931 года.
- 18) Кем арестован, по чьему ордеру и № ордера
- 19) Где арестован: а) губ., уезд, вол., село, гор., улица и № дома; б) при каких обстоятельствах арестован (на своей квартире, в засаде, на собраниях и проч.) В Ленинграде. В квартире П. П. Калашникова. Петропавловская ул. д. № 4 кв. 36. (в засаде).
- 20) Когда и кем допрошен
- 21) Предъявлено ли обвинение и в чем именно
- 22) Место жительства перед арестом Надеждинская 11 кв. 8. тел. 32-15.

Примечание заключенного:

Подпись заключенного Даниил Хармс

10 декабря 1931 года.

2-я часть (заполняется администрацией места заключения)

23) **Официальное название места заключения** ДПЗ

- 24) По чьему ордеру арестован и № ор. № 4528
дера
- 25) За кем зачислен 4 отд. СПО
- 26) Приметы заключенного

Примечание:

Подпись заведывающего местом заключения - Смирнов

Ответы на вопросы анкеты надо писать чернилами (в крайнем случае химическим карандашом), четко, разборчиво, полностью выписывая слова, по возможности без помарок и поправок.

ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ Д. И. ХАРМСА

Протокол I (листы дела 49—50)

О. Г. П. У.

Гор. Ленинград III ОГПУ в ЛВО СПО к делу № 4246

Протокол допроса

1931 года декабря мес. 11 дня я, уполномоченный СПО Бузников А. В., допрашивал в качестве обвиняем. гражданина(ку) Хармса, Даниил Иванович и на первоначально предложенные вопросы он(а) показал(а)

1. Фамилия Хармс (Ювачев)
2. Имя, отчество Даниил Иванович
3. Возраст (год рождения) 1905
4. Происхождение (откуда родом, кто родители, национальность, гражданство, подданство) Ленинград, сын надворного советника, мать дворянка
5. Местожительство (постоянное и последнее) Надеждинская 11 — кв. 8
6. Род занятий (последнее место службы и должность) литератор, штатной работой не занимаюсь
7. Семейное положение (близкие родственники, их имена, фамилия, адреса, род занятий до революции и последнее время) отец — Иван Павлович, сестра Елизавета Ивановна Грицина. За границей у меня знакомая Надежда Александровна Надеждина, редактор русских газет, с которой я переписываюсь.
8. Имущественное положение (до и после революции допрашиваемого и его родственников) неимущий
9. Образовательный ценз (первоначальное образование, средняя школа, высшая, специальн., где, когда и т. п.) среднее и незаконченное высшее
10. Партийность и политические убеждения б/п
11. Сведения об общественной и революционной работе. Никакой общественной работы не веду
12. Сведения о прежней судимости (до Октябрьской революции, после нее) нет
13. Служба у белых нет

Показания по существу дела

Я работаю в области литературы. Я человек политически не мыслящий, но по вопросу, близкому мне: вопросу о литературе. Заявляю, что я не согласен с политикой Советской власти в области литературы и желаю, в противовес существующим на сей счет правительственным мероприятиям, свободы печати как для своего творчества, так и для литературного творчества близких мне по духу литераторов, составляющих вместе со мной единую литературную группу.

Даниил Хармс (подпись)

11 декабря 1931 года

Зачеркнутое на четвертой строчке слово не читать.

Даниил Хармс (подпись)

Допросил А. Бузников (подпись)

Протокол 2 (л. д. 51—52)

Становясь на путь искреннего признания, показываю, что являлся идеологом антисоветской группы литераторов, в основном работающих в области детской

литературы, куда помимо меня входили А. Введенский, Бахтерев, Разумовский, Владимирова²⁹ (умер), а несколько ранее Заболоцкий и К. Вагинов³⁰. Творчество нашей группы распадалось на две части. Это, во-первых, были заушные, по суще-

ству, контрреволюционные стихи, предназначаемые нами для взрослых, которые в силу своих содержания и направленности не могли быть отпечатаны в современных советских условиях и которые мы распространяли в антисоветски настроенной интеллигенции, с которой мы были связаны общностью политических убеждений. Распространение этой вышеотмеченной части творчества шло путем размножения наших литературных произведений на машинке, раздачи этих произведений в списках, через громкое чтение их в различных антисоветских салонах, в частности на квартире у П. П. Калашникова, человека, монархически настроенного, к которому собирались систематически антисоветски настроенные лица. Кроме того, мы выступали с нашими произведениями для взрослых и перед широкими аудиториями, напр. в Доме Печати и в Университете, где в последний раз аудитория, состоящая из студентов, реагировала на наше выступление чрезвычайно бурно, требуя отправки нас в Соловки и называя нас контрреволюционерами. Вторая часть нашего творчества относится к области детской литературы. Свои детские произведения мы считали, в отличие от вещей, предназначенных для взрослых, не настоящими, работа над которыми преследует задачу получения материальных средств к существованию. В силу своих политических убеждений и литературной платформы мы сознательно приносим в область детской литературы политически враждебные современности идеи, вредили делу советского воспитания подрастающего поколения. Наша заумь, противопоставляемая материалистическим установкам советской художественной литературы, целиком базирующаяся на мистико-идеалистической философии, является контрреволюционной в современных условиях.

Признаю, что, находясь во главе упомянутой выше группы детских литераторов, я творил антисоветское дело. В дальнейших своих показаниях я детализирую и расширю данный протокол.

Даниил Хармс (подпись)

18 декабря 1931 года

Допросил А. Бузников (подпись)

Протокол 3 (л. д. 53—56)

Наша группа стала работать в области детской литературы с 1927-ого года. В область детской литературы наша группа привнесла элемент своего творчества для взрослых, т. е. заумь, которую я в предыдущем протоколе назвал контрреволюционной. Наиболее заумными являются следующие мои детские произведения: «Иван Иванович Самовар», стихи «О Топорышкине», «Как старушки покупали чернила»³¹, «Во-первых и во-вторых» и др.

Весьма приближаются к форме заум-

ного творчества также произведения Введенского «Кто», «Железная дорога», «Бегать, прыгать» и др. в этом же роде. К наиболее бессмысленным своим стихам, как, напр., стихотворение «О Топорышкине», которые ввиду крайней своей бессмысленности были осмеяны даже советской юмористической прессой, я относился весьма хорошо, расценивая их как произведения качественно превосходные, и сознание, что они неразрывно связаны с моими непечатающимися заумными произведениями, приносило мне большое внутреннее удовлетворение. Я должен был, ввиду предъявляемых требований, в дальнейшем несколько отойти от прямо заумных произведений, типа указанных выше, и начать писать несколько более конкретно. Однако такие мои вещи, как «Миллион» и «Что нужно заготовлять на зиму», не стали от этого менее политически вредными, контрреволюционными, чем произведения вышеперечисленные.

В обоих, и в «Миллионе», и в «Заготовках», общественно-политические темы сознательно подменены мною естествоведческими темами. В «Миллионе» тема пионерского движения подменена мною простой маршировкой, которая передана мною и в ритме самого стиха, с другой стороны, внимание детского читателя переключается на комбинации цифр. В книжке «Что мы заготавливаем на зиму» тема о том же пионерском лагере подменена мною сознательно темой естествоведческой и внимание ребенка переключается на те предметы, которые необходимо заготовить на зиму. Я квалифицирую эти книжки как политически враждебные современности. Создание именно такого рода произведений, как стихотворение «О Топорышкине», «Миллион» и др., обуславливалось моими политическими воззрениями, враждебными современному политическому строю, которые вместе со мной разделяла и вся группа. В тех случаях, когда ради материальных соображений я пытался приспособиться к предъявляемым общественностью к детской литературе требованиям, у меня получались явно халтурные произведения, как, например, стихи, написанные мною для журнала «Октябрьта». Детские произведения, названные выше, и другие, принадлежащие как моему перу, так и творчеству остальных членов группы, зачитывались и обсуждались в кругу членов группы и близких группе... (край страницы оборван.— И. М.) встречали полное одобрение.

Резюмируя свое показание, признаю, что деятельность нашей группы в области детской литературы носила антисоветский характер и нанесла значительный вред делу воспитания подрастающего советского поколения. Наши книжки отрывали читателя от современной конкретной действительности, действовали разлагающим образом на воображение ребенка. В частности, с этой точки зрения могу еще указать на стихотворение под названием «Врун», помещенное в жур-

нале «Еж», которое содержит элементы бессмыслицы.

Даниил Хармс (подпись)

23 декабря 1931 года

Допросил А. Бузников (подпись)

Протокол 4 (л. д. 57—58)

Наша группа, как я указывал в предыдущих своих показаниях, работала в области детской литературы в течение нескольких лет.

За это время нами было написано и сдано в печать большое количество прозаических и стихотворных книжек для детей, которые надо подразделить на произведения халтурные и антисоветские.

К халтурным произведениям из своих книжек я отношу следующие: «Театр», «Озорная пробка» и три стихотворения, помещенных в ж. «Октябрят», одно из которых называлось «Соревнование». Эти произведения для детей были написаны мною в минимально короткий срок и исключительно ради получения гонорара.

Особо халтурной из вышеназванных произведений я считаю книжку «Театр». Помимо того, что эта книжка не сообщает детям абсолютно никаких полезных сведений, она и по форме своей является чрезвычайно скверной, антихудожественной. То же самое следует сказать и о книжке «Озорная пробка», которую я написал за два часа. Что же касается стихотворения для ж. «Октябрят», то в этом случае имело большое значение то обстоятельство, что эти произведения я писал на советские темы — соревнования и т. д., которые были мне враждебны в связи с моими политическими убеждениями и которые я, следовательно, не мог изложить художественно приемлемо.

Творчество члена нашей группы Введенского также в некоторой своей части носит халтурный характер. Это относится к первым произведениям Введенского на советские темы, которые носили приспособленческо-халтурный характер. Переименовать эти произведения я сейчас затрудняюсь, так как забыл их названия. Как халтурно... (пропуск двух строк в ксерокопии. — И. М.)

К антисоветским произведениям я отношу следующие политически враждебные произведения для детей, вышедшие из-под пера членов нашей группы, как «Миллион», «Как старушка чернила покупала», «Иван Иванович Самовар», «Как Колька Панкин летал в Бразилию», «Заготовки на зиму» и друг. Введенского — из тех, что я помню, — «Авдей-Ротозей», «Кто», «Бегать-прыгать», «Подвиг пионера Мочина» и др.

Мое произведение «Миллион» является антисоветским потому, что эта книжка на тему о пионер-движении превращена сознательно мною в простую сатирку. В этой книжке я сознательно обошел тему, заданную мне, не упомянув ни разу на протяжении всей книжки слово «пионер» или какое-либо другое слово, свидетельст-

вующее о том, что речь идет о советской современности. Если бы не рисунки, кстати, также сделанные худ. Конашевичем³² в антисоветском плане, то нельзя было понять, о чем идет речь в книжке: об отряде пионеров или об отряде белогвардейских бойскаутов, тем более что я отделил в содержании книжки девочек от мальчиков, что, как известно, имеет место в буржуазных детских организациях и, напротив, глубоко противоречит принципам пионер-движения.

Другая из названных выше моя книжка «Иван Иванович Самовар» является антисоветской в силу своей абсолютной, сознательно проведенной мною оторванности от конкретной советской действительности. Это — типично буржуазная детская книжка, которая ставит своей целью фиксирование внимания детского читателя на мелочах и безделушках с целью отрыва ребенка от окружающей действительности, в которой, согласно задачам советского воспитания, он должен принимать активное участие. Кроме того, в этой книжке мною сознательно идеализируется мелкобуржуазная крепкая семья с огромным самоваром — символом мелкобуржуазного благополучия.

В книжке «Заготовки на зиму» я так же, как и в «Миллионе», сознательно подменил общественно-политическую тему о пионерском лагере темой естествоведческой: о том, что из предметов домашнего обихода следует заготовить на зиму. Таким путем внимание ребенка перекладывается, отрывается от активно-общественных элементов советской жизни. С этой точки зрения я называю эту книжку не только антисоветской, но и вредительской, поскольку она относится к самому последнему периоду моего творчества, когда я был хорошо знаком с теми последними требованиями, которые предъявлялись критикой к советской детской литературе.

Из названных мною выше произведений члена нашей группы А. И. Введенского особо останавливаться на книжке «Авдей — ротозей», которая, воспевая крепкого зажиточного мужичка и издеваясь над деревенской беднотой, является кулацкой и антисоветской.

Детские произведения, названные мною выше, и другие, зачитывались и обсуждались в кругу членов группы и близких группе лиц.

Создание такого рода произведений, как «Миллион», «Иван Иванович Самовар» и др., обуславливалось моими политическими убеждениями, враждебными современному политическому строю, которые вместе со мной разделяла и вся группа.

Резюмируя свое показание, признаю, что деятельность нашей группы в области детской литературы носила антисоветский характер и принесла значительный вред делу воспитания подрастающего советского поколения... (пропуск одной строки в ксерокопии. — И. М.)

Даниил Хармс

(подпись)

- 7) Образование: а) грамотен ли б) окончил какую школу в) если не окончил, то ск. класс прош. а) класс б) окончил среднюю школу; в) прошел курс курс ШКОЛЫ.

	Степень родства	Фамилия, имя и отчество	Возраст	Занятие или место работы и должность или профессия	Место жительства (адрес)
8) Состав семьи, место жительства и место работы каждого члена (отца, матери, детей, мужа, жены, братьев и сестер)	1. Отец	Введенский Иван Викторович	63	Экономист откомхоза	С'езжинская 37 кв. 14
	2. Мать	Введенская Евг. Ив. Поволоцкая	55	Врач 2 ком. леч.	» » »
	3. Брат	Влад. Ив. Введенск.	25	Зав. Мар. < . > ³³ юрисконсульт	Мойка 93 кв. 29
	4. Сестра	Евг. Ив. Введенская	23	Учаш. мед. инст.	С'езж. 37 кв. 14
	5. Муж сестры	Ал. Дав. Левитан	24	Уч. мед. инст.	С'езж. 37 кв. 14

- 9) Партийная принадлежность: а) в какой партии состоит, б) с какого времени беспартийный

- 10) Профессия Литератор

	Название предприятия или учреждения	Профессия или должность
11) Место работы (службы): а) с начала войны до 1/III 1917 г., б) с 1/III 1917 г. по день ареста:	а) Учащийся б) в 1921—1922 г. служил конторщиком на электрост. «Уткина Заводь», ныне «Красный Октябрь». Теперь занимаюсь литературой в изд. ОГИЗА	

- 12) Если состоял на государ. службе, то в каком чине

- 13) Если не служил и не работал по найму, то на какие средства жил

Когда был учащимся, был на ижд. род. Потом служил. До 28 г. опять на иждивении, потом жил литер. заработками

- 14) Владел ли недвижимым имуществом, каким и где

- 15) Привлекался ли к ответственности по суду или в админ. порядке

- 16) Отношение к воинской повинности: а) воинское звание, род оружия или специальность; б) если освобожден, то на каком основании

Признан негодным по состоянию здоровья.

- 17) Когда арестован

10 декабря 1931 г.

- 18) Кем арестован, по чьему ордеру и № ордера

- 19) Где арестован: а) губ., уезд, вол., село, гор., улица и № дома; б) при каких обстоятельствах арестован (на своей квартире, в засаде, на собраниях и проч.)

- 20) Когда и кем допрошен

- 21) Предъявлено ли обвинение и в чем именно

- 22) Место жительства перед арестом

С'езжинская 37 кв. 14.

Примечание заключенного:
 Подпись заключенного А. Введенский
 11 декабря 1931 г.

2-я часть (заполняется администрацией места заключения)

- 23) Официальное название места заключения
 24) По чьему ордеру арестован и № ордера
 25) За кем зачислен
 26) Приметы заключенного
- ор. № 4527 от 10/XII-31.
 4-е отд. СПО

Примечание:

Подпись заведывающего местом заключения

Ответы на вопросы анкеты надо писать чернилами (в крайнем случае химическим карандашом), четко, разборчиво, полностью выписывая слова, по возможности без помарок и поправок.

ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ А. И. ВВЕДЕНСКОГО

Протокол I (листы дела 63—64) О. Г. П. У.

Гор. Ленинград СПО ПП ОГПУ в ЛВО к делу № //4246//

Протокол допроса

1931 года декабря мес. 12 дня я, уполномоченный СПО Бузников А. В., допрашивал в качестве обвиняем. гражданина(ку) Введенский Александр Иванович и на первоначально предложенные вопросы он(а) показал(а)

1. Фамилия Введенский
2. Имя, отчество Александр Иванович
3. Возраст (год рождения) 1904
4. Происхождение (откуда родом, кто родители, национальность, гражданство или подданство) Ленинград, отец из духовного звания, мать дворянка
5. Местожительство (постоянное и последнее). С'езжинская 37 кв. 14
6. Род занятий (последнее место службы и должность) литератор
7. Семейное положение (близкие родственники, их имена, фамилия, адреса, род занятий до революции и последнее время) разведен, брат — Владимир Иванович, отец — Иван Викторович, Евгения Ивановна Поволоцкая-Введенская — мать, сестра — Евгения Ивановна.
8. Имущественное положение (до и после революции допрашиваемого и его родственников) заработок
9. Образовательный ценз (первоначальное образование, средняя школа, высшая, специальн., где, когда и т. п.) среднее
10. Партийность и политические убеждения б/п
11. Сведения об общественной и революционной работе
12. Сведения о прежней судимости (до Октябрьской революции, после нее) не судился
13. Служба у белых

Показания по существу дела Показания свои начинаю со следующей страницы А. Введенский

Арест мой органами ГПУ, происшедший на ст. Любань по пути моего следования в Новый Афон, не явился для меня неожиданностью в силу следующих обстоятельств, которые я постараюсь изложить со всей искренностью и правдивостью.

Я входил совместно с писателями Хармсом, Бахтеревым, ранее Заболоцким и др. в антисоветскую литературную группу, которая сочиняла и распростра-

няла объективно контрреволюционные стихи.

Большинство членов группы работает в области советской детской литературы, что дает материальную основу для нашего существования.

Большая часть наших литературных произведений, которая носит объективно контрреволюционный характер и которую мы считали лучшей и гораздо более ценной, чем легальное наше творче-

ство, ходит по рукам в рукописных списках и в отпечатанных на машинке экземплярах, в том числе распространяется среди учащихся университета. Кроме того, группа искала случаи — и находила эти случаи — выступать перед широкой аудиторией с пропагандой в литературной форме своих объективно контрреволюционных политических и идеалистически-мистических идей. Например, припоминаю случай антисоветского выступления группы в университете, происшедший около года тому назад, — выступали тогда Хармс и Бахтерев, — вызвавший резкий отпор со стороны большинства присутствующих студентов, часть из которых на основании прослушанного ими требовала немедленной высылки группы в Соловки³⁴.

Естественным выводом из сказанного являлась та тревожная обстановка, которая имела место внутри группы и вокруг нее. Опасения предстоящего ареста нашей группы органами ГПУ обострились в наших разговорах и предположениях на сей счет в последнее время, особенно в связи с последней дискуссией о путях детской литературы, на которой представители пролетарской литературы и советской общественности Серебряников, Чумандрин и др. дали не расходящееся с действительностью определение нашему творчеству как контрреволюционному.

Наша группа смыкалась с антисоветски настроенными лицами из среды гуманитарной интеллигенции: художники, научные сотрудники, — в различных салонах, в частности, на квартире у научного сотрудника Калашникова П. П., где происходили систематические сборища.

А. Введенский (подпись)

Допросил

Бузников А. В. (подпись)

12 декабря 1931 г.

Протокол 2 (л. д. 65—68)

В нашу группу, существо и деятельность которой я определил в предыдущем показании, входили кроме меня Хармс Даниил, Бахтерев, Разумовский, Александр Владимирович³⁵ и Заболоцкий, который в последнее время отошел от нас. К нашей группе как активному в антисоветском плане ядру примыкали разные лица из среды гуманитарной интеллигенции, политически близкие нам по своим антисоветским и мистическим настроениям. Из названных лиц могу назвать следующих: Калашникова Петра Петровича, на квартире которого происходили систематические сборища, сопровождаемые развратными оргиями, Бруни Георгий Юльевич, художник Эйсер Алексей Петрович, проживающий по Октябрьскому проспекту, Воронич, Лорис-Меликов, худ-цы Порэт³⁶ и Глебова³⁷, работающие в области детской литературы и определяемые как приспособленцы

в своем художественном творчестве, х-ца Сафонова Елена Васильевна, на квартире которой происходят сборища антисоветских лиц, Лихачев Иван Алексеевич и др. На сборищах у Калашникова и у других лиц велись антисоветского характера разговоры, рассказывались антисоветские контрреволюционные анекдоты, напр., анекдот «пламенный привет», а также имели место чисто монархические высказывания, в частности, Калашников кричал: «Да здравствует императорский штандарт!», а Хармс заявлял, что он «принципиальный сторонник и приверженец старого строя». Для меня лично также одно время были характерны монархические настроения, и я определял свое политическое кредо тремя словами: «бог, царь и религия». Различные наши сборища сопровождались также литературными читками, причем читались и контрреволюционные произведения, принадлежащие творчеству членов группы, и литераторам, близким к нашей группе. Одно из таких собраний с литературным чтением происходило в конце сентября мес. на квартире Калашникова, и на этом сборище присутствовали Хармс, Глебова, Порэт, Браудо, Ал-р Моисеевич, писатель-прозаик Конст. Вагинов и сам Калашников. В этот день я читал свою контрреволюционную поэму «Кругом возможно Бог», К. Вагинов читал стихи «Негр» и др., и Хармс прочел некоторые свои стихи. Вокруг прочитанного развернулась беседа, причем К. Вагинов выразил желание, чтобы моя поэма была бы отпечатана хотя бы в незначительном количестве экземпляров.

Остановившаяся на творчестве нашей группы и подтверждая то определение, которое дано мною в предыдущем протоколе, изменяю его в том смысле, что оно (творчество) носило не только объективно контрреволюционный характер, но и выражало наши контрреволюционные настроения и в силу этого являлось и субъективно контрреволюционным, что я хочу подчеркнуть здесь, желая оставаться до конца правдивым и искренним.

Наше литературное творчество распалось на две части. С одной стороны, это была заумь, это были вещи, предназначенные для взрослых, насыщенные мистикой, смысловое содержание коих было чрезвычайно затемнено. К наиболее показательным следует из этих вещей отнести: «Кругом возможно Бог», «Наташа и Куприянов», роман «Убийцы — вы дураки»³⁸ и др., принадлежащие моему перу, затем вещи Хармса: «Бессмысленные стихи»³⁹, «Елизавета Бам», мелкие произведения Бахтерева и т. д. Все эти вещи контрреволюционны по своему существу и мистико-идеалистической направленности. С другой стороны, мы работали в области детской литературы. Эту область литературы наша группа избрала совершенно сознательно и намеренно, так как здесь царствовал полнейший аполитизм, позволивший нам развернуться и, не входя в кон-

фликт со своими политическими и философскими убеждениями, развивать свою литературную деятельность в этой области ради получения средств к существованию. Я признаю, что в области детской литературы при попустительстве людей левых и направляющих ее мы протаскивали политически враждебные целям советского воспитания детей идеи. В этом смысле наше заумное, не предназначенное к печати творчество смыкалось с нашей работой в области детской литературы. Безусловно, например, заумны детские книжки Хармса — «Иван Иванович Самовар», «Врешь, врешь, врешь» и др. Моя детская книжка «Кто» и т. д. С этой точки зрения я признаю, что наша деятельность в области детской литературы являлась политически вредной, являлась сознательным актом нашей борьбы с Советской властью на идеологическом фронте.

А. Введенский (подпись)
13 декабря 1931 г.

Протокол 3 (л. д. 69)

В детский отдел Ленотгиза наша группа, о которой я показывал в предыдущих протоколах, пришла в 1928-м году. Идейное и художественное руководство в отделе принадлежало С. Я. Маршаку — известному детскому писателю, для которого до последнего времени характерна была так называемая аполитичность в творчестве. К Маршаку мы пришли с нашими вещами для взрослых, которые мы называли настоящими своими произведениями — в противовес детским книжкам, считающимся нами как ненастоящие, написанные для получения материальных средств к существованию. Наше творчество в целом было одобрено Маршаком, и он предложил нам работать в детском отделе. Большинство вещей, вышедших из-под пера нашей группы и вышедших в Ленотгизе по разряду детской книги, которые в предыдущем своем протоколе я определил как политически враждебные современности, прошли через тщательную формальную редакцию Маршака. Все наши заумные детские книжки, которые находились в глубочайшем противоречии с задачами советского воспитания подрастающего поколения, целиком одобрялись и поддерживались Маршаком. Напротив, когда я в самое последнее время я лично попытался выступить с подлинно советской тематикой, я встретил отпор со стороны Маршака. По поводу моей книжки «Густав Мейер», написанной ко дню МЮДа, Маршак в личном разговоре со мной высказался весьма отрицательно и предложил, придравшись к якобы имеющимся формальным недостаткам книжки, кардинально переделать ее, что вызвало во мне такую реакцию, что я было совсем отказался от этой своей книжки, если бы не безоговорное признание ее зав. детским сек-

тором «Мол. гв.» Тисиным, после чего Маршак в очень неловкой форме пытался выкрутиться перед руководством. Внимание и поддержка Маршака, оказываемые им нашей группе, распространялись настолько далеко, что наша группа пользовалась особыми привилегиями в детском отделе Ленотгиза: нас принимали вне очереди, Маршак работал с нами у себя на дому и т. д. В этой своей политике, направленной к культивированию нашей антисоветской группы в детском отделе, Маршак встречал полную поддержку со стороны работающих в отделе на руководящих постах партийцев, в особенности Дитриха и главным образом Олейникова⁴⁰. Олейников — редактор «Ежа» — относился чрезвычайно покровительственно ко всему нашему творчеству в целом, в том числе к прямо контрреволюционным заумным нашим произведениям для взрослых. Эти произведения встречали с его стороны полную поддержку и одобрение, причем он поддерживал нас в наших устремлениях продолжать в указанном направлении творческую работу. Я слышал, что Олейников проявлял повышенный интерес к Троцкому, а в нашей группе много говорилось о странном поведении Олейникова на семинаре по диамату в Комакадемии, где Олейников задавал вопросы мистико-идеалистического свойства.

Одновременно происходило сращивание нашей антисоветской группы с аппаратом детского сектора на бытовой основе. Устраивались вечеринки, на которых помимо меня, Хармса и др. присутствовали Олейников, Дитрих, а также беспартийные специалисты детской книги Е. Шварц, Маршак и т. д. Устраивались также совместные попойки. В этих попойках в последнее время стал принимать участие новый секретарь детского сектора И. Л. Андроников, о котором в нашей группе говорилось, что он князь по происхождению и которого как человека более близкого нам я счел возможным повести на квартиру к Калашникову. (О Калашникове смотреть мои показания выше.)

Я признаю, что детский сектор Ленотгиза в силу изложенных выше обстоятельств явился превосходным плацдармом для антисоветской деятельности нашей группы и что со стороны подавляющего большинства работников детского сектора мы встречали сознательную поддержку <своей> деятельности.

А. Введенский (подпись)
15 декабря 1931 г.

Наша поэтическая заумь, т. е. особая форма стихотворного творчества, принятая в нашей антисоветской группе детских писателей, является контрреволюционной в силу того, что она целиком исходит из мистико-идеалистической философии и активно противопоставилась нам засилью материализма в СССР. Од-

нако, придерживаясь заумной формы поэтического творчества, мы считали, что хотя она противоречит смысловому значению слова и внешне непонятна, но она обладает большой силой воздействия на читателя, достигаемой определенным сочетанием слов, примерно такой, как огромной силой воздействия обладает православная церковь, молитвы и каноны которой написаны на церковно-славянском языке, абсолютно непонятном современной массе молящихся. Эта аналогия, возникшая в наших групповых беседах по поводу зауми, отнюдь не случайна: и церковные службы, происходящие на церковно-славянском языке, и наша заумь имеют одинаковую цель: отвлечение определенно настроенных кругов от конкретной советской действительности, от современного строительства, дают им возможность замкнуться на своих враждебных современному строю позициях.

Необходимо заявить, однако, что большинство наших заумных произведений содержат в себе ведущие идеи или темы. Если, например, мое заумное контрреволюционное произведение «Птицы» в отдельных своих строчках — хотя бы в таких: «И все ж бегущего орла не удалось нам уследить, из пушек темного жерла ворон свободных колотить» — при всей их внешней монархической определенности нельзя переложить понятным языком, то о ведущей идее этого стихотворения следует сказать прямо: эта ведущая идея заключена в оплакивании прошлого строя, и в таком выражении она и понималась окружающими. То же самое следует сказать о произведении Хармса «Землю, говорят, изобрели конохи» и о других его произведениях.

Мы часто вели в группе и, в частности, с Хармсом политические разговоры. Как человека, который принципиально не читает газет, я информировал Хармса о политических событиях. Моя информация и хармсовское восприятие этой информации носили глубоко антисоветский характер, причем основным лейтмотивом наших политических бесед была наша обреченность в современных советских условиях. Мы хорошо понимали, что ненавистные нам советские порядки нелегко сломать, что они развиваются и укрепляются помимо нашей и иной, враждебной им воли; что мы представляем собой людей обреченных. Этот мотив обреченности, имеющий под собой в основе определен. систему политических, враждебных современности взглядов, пропитывал наши заумные произведения. Например, в моем произведении «Кругом возможно бог» ведущей идеей является идея смерти, но эта смерть не физическая, а смерть политическая, и мрачность, густо разлитая по всем строчкам этого произведения, целиком идет от сознания своей обреченности в условиях современной мне и враждебной мне действительности. Больше того, поэтическая форма зауми абсолютно не допускает введения в нее современных

художественных образов. Например, слово «ударничество», или слово «соцревнование», или еще какой-либо советский образ абсолютно нетерпимы в заумном стихотворении. Эти слова диссонируют политической зауми, они глубоко враждебны зауми. Напротив, художественные образы и прямые понятия старого строя весьма близки и созвучны форме поэтической зауми. В подавляющем большинстве наших заумных поэтических и прозаических произведений («Кругом возможно бог», «Птицы», «Месть», «Убийцы — вы дураки» и пр.) сплошь и рядом встречаются слова, оставшиеся лишь в белоземгранском обиходе и чрезвычайно чуждые современности. Это — «генерал», «полковник», «князь», «бог», «монастырь», «казани», «рай» и т. д. и т. п. Таким образом, ведущие идеи наших заумных произведений, обычно идущие от наших политических настроений, которые были одно время прямо монархическими, облекались различными художественными образами и словами, взятыми нами из лексикона старого режима, принимали непосредственно контрреволюционный антисоветский характер.

Вот это указанное мною наличие ведущей идеи и ведущей настроенности в любом из наших заумных произведений подтверждается некоторыми последними нашими заумными произведениями, в частности, вещами моими и Заболоцкого, которые гораздо более понятны, нежели ранние наши произведения. Поэма «Торжество земледеля» Заболоцкого носит, например, понятный характер, и ведущая его идея, четко и ясно выраженная, аполлогетирует деревню и кулачество. В моей последней поэме «Кругом возможно бог» имеются также совершенно ясные места, вроде: «и князь, и граф, и комиссар, и красной армии боец» или «глуп, как Карл Маркс»⁴¹, носят совершенно четкий антисоветский характер.

Резюмируя свои показания по этому вопросу, признаю, что форма поэтической зауми, культивируемая нашей антисоветской группой, являлась контрреволюционной как по своей сущности, так и по содержанию.

А. Введенский (подпись)

20 декабря 1931 г.

По вопросу о деятельности нашей группы, охарактеризованной мною выше, в области детской литературы признаю, что эта деятельность являлась антисоветской, эта наша группа протаскивала в детскую литературу политически враждебные идеи и приносила очевидный вред делу воспитания подрастающего советского поколения.

Как образцы политически враждебной литературы могу назвать все книги идеолога и организатора нашей группы Д. И. Хармса, в том числе «Иван Ивано-

вич Самовар», «Как старушка чернила покупала», «Миллион», «Заготовки на зиму» и др. свои книжки «Авдей — Ротозей», «Много зверей», «Летняя книжка», «Мяу», «На реке», «Бегать — прыгать», «Кто» и т. д., а также Заболоцко — «Хорошие сапоги» и др.

Останавливаясь на ряде названных книжек, могу об отдельных из них в подтверждение своей вышеприведенной общей формулировки заявить следующее: книжка Хармса «Иван Иванович Самовар» является политически враждебной современному строю потому, что она прививает ребенку мещанские идеалы старого режима и, кроме того, содержит в себе элементы мистики, поскольку самовар фетишизируется. Также следует особо остановиться на книжке «Во-первых и во-вторых», которая привносит в детскую литературу очевидные элементы бессмыслицы, прививающие ребенку буржуазную идеологию. Книжки Хармса «Миллион» и «Заготовки на зиму», относящиеся к самому последнему периоду деятельности группы, сознательно, в политических целях подменяют общественно-политическую тематику тематикой внешне аполитичной, естествоведческого характера. Пионеров и пионерского движения, на тему о которых Хармс должен был писать, в этих книгах нет, и, таким образом, читатель, который по плану издательства должен был узнать об этих моментах советской жизни, знакомится в первом случае (книжка «Миллион») всего лишь с четырьмя правилами арифметики, а во-втором (книжка «Заготовки на зиму») вообще не получает никаких полезных сведений. Необходимо отметить здесь же, что в «Миллионе» пионеры могут быть заменены бойскаутами, например, без всякой существенной переделки книжки.

Мое произведение для детей «Авдей-Ротозей» содержит в себе очевидное восхваление зажиточного кулака как единственно трудолюбивого и общественно-полезного крестьянина, беднота же представлена мною в карикатурном образе «Авдея-Ротозея», лежебоки и пьяницы. Этот образ советской бедноты заимствован был мною из антисоветских воззрений на политику партии в деревне, которых придерживалась наша группа в целом. В ряд с этой названной антисоветской книжкой должна быть поставлена моя «Летняя книжка» для детей, в которой советская деревня показывается детям как помещичья деревня. Прочие из названных мною выше книжек содержат в себе те или иные более или менее явно выраженные враждебные современному строю идеи и, кроме того, по форме изложения они тождественны буржуазной детской литературе (в частности, английской), воспитывающей детей ради отрыва их от конкретной действительности на художественных образах-бессмыслицах.

Ввиду предъявленных редакцией требований я сделал попытку подойти к ре-

волюционной тематике. Однако в силу своего антисоветского прошлого, в силу давления на меня антисоветской группы, в которую я входил, я не в силах был освоить тему и создал ряд политически вредных книг, к которым следует отнести такие, как «Письмо Густава Мейера», «Подвиг пионера Мочина». В «Письме Густава Мейера» я исказил соотношение сил, убеждая ребенка-читателя в слабости и ничтожности немецкой буржуазии.

Как правило, детские произведения членов группы зачитывались до сдачи в печать в кругу членов группы, обсуждались и в отдельных случаях дорабатывались.

Подытоживая вышесказанное, должен заявить, что группа избрала для своей творческой деятельности область детской литературы потому, что в этой области наиболее бесконтрольно можно было протаскивать политически враждебные идеи, что наше творчество для детей смыкалось с антисоветскими политическими взглядами группы, с одной стороны, а во-вторых, с контрреволюционным творчеством группы, предназначенным ею для взрослых читателей.

26 декабря 1931 г.

А. Введенский (подпись)

Наше политическое кредо — в данном случае я говорю о себе, а во-вторых, о Хармсе, с которым, как мне кажется, я составлял совершенно слитное, единое целое, даже по самым незначительным моментам — складывалось следующим образом:

совершенно очевидно, что мы, т. е. я и Хармс в данном случае, в момент деятельности нашей антисоветской группы были настроены резко враждебно к существующему в стране политическому строю. Политические формы этой враждебности принимали у нас крайне обостренный характер, доходя до крайне монархических устремлений. Мы желали установления в стране монархии в ее старорежимном оформлении, причем верховного правителя страны — монарха — мы рассматривали как некую мистическую фигуру, буквально как помазанника божия. Царь мог быть дураком, человеком, не способным управлять страной, монархия, т. е. единодержавное управление этого человека, не приспособленного к власти, могла быть бессмысленной для страны, но именно это и привлекало нас к монархическому образу правления страной, поскольку здесь в наиболее яркой форме выражена созвучная нашему творческому интеллекту мистическая сущность власти. В наших заумных, бессмысленных произведениях мы ведь тоже искали высший, мистический смысл, складывающийся из кажущегося внешне бессмысленного сочетания слов.

Была и другая линия притяжения ме-

ня и Хармса к старому строю, к монархии. Наше заузное, крайне декадентское творчество для взрослых глубоко враждебно переживаемому нами времени, выраженному в диктатуре пролетариата. Если в начале нэпа, в период сравнительной идеологической свободы, мы имели возможность организовывать публичные выступления наших заузных поэтов, могли рассчитывать на издание наших произведений, могли — и это главное — собрать вокруг себя нэпманскую аудиторию, которой наше творчество щекотало нервы и которая из классовых соображений могла поднять нас на щит, то по мере того, как диктатура становилась все крепче, упорнее, увереннее — в том числе и на идеологическом секторе, — эти надежды становились все более слабыми, превращались в дым, как мы хорошо это понимали. Мы брали тогда исторические примеры, анализировали старый монархический строй, вспоминали, что самые отъявленные футуристы имели возможность выступать перед широкими аудиториями, пользовались успехом, печатались, и приходили к выводу, что и мы в условиях старого строя, поскольку мы отнюдь не стали бы выступать с пропагандой революционных идей, абсолютно чуждых нам, могли свободно творить и делиться своим творчеством с широкой читающей публикой. Вот отсюда также рождались наши горячие симпатии к старому монархическому строю, который мы романтизировали, идеализировали в наших общих беседах. Отсюда и наше горячее желание восстановления старого строя. Это восстановление мы желали видеть безболезненным и бескровным. Это не значит, что мы были противниками вооруженной интервенции или какого-либо насильственного свержения советской власти. Напротив, мы постоянно ощущали в себе огромную близость к зарубежной белой интеллигенции, которая идеологически была близка нам и в которой мы рассчитывали найти поддержку и сочувствие нашим творческим исканиям в области заузной поэзии. Но мы подходили к войне — а интервенция не мыслима без кровопролитной борьбы — крайне индивидуалистично. Нас пугала необходимость с оружием в руках, рискуя жизнью, защищать свои монархические идеи. Пускай — мы думали — произойдет перемена строя без нас, а уж потом мы придем со своими стихами и встретим более или менее общее сочувствие. Таким образом, наши политические убеждения шли от нашего творчества, абсолютно чуждого современному строю, враждебному ему как по своему содержанию, так и по форме. В свою очередь корни нашего контрреволюционного творчества лежат, без сомнения, во-первых, в нашем социальном прошлом, — Хармс, например, по материнской линии был даже выходцем из придворной знати, — а во-вторых, в системе воспитания. Когда произошел переворот, мне было тринадцат

ать лет. В гимназии им. Лентовской, где я учился, отсутствовал даже намек на советскую действительность. Преподаватель словесности воспитывал нас на декадентах и футуристах, причем доходил до чисто монархических утверждений в своих лекциях, находя что-то особо возвышенное в сочетаниях цветов трехцветного монархического флага, в звуках царского гимна и т. д., нам не говорили ни о чем, что касалось советского строя и характеризовало бы этот строй с хорошей стороны, и одновременно не сообщали ничего отрицательного из эпохи старого режима. Практически почти я не знал ничего из условий старого режима, и в силу этого я вырос политическим, идеализируя этот строй, одевая его в тогу романтизма и привлекательности.

9 января 1932 г.

А. Введенский (подпись)

Протокол 7 (л. д. 82)

Одним из тех работников, которые содействовали укреплению в детском секторе из-за нашей антисоветской группы, являлся Сам. Яковл. Маршак — известный детский писатель, работающий в качестве консультанта сектора. В значительной степени заботы и внимание, оказываемые Маршаком нашей группе, объясняются близостью формы и содержания произведений самого Маршака нашим произведениям. Маршак, как между прочим, и Чуковский, идут в своем творчестве от английской детской литературы, которая, как известно, превышает всего ставит выдумку, фантазию, способную поразить ребенка. Это было очень близко основному нашему творчеству — зау-ми, — и именно этот элемент поддерживался Маршаком в творчестве для детей нашей группы. Все или почти все наши детские книги проходили глубокую редактуру Маршака, а на некоторых из них Маршак с полным правом мог бы поставить свое соавторство. Внешний аполитизм, а по существу буржуазная направленность наших книг для детей, поддерживался всегда Маршаком. Когда партийная часть редакции поставила ребром вопрос о преклоении детской литературы на советские... (пропуск 1 стр. в ксерокопии. — И. М.) встал в оппозицию.

Это видно хотя бы из отношения его к моей книжке «Густав Мейер», в которой я пытался приспособиться к советской тематике. Маршак в разговоре со мной чрезвычайно охаял эту книжку, что редко по отношению к произведениям членов нашей группы, носящим антисоветский характер.

17 января 1932 г.

А. Введенский (подпись)

Протокол 8 (л. д. 83)

Наша группа детских литераторов познакомилась с ответственным работником Детского сектора Леногтгиза Олейниковым Николаем Макаровичем в 1927-ом году летом через Липавского-Савельева⁴². С тех пор Олейников не переставал всячески протезировать нашей группе в Детском секторе, заведующим коего он одно время являлся до своего назначения на должность ответственного редактора ж. ж. «Еж» и «Чиж». Помимо этого Олейников с большим вниманием относился ко второй, основной части нашего творчества — к заумным контрреволюционным произведениям нашим для взрослых. Он собирал эти наши произведения, тщательно храня их у себя на квартире. В беседах с нами он неоднократно подчеркивал всю важность этой стороны нашего творчества, одобряя наше стремление к культивированию и распространению контрреволюционной зауми. Лыбтя нашему авторскому самолюбию, он хвалил наши заумные стихи, находя в них большую художественность. Все это, а также и то, что в беседах с членами нашей группы Олейников выявлял себя как человека, оппозиционно настроенного к существующему партий... (пропуск 1 стр. в ксерокопии.— И. М.), нам не следует не пугаться и не ... (не разб.— И. М.) несмотря на его партийную принадлежность. В последнем отношении весьма характерно то, например, обстоятельство, что Олейников весьма неохотно, как нам было известно, пошел в семинар, организованный при Ком. Академии для редакторов из-ва. Делясь с Хармсом впечатлениями об одном из докладов одного из руководителей семинара по диалектическому материализму, Олейников зло иронизировал над этим докладом, говоря, что с точки зрения сталинской философии понятие «пространства» приравнивается к жилплощади, а понятие «времени» к повышению производительности труда через соцсоревнование и ударничество. В контексте с указанным следует также поставить известный интерес Олейникова к Троцкому и к его трудам.

27 января 1932 г.

А. Введенский (подпись)

Протокол 9 (л. д. 84—86)⁴³

Продолжая свои показания о моих политических убеждениях, я хочу остановиться на той перестройке и переломе в моих взглядах, которые наступили за последние два года. Должен сразу же сказать, что несмотря на такой довольно продолжительный срок я в момент ареста находился еще только в самом начале того большого пути, который мне предстояло проделать, чтобы стать настоящим, подлинным борцом за социализм на идеологическом, в частности, литературном фронте.

Насколько мне кажется, причин этой перестройки две: одна — это процессы внутри меня, внутри моего творчества и философских взглядов, и другая — революция и советская действительность, которые воздействовали на меня и не могли не воздействовать, сколько бы я от них ни прятался. Касаясь моего творчества, я должен сказать еще раз, что оно по сути было глубоко враждебно советскому строю, точнее, мне казалось, что советский строй глубоко враждебен ему. Все мои произведения, оторванные от советской действительности, бессмысленные по форме, мистические по существу, все мои философские взгляды, крайний эгоцентризм, все мое мироощущение — человека божемы — все это находилось в явном противоречии с окружающей меня жизнью. Но во мне самом, как мне это теперь стало ясным, во всей совокупности тех идей и ощущений, которые жили во мне, назревала та идеологическая катастрофа, которая произошла со мной в последнее время. Таким путем крайнего индивидуализма человек долго идти не может. Банкротство этого пути неизбежно. Всякие и всяческие пути мистицизма или аполитизма всегда все равно столкнутся и вступят в противоречие с жизнью, с действительностью. И тем сильнее и тем больнее будет это столкновение, чем эта действительность жизнеспособнее и органичнее. Живи я за границей, среди разложившейся эмиграции, м. б., и до сих пор я писал бы, и думал, и чувствовал так же.

Но в наших условиях, где рабочий класс под руководством коммунистической партии, решительно и бодро преодолевая всякие трудности, строит социализм, где людям даже непонятны и, по существу, неинтересны даже всякого рода пессимистические и мистические настроения. Тут это столкновение и происходит быстрее — тут оно бьет сильнее.

Стихи мне мои, и мои ощущения, и мои взгляды уткнулись в смерть. С этого момента началась у меня критическая переоценка самого себя и своего творчества. Происходила она очень нелегко. Я понял, что дальше по этому пути идти некуда, что тут дорога либо в сумасшедший дом, либо в самоубийство, либо, наконец, в отчаянную и безнадежную борьбу с Сов. властью. Характерно, что когда я последнее время писал свои стихи, то они у самого меня вызывали чувство отвращения и даже страха. Я психически заболел. Но я понял, что всей этой мистике, всему этому эгоцентризму грош цена, что это ведет к полному психическому маразму. С другой стороны, надо сказать, что, сколько бы я ни прятался от окружающей меня сов. действительности, из этого ничего не выходило. Я помню свои жалобы Хармсу на то, что у нас самый воздух советский, что я отравляюсь этим воздухом. И, к счастью для меня, я наконец этим «воздухом» отравился. Довольно крупную роль тут сыграла и моя работа в детской литера-

гуре, — правда, только за самое последнее время. Потому что в начале моего прихода в детскую литературу о ней можно было сказать, что это самое аполитичное и самое оторванное место от борьбы и строительства новой жизни. Там дышалось «легче», чем где бы то ни было, там было царство «чистого, свободного, аполитичного» искусства. Но, начиная, если не ошибаюсь, с конца 1929 или начала 1930 г., ветер революции начал проникать и туда. Я не скрою, что первым моим побуждением для писания политических советских книг являлся вопрос материальный. Но как бы то ни было, а работа над такими вещами, а в связи с этим и новые методы работы. Поездка в прошлом году на Сталингр. Тракт. завод, в этом году в пионерский Толмачевский лагерь, выступление перед рабочей аудиторией, вообще непосредственное столкновение с людьми других взглядов, других ощущений не прошли даром. Я стал думать над своим местом в жизни. Я понял, что быть в стороне сейчас нельзя, что сейчас надо твердо решать, где твое место, здесь, в ряду строителей нового мира, или там, вместе с эмиграцией, вместе с буржуазией. И я понял, что если я выбрал первое, выбрал сторону пролетариата, то я должен стать на путь решительной борьбы с самим собой, со своим прошлым и безоговорочно признать все свои ошибки и заблуждения. Я твердо и бесповоротно заявляю, что мое место здесь, по эту сторону, на стороне рабочего класса, строящего социализм.

Когда я говорю, что в момент ареста я находился еще только в начале пути моей перестройки, то это значит вот что: для писателя сейчас слишком мало одного только признания Сов. власти. Писатель сейчас должен быть вооружен методом диал. матер. В момент боев безоружные, которые могут только без толку кричать «ура», особой помощи бойцам принести не смогут. Сейчас, безусловно, такой момент был. Я сейчас разоружился, я сбросил оружие мистики, формализма и контрреволюции, но новым марксистским оружием еще не овладел. Это ясно видно и на моих детских вещах, при всей субъективной искренности некоторых из них, я говорю о моих последних книжках, «Густав Мейер», «Кунная Буденного» и т. д., они поверхностны, урреволюционны, они искажают действительность и не дают правильного соотношения сил. Собственно, м. б., одна единственная моя вещь может получить право называться вещью перестроившегося Введенского. Это «П. В. О.» («К обороне быть готов»). Кроме того, несколько стихов в журн. учеб. Лоучиза, где я работал последнее время. Надо сказать, что во мне еще много осталось пережитков, и мистики, и формализма, но я считаю, что твердой и решительной борьбой и активной работой над перделкой своего мирозерцания я сумею наконец стать в ряды подлинных бойцов на идеологическом — литературном фронте.

А. Введенский (подпись)
10—17 января 1932 г.

АНКЕТА № 147аг30

для арестованных и задержанных с зачислением за О.Г.П.У. Лица, давшие неверные показания в анкете, будут подвергнуты строжайшей ответственности

Вопросы:

1-я часть (заполняется заключенным)

- 1) Фамилия
- 2) Имя и отчество
- 3) Гражданин $\frac{ин}{ка}$ какого государства
- 4) Национальность
- 5) Уроженец сын крестьянина Ар<...> (род. в С. Петерб.)
- 6) Возраст (год рождения)
- 7) Образование: а) грамотен ли
б) окончил какую школу
в) если не окончил, то эк. класс. прош. курс.

Ответы:

- Туфанов
Александр Васильевич
РСФСР
русский
Губ. Арханг. уезд Шенкурский
вол. Ростовск. $\frac{44}{город}$ село
54 лет: родился в 1877 г. месяце 19
ноябр. (ст. ст.)
а) Учительский институт
б) окончил . . . школу;
в) прошел . . . класс. . . школы.
курс.

	Степень родства	Фамилия, имя и отчество	Возраст	Занятие или место работы и должность или профессия	Место жительства (адрес)
8) Состав семьи, место жительства и место работы каждого члена (отца, матери, детей мужа, жены, братьев и сестер)	1. Жена 2. 3. 4. 5.		41	учительница (безраб.)	

- 9.) **Партийная принадлежность:** а) в какой партии состоит, б) с какого времени.
- 10) **Профессия** литератор

	Название предприятия или учреждения	Профессия или должность
11) Место работы (службы): а) с начала войны до 1/III 1917 г., б) с 1/III 1917 г. по день ареста:	а) редактор педагогич. журн. «Обновление Школы», издательство Сойкина, Журнал «Жизнь для всех» 5) Секретарь «Вольного Плуга»	редактор, член редакции, секретарь

Заведующий Общеобразов. курсами в Галиче Костромск. губ., завед. школьно-лекционн. секцией в Политпросвете (г. Галича), инструктор по ликвидации неграмотности. Завед. корректорской в рабоч. изд-ве «Прибой». Корректор в ГИХЛе.

- 12) Если состоял на государ. службе, то в каком чине _____
- 13) Если не служил и не работал по найму, то на какие средства жил литерат. заработок
- 14) Владел ли недвижимым имуществом, каким и где _____
- 15) Привлекался ли к ответственности по суду или в админ. порядке В 1902 и 1907 г. по политич. дознаниям. До октябрьской революции под надзором полиции.
- 16) Отношение к воинской повинности: а) воинское звание, род оружия или специальность; б) если освобожден, то на каком основании освобожден по физич. недостатку.
- 17) Когда арестован 10/XII 31 г.
- 18) Кем арестован, по чьему ордеру и № ордера
- 19) Где арестован: а) губ., уезд, вол., село, гор., улица и № дома; б) при каких обстоятельствах арестован (на своей квартире, в засаде, на собрании и проч.) г. Ленинград, Нижегородская ул., д 12, кв. 12
- 20) Когда и кем допрошен
- 21) Предъявлено ли обвинение и в чем именно
- 22) Место жительства перед арестом Ленинград, Нижегородская ул. д. 12, кв. 12

Примечание заключенного:

Подпись заключенного А. Туфанов

10 декабря 1931 г.

2-я часть (заполняется администрацией места заключения)

- 23) **Официальное название места заключения** ДПЗ
- 24) **По чьему ордеру арестован и № ордера** № 4530
- 25) **За кем зачислен** 4 отд. СПО
- 26) **Приметы заключенного**

Примечание

Подпись заведывающего местом заключения

Смирнов

ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ А. В. ТУФАНОВА

Протокол I (листы дела 93—06) О.Г.П.У.

Гор. Ленинграда СПО ПИ ОГПУ в ЛВО к делу № 4246

Протокол допроса

1931 года декабря мес. 13 дня я, уполномоченный СПО Бузников А. В., допрашивал в качестве обвиняем. гражданина(ку) Туфанов Александр Васильевич и на первоначально предложенные вопросы он(а) показал(а)

1. Фамилия Туфанов
2. Имя, отчество Александр Васильевич
3. Возраст (год рождения) 1877
4. Происхождение (откуда родом, кто родители, национальность, гражданство (или подданство) из крестьян Архангельской губ. Шенкурского уезда
5. Местожительство (постоянное и последнее) Нижегородская, д. 12, кв. 12
6. Род занятий (последнее место службы и должность) литератор, в последнее время корректор ГИХЛ'а
7. Семейное положение (близкие родственники, их имена, фамилия, адреса, род занятий до революции и последнее время) женат, жена Мария Валентиновна
8. Имущественное положение (до и после революции допрашиваемого и его родственников) заработок
9. Образовательный ценз (первоначальное образование, средняя школа, высшая специальн., где, когда и т. п.) высшее
10. Партийность и политические убеждения работал в анархическом союзе «Рабочих и Крестьян» в 1918-ом году и был секретарем анархической газ. «Вольный плуг»
11. Сведения об общественной и революционной работе
12. Сведения о прежней судимости (до Октябрьской революции, после нее) судился за организацию нелегального собрания в 1906 г. и получил три месяца
13. Служба у белых сотрудник белогвардейской газ. «Возрождение Севера» в 1919-ом году.

Показания по существу дела

Признаю, что я являюсь теоретиком и идеологом поэтической зауми, базирующейся на реакционно-идеалистической философии Бергсона, являющейся в условиях современного политического строя контрреволюционной, поскольку она противопоставляется конкретности и материалистичности советской литературы, а во-вторых, служит средством отвлечения литературных кадров от советской действительности и средством вовлечения их в мистику и идеализм.

Признаю, что поэтическая заумь использовалась мною как форма, при помощи которой я излагал свои контрреволюционные националистические идеи (поэма «Ушкуйники», «Марфа Посадница» и т. д.). В названных литературных произведениях я пользовался также как средством смыслового затемнения речи церковно-славянским языком и методом переключения исторических эпох, т. е. революционную современность, враждебную мне, пересказывал языком и через события исторически отдаленных времен. Однако моя поэзия, становясь непонятной для органов цензуры, хорошо понималась моими друзьями и моими непосредственными учениками. Заумь, таким образом, являлась для меня активным средством борьбы с революцией, которую я враждебно воспринял.

Подтверждая данные мною выше показания, должен заявить, что моя поэма «Ушкуйники» посвящена моему брату Николаю, который служил в белой армии. На титульном листе книги стоит

следующее: «Храбрейшему из славян рыцарю Николаю, павшему с дружиной Новгородских ушкуйников на Нелепе в борьбе с Москвой». Это посвящение следует расшифровать следующим образом: «Моему брату белогвардейцу Николаю, павшему в борьбе с Красной Армией («Москвой») вместе с белогвардейским отрядом». Вся эта поэма, написанная методами и приемами поэтической зауми с привлечением для смыслового затемнения церковно-славянского языка, переключает современную советскую действительность на XV век, на эпоху борьбы Вольного Новгорода с Москвой, причем под дружиной «новгородских ушкуйников» понимается мною белая армия, а под Москвой XV века — Красная Москва, Москва Ленина и большевиков. В этой своей поэме я пишу: «Погляжу с коня на паздерник как пазгает в подзыбище⁴⁵ Русь». В точном смысловом содержании это значит, что я враг Советской власти, наблюдаю и радуюсь, как полыхает в подполье пожарище контрреволюции. В другом месте я пишу: «...вода березки лихолетье дрознула, захитилась в бору, и в тулуп дощатый на веретье от людей я песню завернул». «Вода березки» — это искусство чистой воды, которое в лихолетье, т. е. в революцию, ушло, загнано в подполье, и требуется завертывать песнь в «тулуп дощатый», т. е. в заумь, чтобы иметь возможность говорить в советской действительности печатным словом, однако содержащим в себе к.-р. призывы, как,

например, призыв к к.-р. восстанию, которым заканчивается моя песнь о «Новогороде» и который дан в следующих строчках: «Коли власть не ко двору, выйдем с кличем: «К топору! Ой-лю-лю по топору! Ой-лю-лю не ко двору!» и дальше: «Не пора ли — ух! точить приупленные мечи!»

13.12.1931

А. Туфанов (подпись)

Допросил А. Бузников (подпись)

Протокол 2 (л. д. 97—98)

<...> В 1928—29-ом году под моим идейным и организационным руководством существовал «Орден ДСО» — заумный орден. Наша организация, которая по своим действиям и по своему существу являлась антисоветской, регулярно собиралась в квартире студента горного института (Маркова — И. М.), проживающего в Зимнем дворце (вход с набережной). В нашу организацию, которая ставила себе задачей установление и распространение зауми как средства борьбы с советской властью, входили Дан. Хармс, А. Введенский, Заболоцкий, Вигилянский, сам Марков, Богаевский⁴⁶ и др. Впоследствии к нам примкнул Бахтерев. На наши собрания приезжали также из Москвы писатели Борис Черный и Алыков (зачеркнуто. — И. М.). Творчество названных выше писателей, в основном моих учеников, являлось к.-революционным, хотя отдельные из них, как, например, Вигилянский, признавали поэтическую заумь лишь частично. Опасаясь преследований со стороны органов ГПУ, мы прекратили собрания на квартире у Маркова, но не распались и продолжали собираться, в частности, на моей квартире, где регулярно бывали Дан. Хармс, Введенский, Бахтерев и др., организовавшие затем заумную литературную организацию «ОБЭРИУ», ставящую себе в основном те же задачи, что и «Орден ДСО». Используя детскую литературу как возможность работать там для получения материальных средств, они в силу своих к.-р. политических убеждений использовали заумь как форму (т. н. «инфантилизм» — детская литература для детей), они протаскивали в детскую литературу враждебные современности идеи. Я признаю, что как теоретик поэтической зауми вел борьбу с Советской властью на идеологическом фронте.

13.12.1931. А. Туфанов (подпись).

Допросил А. Бузников (подпись)

Протокол 3 (л. д. 99—100).

<...> В 1919 г. я находился у белых и сотрудничал в белогвардейской прессе, в частности, в националистической газете «Возрождение Севера». С тех пор и

до последнего времени я не прерывал связи с белогвардейскими кругами и белоэмигрантской прессой, где я продолжал сотрудничать. Я состоял в переписке регулярной с белоэмигрантским журналистом и переводчиком Васильевым, проживающим в Риге (Латвия). Кроме того, я регулярно переписывался с белоэмигрантом Вагбачевым, проживающим в Финляндии. Корреспонденции и стихотворения, предназначенные мною для белоэмигрантской прессы, в частности, для газеты «Накануне», издаваемой в Париже, и для «Новостей», издаваемых в Ревеле, я пересылал через вышеупомянутого Васильева. В разное время под видом частной корреспонденции я переслал Васильеву несколько своих к.-р. стихотворений — одно из коих было посвящено Васильеву — и ряд антисоветского характера корреспонденций. Кроме того, я выслал Васильеву свою к.-р. поэму «Ушкуйники», подробно о которой я говорил в предыдущем протоколе. Эту же к.-р. поэму после ее выхода из печати я разослал для перепечатки и для отзывов в редакции белоэмигрантских газет. Мою поэму получили «Последние новости», издаваемые в Париже, газета «Возрождение», белогвардейские редакции. Кроме того, я разослал поэму «Ушкуйники» различным белоэмигрантам, адреса которых частью мне были известны, а частью были сообщены мне переводчиком Таубе, ранее работавшим вместе со мной в издательстве «Прибой».

Мое сотрудничество в белоэмигрантской прессе сопровождалось антисоветской подрывной работой внутри советской литературы. Я в качестве идеолога и организатора входил в Заумный орден, в котором деятельное участие принимали антисоветски настроенные литераторы. Ядро этого ордена состояло из писателей — Хармса, Введенского, меня и Маркова, на квартире которого происходили собрания ордена. Орден носил двойное название: «ДСО» — заумное название и «Самовищина» — название, взятое из древнерусского лексикона, которое обозначает крайний индивидуализм. Это последнее название было взято нами по моему предложению, намеренно, т. к. одной из программных задач ордена являлось полное и демонстративное отмежевание от советской литературы. Основным связующим нас лозунгом являлось чистое искусство, «искусство ради искусства». Мы сознательно шли к крайним формалистским формам искусства — зауми, желая уйти от враждебной нам советской действительности и увести от нее наших читателей и последователей. Помимо указанного выше ядра ордена, собрания ордена посещали поэт Вигилянский, Бахтерев, конструктивист Борис Черный (Москва) и др. Собрания проходили регулярно — один раз в две недели. На собраниях велись обсуждения литературной и политической программ ордена, каковая в общих чертах изложена мною выше. На каждом из собраний

регулярно устраивались читки. Я неоднократно выступал с чтением своей к.-р. поэмы «Ушкуйники». Введенский читал свои прозаические вещи, по большей части антисоветского характера. Одно из них мне хорошо запомнилось своей монархической направленностью. Называлось это произведение «Основание Санкт-Петербурга». На каждом собрании читал свои к.-р. произведения

Д. И. Хармс. В дальнейшем наш орден распался, и из него выделилась антисоветская группа литераторов Хармса — Введенского — моих последователей в заумной форме творчества.

3 января 1932 г.

А. Туфанов (подпись)

Допросил А. Бузников (подпись)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эта версия наиболее полно изложена в публикациях: Я. С. Друскин. Чинари. Публикация Л. С. Друскиной. «Аврора», 1989, № 6, с. 103—115. А также: Я. С. Друскин. Чинари. В сб.: Wiener Slawistischer Almanach, 1985. vol. 15.

² Манифест ОБЭРИУ. («Афиши Дома печати». Л., 1928, № 2).

³ А. Туфанов. Ушкуйники. Сост., предисл., коммент.: Ж.-Ф. Жаккар, Т. Н. Никольская. Modern Russian Literature and Culture. Vol. 27. — Berkeley Slavic Specialties, 1991.

⁴ Впервые указ, материалы опубликованы автором в спец. выпуске газеты «Санкт-Петербургский Университет», № 32/3297, 1 ноября 1991 г., с. 1—12. В переработанном и уточненном виде мы публикуем эти материалы здесь в связи с малой доступностью указанной публикации для большинства исследователей и любителей.

⁵ По сведениям Ж.-Ф. Жаккара, 9 ноября (А. Туфанов. Ушкуйники, С. 9).

⁶ Воспоминания критика А. Дымшица цит. по изд.: Д. Хармс. Полет в небеса. Л., Сов. писатель, 1988, с. 20.

⁷ По сведениям Ж.-Ф. Жаккара, к двум годам (ук. изд., с. 10). Необходимо отметить, что данные Жаккара, основанные на анкете 1925 г. (опубл. Жаккаром в указ. изд., с. 168—174), местами сильно отличаются от наших данных, основанных на анкете декабря 1931 г., заполненной в ОГПУ (приводится в настоящей публикации). Принимая во внимание различие в профиле учреждений, мы склонны больше доверять сведениям анкеты ОГПУ.

⁸ См. анкету Ин-та Искусств, опубликованную Жаккаром в указ. изд., с. 172.

⁹ А. И. Зачиняев — педагог-реформатор начала века, последователь женеваго педагога А. Ферьера (1879—1960).

¹⁰ А. Туфанов. Отчет о лекциях А. И. Зачиняева. Калуга, 1912; А. Туфанов. Практическое руководство к лабораторным занятиям. СПб., 1914.

¹¹ Этот год значится на титульном листе книги. Однако в ноябре 1967 г. редактор отд. критики журнала «Звезда» А. Урбан приобрел экземпляр книги «К Зауми» с дарственной надписью автора: «Павлу Николаевичу Штейнбергу от Председателя Земного Шара Зауми. А. Туфанов, 21 декабря 1923 г.», из чего следует, что реально книга вышла из печати не позднее указанной даты. А. А. Александров неоднократно упоминал в своих публикациях, что «К Зауми» появилась в 1923 г. (Д. Хармс. Полет в небеса; Д. Хармс. Проза; Ванна Архимеда), правда, без обоснования датировки.

¹² К Зауми, с. 26.

¹³ Новости. Пг., 1922, № 9, 24 июля, с. 3.

¹⁴ См. ранее не публикуемую статью «Заумный Орден» в сб.: А. Туфанов. Ушкуйники. Беркли, 1991, с. 176—180.

¹⁵ Вигилянский Е. И. (1903—1942?) — преподаватель словесности, поэт-заумник. «Ад-

министратор» ОБЭРИУ. По некоторым данным, погиб в блокаду.

¹⁶ Терентьев И. Г. (1892—1941) — поэт, входил в тифлисскую группу «41». Театральный режиссер. Сотрудничал с журналом «Новый ЛЕФ».

¹⁷ Заумный Орден. Указ. изд., с. 176.

¹⁸ И. Бахтерев. Когда мы были молодыми. В сб.: Воспоминания о Заболоцком. М., Сов. писатель, 1977, с. 64—66. По материалам следственного дела, приведенным в настоящей публикации, Игорь Марков был не инженером, а студентом Горного института.

¹⁹ Я. С. Друскин. Чинари (см. прим. 1).

²⁰ Липавский Л. С. (1904—1941) — поэт, детский писатель, философ, один из чинарей. Оставил записи разговоров чинарей 30-х гг., частично опубликованные в журнале «Аврора», 1989, № 6, с. 124—131.

²¹ С. Шишман. Несколько веселых и грустных историй о Данииле Хармсе и его друзьях. Л., 1991, с. 21.

²² Там же, с. 31.

²³ См.: Устинов А. В. Дело детского сектора Госиздата 1932 г. Предварительная справка. В сб.: Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15—17 мая 1990 г. Л., 1990, с. 125—136. Необходимо отметить, что в статье имеется ряд неточностей. Сафонова Е. В. (1902—1980) — книжный и театральный художник; была арестована одновременно с участниками дела № 4246, отбывала ссылку в Воронеже.

²⁴ См. прим. 20.

²⁵ См.: А. Устинов, указ. соч.

²⁶ У А. Устинова ошибочно — 23 марта.

²⁷ Есть и другие свидетельства того, что Туфанов, живя в Новгороде, наезжал в Ленинград, однако они носят скорее характер околлитературного анекдота. В не опубликованных пока записях редактора журнала «Звезда» А. Урбана есть, в частности, рассказ поэта Н. Л. Брауна, якобы знавшего Туфанова. Судя по этой записи, Туфанов «был сыном митрополита Иллёдора» (видимо, автора слуха ввел в заблуждение сходство фамилии Туфанова с мирской фамилией «крестника» Распутина, иеромонаха Иллёдора: С. Труфанов). «Жил он в Новгороде. Когда появлялся в Ленинграде, у Московского (вокзала. — И. М.), нанимал извозчика. Причем ломового, что перевозит грузы. Усаживался на телегу, огромную, как стол. И, пока ехал, пел песни. Просил ехать по-медленнее. И так — через весь Невский». (Запись от 10. XI. 1967 г.)

²⁸ И. Бахтерев. Последний из ОБЭРИУ. «Родник», 1987, № 12, с. 54.

²⁹ Владимиров Ю. Д. (1909—1931) — поэт и прозаик, автор детских книг. Примкнул к ОБЭРИУ весной 1929 г. По сведениям, содержащимся в «Записях» А. Урбана, увлекался парусным спортом. Умер от туберкулеза.

³⁰ Вагинов К. К. (1899—1934) — поэт, прозаик. Познакомился с Хармсом около 1926 г. Как утверждал И. Оксенев, в это время Хармс писал стихи, «по фактуре приближающиеся к Вагинову» (И. Оксенев, Ленинградские поэты. Красная газета, 1926, веч. вып. 21 ноября). Наиболее часто встречался с обэриутами в 1928—1929 гг.

³¹ Рассказ «О том, как старушка чернила покупала» (М.-Л., 1929; «Еж», 1928, № 12, с. 11—16).

³² Конашевич В. М. (1888—1963) — советский график, засл. деятель искусств РСФСР; иллюстратор детских книг, отечественной и зарубежной классики.

³³ Неразборчиво.

³⁴ Ср. с показаниями Хармса (протокол 2, л. д. 51—52).

³⁵ Разумовский А. В. (1907—1980) — драматург, прозаик. Видимо, познакомился с обэриутами через Бахтерева. Был ответственным за третий час вечера «Три левых часа», автором кинораздела «манифеста» ОБЭРИУ. Впоследствии отошел от левого искусства.

³⁶ Порет А. И. (1902—1984) — художник, иллюстратор, ученица К. С. Петрова-Водкина и П. Н. Филонова. Друг Д. Хармса.

³⁷ Глебова Т. Н. (1900—1985) — художник, иллюстратор детской литературы. Ученица П. Н. Филонова. Ряд работ выполнен совместно с А. Порет.

³⁸ Роман не сохранился.

³⁹ Очевидно, имеется в виду не конкретное произведение с таким названием, а «заумная» поэзия Хармса вообще.

⁴⁰ Олейников Н. М. (1889—1937) — поэт, детский писатель, близкий знакомый Хармса и Введенского. Репрессирован.

⁴¹ Явная подтасовка. В оригинале: «Ты, глупая натура, не блещешь умом, как великие ученые Карл Маркс, Бехтерев и профессор Ом», т. е. смысл прямо противоположен.

⁴² Савельев — литературный псевдоним Л. С. Липавского.

⁴³ Судя по всему, этот бланк протокола (л. д. 84—86) заполнен собственноручно А. И. Введенским.

⁴⁴ В оригинале неразборчиво. Название волости определялось методом исключения по географическому атласу А. Ф. Маркса (СПб, 1914).

⁴⁵ Искажение. В оригинале: «подызбица» (т. е. зимняя избушка). «Расшифровка» следователя — подполье — иначе как бредовой названа быть не может.

⁴⁶ Возможно, речь идет об инженерере Георгии Леонидовиче Богаевском, поэте-любителе (ср. упоминание о нем в записи Хармса от 5 января 1926 г. — В публ.: Дневниковые записи Даниила Хармса. Публикация А. Устинова и А. Кобринского, — Минувшее, Париж, 1991, вып. 11, с. 440).

Вступительная статья,
публикация и комментарий
И. МАЛЬСКОГО

Автор благодарит А. Герасимову и В. Глоцера
за помощь в составлении комментария.



Уважаемые читатели!

Жители Москвы и Подмосковья!

Если Вы почему-либо не успели оформить подписку на «Октябрь» на первое полугодие 1993 года, Вы можете это сделать до 25 декабря прямо в редакции, по адресу: улица Правды, дом 11, с 11 до 18 часов, в любой день, кроме субботы и воскресенья.

Подписка обойдется Вам дешевле:

на месяц — 26 руб.

на 3 месяца — 78 руб.

на полугодие — 156 руб.

Правда, без доставки на дом. Каждый номер журнала Вы будете получать в редакции.

Письмо в редакцию

В журнале «Октябрь» № 5 за 1992 год была напечатана статья Бор. Парамонова «Горький. Белое пятно». Не хочу вдаваться в концепцию этой статьи, но не могу не поразиться следующему: Бор. Парамонов, ссылаясь на мои воспоминания (журнал «Юность» № 5, 1988 г), утверждает: «Автор пишет там о некоем Сперанском — любимце Горького — директоре ВИЭМа (Всесоюзный институт экспериментальной медицины) и намекает на то, что это было (есть?) злое учреждение; Сперанскому он противопоставляет «настоящих врачей». Похоже на то, что это и был советский Менгеле».

Бор. Парамонов или не читал мое сочинение, или же сознательно его извратил. А. Д. Сперанский был не «некто», а крупнейший ученый — физиолог, академик. О нем и его работах можно прочесть в любом словаре. Я писал о нем как о человеке обаятельном, интересном и привлекательном. Директором ВИЭМ он никогда не был, и я писал, что директором ВИЭМ был проф. Л. Н. Федоров. И нет у меня никаких намеков на злодейскую сущность этого учреждения. Называть А. Д. Сперанского «советским Менгеле» (да еще со ссылкой на меня) — непристойно и является криминально-клеветническим поступком.

И если на основании этой выдумки Бор. Парамонов дальше пишет, что «Горький не только советовал производить медицинские эксперименты на людях...», то чего же стоит вся аргументация его статьи! Но это остается на совести автора и редакции журнала. Если «белое пятно» залить «черной тушью», то прояснить что-либо абсолютно невозможно.

Лев РАЗГОН

От редакции

Замечание уважаемого Льва Эммануиловича Разгона о «белых пятнах» и «черной туши» в принципе абсолютно верно, однако к данному случаю отнести его не так-то просто. В частности, Л. Разгона возмутило утверждение Б. Парамонова, что Горький «советовал производить медицинские эксперименты на людях». Но вот цитата из письма М. Горького к Ольге Скороходовой, опубликованного в 30-томном собрании сочинений.

«Я думаю, что скоро настанет время, когда наука властно спросит так называемых нормальных людей: вы хотите, чтобы все болезни, уродства, несовершенства, преждевременная дряхлость и смерть человеческого организма были подробно и точно изучены? Такое изучение не может быть достигнуто экспериментами над собаками, кроликами, морскими свинками. Необходим эксперимент над самим человеком, необходимо на нем самом изучать технику его организма, процессы внутриклеточного питания, кровообразования, химию нервномозговой клетки и вообще все процессы его организма. Для этого потребуются сотни человеческих единиц, это будет действительной службой человечеству, и это, конечно, будет значительно, полезней, чем истребление десятков миллионов здоровых людей ради удобства жизни ничтожного, психически и морально выродившегося класса хищников и паразитов» (М. Горький, ПСС. М., 1956, т. 30, стр. 273—274).

Мы познакомили Б. Парамонова с письмом Л. Разгона. Борис Михайлович от полемики отказался, полагая, что вполне высказался в статье и дело читателей принять ту или иную сторону. Однако, учитывая замечание Л. Разгона, при последующих перепечатках статьи спорный абзац об А. Д. Сперанском Б. Парамонов предпочитает вообще опустить, полагая, что система его доказательств в целом не понесет от подобного изъятия никакого урона.

*В ближайших номерах мы
предложим вашему
вниманию рассказы*

Л. Зиновьевой-Аннибал

Об этой женщине слагали легенды. Когда она в своем небрежно сколотом на плече красном хитоне появлялась в знаменитой «башне» на Таврической, где собирались ученые, музыканты, поэты, близкие кругу «нового искусства», смолкали готовые вспыхнуть споры, взоры обращались к ней, все ловили каждое пророненное ею слово...

Ее скоропостижная смерть была потрясением: помимо того, что эта ярчайшая женщина, душа «башни», скрепляла узами дружбы самых разных людей — Вяч. Иванова, А. Блока, М. Кузмина, С. Городецкого, М. Волошина, К. Сомова и других, — она была блестящей писательницей. Вслед за Блоком многие тогда повторили: «Того, что она могла дать русской литературе, мы и вообразить не можем».



НЕИЗВЕСТНЫЙ АЛДАНОВ

Сочинения в 6 томах

МАРК АЛДАНОВ (1886—1957) — один из наиболее популярных писателей-эмигрантов, произведения которых возвращаются в последние годы на Родину. Однако литературное наследие его столь велико и значимо, что изданные романы, публицистические произведения, разбросанные по периодике, и даже недавнее шеститомное издание (приложение к журналу «Огонек») не дают полного представления о творчестве писателя.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВОСТИ» ПРЕДПРИНИМАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — собрание никогда не выходявших в России сочинений писателя в шести томах, объединенных символом «Неизвестный Алданов».

Составление и общая редакция издания доктора филологических наук **Андрея ЧЕРНЫШЕВА**.

Том 1. ПОРТРЕТЫ

В сборник вошли портреты как известнейших исторических личностей (Черчилль, Клемансо, Ллойд-Джордж, Сталин, Ганди), так и персонажей «второго плана», но не менее колоритных (Жозефина Богарне, Адам Чарторыйский, полковник Лоуренс).

Том 2. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ. Рассказы

В сборник войдут 12 из 13 написанных Алдановым рассказов. Герои рассказов действуют в экстремальной обстановке, среди персонажей есть и реальные исторические личности (Микеланджело Буонарроти, Гитлер, Муссолини).

Том 3. ОЧЕРКИ

Центральное место займут очерки, связанные с эпизодами жизни Л. Толстого, Пушкина, Марата, Маты Хари и трагическими событиями недавней истории (Сараевское убийство, «Сент-эмильонская трагедия», «Убийство президента Карно» и другие).

Том 4. УЛЬМСКАЯ НОЧЬ

Философский трактат в форме диалога автора с самим собой. Основная идея книги: законы истории, как их понимали ученые разных направлений, не существуют, история — царство Его Величества Случая.

Том 5. НАЧАЛО КОНЦА. Роман

Главные герои — русские эмигранты, интрига разворачивается на фоне трагических событий — скатывания мира во вторую мировую войну.

Том 6. ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ. Роман

По замыслу автора книга завершает серию его романов и повестей из русской и европейской истории последних двух столетий. В центре повествования две детективные интриги, одна связана с международным шпионажем, другая — с кражей бриллиантов.

ИЗДАНИЕ ПОДПИСНОЕ
УСЛОВИЕ ПОДПИСКИ:

Ориентировочная цена одного тома 95 рублей.

Оформление серийное, твердый переплет,

объем каждой книги — 700—800 стр.

*Подписка принимается книжными магазинами,
распространяющими подписные издания.*